

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNETT CONTINENT KONTINENT  
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

... ну, а кто же подумает о русских, о тех, кто легли в снег? Ведь они тоже люди и тоже жертвы... И я буду с ними до конца, я буду защищать своих до конца, всеми силами, которые Бог вложил в мою грудь. Я — русский и буду с русскими и за русских. С той ночи я перестал быть демократом и стал русским патриотом.



*Владимир Осипов*

Я надеюсь, что национальная идеология русского движения созреет, выстроится в систему, очистится от скверны. ... будучи большим приверженцем своего народа, я не могу не сочувствовать националистам другого народа, который испытывает угнетение самое страшное и самое скрытное, — как рак!



*Михаил Хейфец*

Отпетым песням  
И отпетым плутам  
Мы оставляем  
Сумрачную сцену,  
Уверенные,  
Что на эту сцену  
Вернемся утром.

Устать — не стыдно.  
Исправлять — не трудно.  
Самим себе  
Мы назначаем цену,  
Уверенные,



Что за эту цену  
Вернемся утром.

И лишь в минуту  
Без брони и пудры,  
Лицо открыв,  
Как открывают вену,  
Поймешь,  
Что только отворивши  
вену —  
Вернешься утром...

*Виолетта Иверни*

Я сел за руль и без водительских прав повез свою семью к последнему заграждению и к таможене. У Моники ручьем текли слезы, она все спрашивала: «Мы еще в Чехословакии? Еще? Еще?» А потом наступил последний момент — перед зданием таможен...



*Иржи Ледерер*

Ведь многие «прогрессивные» приверженцы разрядки и мира тотчас зачислят нас в «крайние правые», как только мы осмеливаемся открыто говорить о том, что мы лично пережили. Если только мы не твердим постоянно, что до сих пор поклоняемся Марксу и его присным.



*Зигмар Фауст*

**Главный редактор:** Владимир Максимов  
**Заместитель главного редактора:** Виктор Некрасов  
**Ответственный секретарь:** Наталья Горбаневская  
**Заведующая редакцией:** Виолетта Иверни

**Редакционная коллегия:**

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли  
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский  
Владимир Буковский · Ежи Гедройц  
Александр Гинзбург · Пауль Гома  
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер  
Петр Григоренко · Милован Джилас · Эжен Ионеско  
Артур Кестлер · Роберт Конквест · Наум Коржавин  
Эдуард Кузнецов · Николаус Лобковиц  
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный · Амос Оз  
Андрей Сахаров · Виктор Спарре · Странник  
Юзеф Чапский · Александр Шмеман  
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

**Корреспонденты «Континента»**

- Англия** Владимир Тельников  
Wladimir Telnikov, 50 The Drive Mansions,  
Fulham Rd., London S.W. 6
- Израиль** Михаил Агурский  
Michael Agoursky, P O B 7433,  
Jerusalem, Israel
- Италия** Сергей Рапетти  
Sergio Rapetti, via Beruto 1/B  
20131 Milano, Italia
- США** Юрий Ольховский  
Yuri Olkhovsky, 3319 Ardley Court  
Falls Church, Va. 22041, USA
- Япония** Госуке Утимура  
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7  
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает

K



# КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический  
и религиозный журнал

27

Издательство «Континент»  
1981

© Kontinent Verlag GmbH, 1981

## СОДЕРЖАНИЕ

Чеслав Милош — Особая тетрадь : Звезда Полынь. Перевод с польского Н. Горбаневской	7
Евгений Козловский — Диссидент и чиновница	15
Виолетта Иверни — Стихи	54
Вячеслав Сорокин — Визит сенатора. Пари. Банкнота	60
СТИХИ	
Владимир Адмони, Кирилл Померанцев	71
Борис Брикер, Анатолий Вишевский — Короткие рассказы	81
Ина Блинецова — Пейзаж с ангелом	102
Эрнст Неизвестный — Лик — лицо — личина. Новые главы из одноименной книги	110
СТИХИ	
Игорь Бурихин, Юрий Кублановский, Сергей Петрунис	141
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Михаил Хейфец — Русский патриот Владимир Осипов. Предисловие и примечания Эдуарда Кузнецова	159
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Иржи Ледерер — Почему мне все-таки пришлось покинуть родину?	215
ЗАПАД — ВОСТОК	
Зигмар Фауст — По эту сторону Берлинской стены	231
Гейтер Стюарт — Испания 1980 года	241
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Ян Вальц — Мы, Свободная Вальковая...	261
ИСТОРИЯ	
Виктор Каган — В. Г. Короленко en face <i>К семидесятилетию со дня смерти Л. Н. Толстого.</i> Дмитрий Егорович рассказывает... Публикация и комментарии Марка Поповского	285
	292

## ИСТОКИ

- Лидия Шатуновская** — Час расплаты. Глава из  
книги воспоминаний 325

## ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- К столетию со дня рождения Александра Блока.*  
**Дмитрий Бобышев** — Покой и воля 343
- К столетию со дня смерти Ф. Достоевского.*  
**Владимир Максимов** — Духовной жаждою  
томим... 353

## ИСКУССТВО

- Семен Черток** — Художник Александр Окунь 357
- Жан-Пьер Симон** — Выход — вверх. Заметки о  
живописи Юрия Жарких 364

- КОЛОНКА РЕДАКТОРА** 371

- НАША ПОЧТА** 375

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- Л. Алексеева** — Дело Орлова. (Рецензия составителя) 383
- Василий Бетяки** — Сталин без загадок 388
- Эммануил Штейн** — «Перемена ветра...» 391
- Виолетта Иверни** — Время странствовать и время  
вспоминать... 397
- Вадим Нечаев** — Красный террор в России 402
- Феликс Кандель** — Теплая книга 406
- Вадим Рыбаков** — Нужно долго собирать свою  
смерть 414

- КОРОТКО О КНИГАХ** 417

- ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ** 427

## НАША АНКЕТА

- Беседа с писателем **Василием Аксеновым** 433

## ОСОБАЯ ТЕТРАДЬ : ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ

*Перевод с польского Н. Горбаневской*

Нынче нечего больше терять, мой премудрый, осторожный, мой ты сверхсамолюбивый котик.

Нынче мы можем дать волю признаниям, не боясь, что их использует могущественный враг.

Мы только эхо, что несется с топотом частым сквозь анфиладу комнат.

Вспыхивают, гаснут времена года, но словно в саду, где мы не бываем.

Да и легче, нам не нужно стараться сравняться с ними, с людьми, в беге и прыжках.

Вашей Светлости Земля не понравилась.

В ночь, когда зачат ребенок, заключают пакт непонятный.

И невинный осужден, не умея разгадать приговора.

Ни по пеплу прочесть, ни по созвездьям, ни по птичьему полету.

Гнусный пакт, повапленный кровью, анабасис мстительных ген гнойных тысячелетий,

От придурков, уродов, помешанных девок и хворых царей,

За ляжкой бараньей и кашей и хлюпом похлебки.

Миром и водой крещённый на восходе Звезды Полюнь,

Играл я на лугу возле палаток Красного Креста.

Время, в удел мне данное, словно бы мало частной судьбы

В любом городке старосветском («Едва пробило полночь на башенных часах, когда студент Н.» ...и так далее).

Как говорить? Как кожу слов продрать?  
Что написал я, теперь как будто не то.  
И что пережил, теперь как будто не то.

Когда Томаш привез известие, что дома, где я родился, нету,

Ни аллея, ни сбегавшего к берегу парка, ничего,

Мне приснился сон возврата. Счастливый. Яркий. И я летал.

Деревья были даже выше, чем как в детстве, они подросли за время, что уж не было их.

Утрата родимых околиц и родины,

Блужданье всю жизнь среди чуждых народов,

Да это ж

Всего лишь романтично, то есть выносимо.

Вот так-то исполнилась моя молитва гимназиста, вскормлённого на польских поэтах: просьба о величии, а значит, об изгнании.

Вашей Светлости Земля не понравилась

По иной, нежели всемирное государство, причине.

Не устану дивиться, что дожил почтенных лет.

И бывал, несомненно, чудесно спасен, за что обетовал благодарность Богу, то есть тот ужас и меня посетил.

Он слышит голоса, но не понимает этих криков, молитв, проклятий, гимнов, избравших его медиумом. Он хотел бы знать, кем был, и не знает. Хотел бы быть един, а есть — внутренне противоречивое множество, которое радует его лишь чуть-чуть, а больше смущает. Он помнит *палатки* Красного Креста над озером в местности Вышки (и не мог бы назвать их по-польски, раз тогда не знал слова). Помнит воду, вычерпываемую из лодки, большие серые волны и словно выныривающую из них деревенскую церковь. Он думает о том, 1916 годе и о своей хорошенькой двоюродной сестричке Эле в форме сестрицы, как она, только что обручившись с красавцем-офицером, объезжает с ним верхом сотни верст прифронтовой полосы. А мамочка его, завернувшись в шаль, сидит перед камином в сумерки с нашим паном Некрашем, которого знает со студенческих лет в Риге, и его погоны блестят. Он лез в их разговоры, но теперь сидит тихонько и вглядывается в синие огоньки, потому что мама сказала — если долго глядеть, увидишь там, как едет смешной человек с трубкой.

Что делать нам с дитятей женщины? вопрошают силы, Пролетая над землей. Пушечные дула

Прыгают в откате. И опять. А там равнина,  
Полыханьями полна, бегущим муравейником.  
В парке над рекой госпитальные палатки  
Около шпалер, клумб и огорода.  
А теперь в галоп. Вуаль сестрицы вьется,  
Вихрем карий конь, пожниво, овраги.  
Бородатые солдаты сталкивают лодку.  
Открывается за дымом посеченный бор.

Знанье наше не безбрежно, вздыхают силы.  
Боль их познаём мы, но не сострадаем.  
Мы, под облаками, чтим одно величье,  
Матери смиренье, Сути, девственной Земли.  
И что нам их жизни, что нам умиранье?

На карачках ползут из землянки. Светает.  
На льдистой заре, вдалеке, бронепоезд.

Он идет, да не путем-дорогой, побираясь ради Бо-  
га, а всего лишь комнатами, в которых кипит, сверка-  
ет, меняется цвет и звук единожды рожденных форм.  
Здесь артель кобзарей, взятых в средневековой дере-  
вушке, по травянистому склону взбирается на ровное  
место, откуда пойдут приготовления к атаке, тут Ви-  
лия так разлилась, что дошла до ступеней собора, и  
под резким апрельским солнцем зелено-бело-голубые  
полосатые лодки увиваются возле колокольни, а там  
мальчишки, собирая малину, наткнулись на заросшее  
кладбище с именами Фауст, Гильдебранд. Воистину,  
что нам их жизни, что нам умиранье.

Дамы Двадцатого Года, поившие нас какао.  
Растите во славу Польши, рыцарята наши, орлята!  
Алый ворот застегнут под горло, наши уланы  
въезжают от Острой Браны.  
Дамы из Общества Полек, дамы из ПеОВе\*.

---

\* П. О. В. — польская конспиративная военная организация  
времен первой мировой войны. — Прим. переводчика.

Отвозил я в музей эти фраки с серебряной искрой,  
Табакерки ораторов депутатских палат.  
Копыта першеронов стучали по асфальту.  
Запахом гнили несло от улиц пустых.  
Попивали мы себе спирт, мы, возницы.

«Мать воспоминанья, любовь любви». От автобуса Владек вез его двуколкой, «докартом», и никто там не додумался, что название это значит dog-cart. Шоссе с выбоинами, совершенно пустое, на продуваемой безлесной высоте, внизу справа озерко, дальше протока: здесь улегшийся в зеленых полях глазок воды, там широкое мерцающее пространство меж холмов, покрытых ледниковыми валунами, заросших можжевельником. Белое пятнышко чомги посреди рябящего сияния. Они свернули проселком налево, туда, где виднелось еще одно озеро, и ложбинкой проехали через деревню, потом снова под гору, в лес, сосны и елки с подлеском орешника, и лесом почти до самого дома.

«— Кто же обвинит в неточности, кто распознает места и людей? Всё в моей полной власти, всё там теперь принадлежит одному лишь человеку, что некогда, виленским школьником, был привезен сюда в двуколке. И либо захочет, либо нет, сказать, кто был, например, Владек, и что до первой мировой войны изучал он инженерное дело в Карлсруэ, или кто была тетя Флорентина, и что еще в ее молодости лес нетронутый, девственная пуца, стенкой стоял на трех километрах горбов и впадин между этим и тем, огромным озером, и что она-то и собирала эти французские романы в желтых обложках: Бурже, Жип, Доде. Что выбрать, а о чем умолчать, моя воля, и командует мною лишь неприязнь к фантазированию, как если бы я верил, будто можно воистину восстановить то, что было. И почему Флорентина? Трудно приходит новое

знание: что теперь можно обращаться к ней на «ты», хотя тогда я ни за что не осмелился бы, и что она не старая дама, а барышня, и ребенок, и всё одновременно. Что мне до нее, в корсете и турнюре, не представимой в плотских потребностях, вывозившей дочерей в Варшаву, Париж, Венецию и Биарриц? И, тем не менее, как раз мысль о ней заводила меня в удельное княжество чистой эмпирии. О том, как она всё наладила: не экономя и не прислуга, дочери встают с рассветом, высокие сапоги, кожухи, в конюшню, в хлев, отправляют челядь на работы, зимой до вечера присматривают за молотьбой. А три месяца в году не усадьба, а пансионат для дачников, на кухне у Катречки огонь не угасает с четырех утра до ночи, и Владек часами колошматит по клавишам пианино, а они, те гости, что платят, — танцуют. Еще и молчаливую перемену нравов надо было принять, безразличие к тому, с венцом дочери заводят мужчин или без венца, и что, кроме Владека, живет то Ежи, то еще кто. Всё было как было, невысказанное, так что вынужденно воцарявшаяся привычность обращала любой принцип и требование в человеческую выдумку, терявшую силу без «нет» и «да». В костел не ездили, изредка разве, ради Флорентины. И она, с двумя не слишком правоверными дочками, была моей скрытой идеей об условности вер и убеждений, которые не могут устоять перед ходом вещей».

В сущности, почему бы ему, ткущему этот монолог, не было довольно того, что познал он там? Тогда он думал, что оказался там случайно и на время, что это лишь предисловие к чему-то, но и позже никогда не было ничего, кроме предисловия и на время.

Тот матерьял косматый, чуть не войлок, в течение целого века шел на шитье шлафроков, и не поймешь, конец ли это или начало двадцатого века,

если та, что в зеркало смотрит, его лоскуток откинет  
ослепительно-желтый над розово-бронзовой грудью.  
И щетка в ее руке не изменила формы,  
и оконная рама возможна когда угодно,  
как и вид из окна на сгибаемый ветром ясенник.  
И кто же она, в этом едином теле  
пребывающая, и в единой минуте?  
И кем на самом деле увидена тут она,  
если отнято у нее даже имя?  
Ее кожа ни для кого, если в третьем лице,  
ее нежнейшей кожи нету в третьем лице.  
А вот и туча налетает из-за крон,  
медным сияньем обведенная, и всё это  
сгущается, и замирает, и затмевает свет.

Северная заря, пенье жнецов заозерных.  
Еле видные вдаль, последние вяжут снопы.  
Что за право воображать их возвращенье в деревню,  
как садятся у очагов, и варят, и режут хлеб,  
или отцов их по избам до изобретенья трубы,  
когда каждая крыша дымилась, словно в пожар,  
или всю эту землю прежде, чем пошла на добычу  
ветрам,  
тихой, с глазами озер, с нетронутым бором?  
И что за право гадать о грядущих рассветах  
над эшелонном этапным или сном журавлей на башнях?  
Назначать себя богом, который заглядывает в их окна,  
мотает головой, отходит с жалостью многознанья?  
Ты, молодой охотник, лучше лодку столкни на  
глубины,  
подбери убитую утку до темноты.

В ночном вагоне пустого поезда, громыхающего  
через поля, через леса, молодой человек, я прежний,  
необъяснимо со мною тождественный, поджигает  
ноги на жесткой полке, потому что в вагоне холодно,  
и сквозь дрему слышит шелк переездов, эхо мостов,

такты пролетов, свист паровоза. Просыпается, протирает глаза и видит выше пронсящихся кострубатых сосен сизые просторы, в которых горит, низко, одна кровавая звезда.

### *ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ*

А под Звездой Полынь течение рек прогоркло,  
И горький хлеб сжинал на поле человек.  
Ему с небес не засветила весть про Бога.  
Век подданным своим свой диктовал завет.

От ящеров они вели преданье,  
Храня лемулов пещерные ухватки.  
И птеродактилей полет над городами  
Нёс тине мыслящей законы и порядки.

А человеку руки проволкой скрутили  
И, осмеяв, прикончили над ямой,  
Чтоб не взывал о правде и в могиле  
Лежал без завещанья, безымянный.

Была вселенская империя всё ближе.  
Над словом власть досталась в руки им.  
И вновь на неостывшем пепелище  
Вознесся Диоклетианов Рим.

## ДИССИДЕНТ И ЧИНОВНИЦА,

или внешне неправдоподобное, но абсолютно достоверное повествование о том, как на зеленом сукне появились белые пятна

*«Разные бывают джазы, и разная бывает музыка для них. Бывают такие джазы, которые и слушать-то противно, и понять невозможно».*

Высказывание Н. С. Хрущева, приведенное в статье «Джаз» Краткого Эстетического Словаря

### 1.

Галина Алексеевна Тер-Ованесова (по мужу) занимала в министерстве должность весьма высокую — заведовала отделом, то есть если бы кому-нибудь пришлось в голову применить к ней мерки старые, навсегда, слава Богу, из нашей жизни исчезнувшие, — была директором департамента и — автоматически — генералом. Да. Ни больше и ни меньше. И это в свои какие-нибудь еще не сорок!

Правда, министерство, где она служила, дало однажды повод острякам-клеветникам и чинам из ЦРУ сочинить довольно, к сожалению, распространенный, но абсолютно не смешной анекдот про Министерство морского флота сухопутной Чехословакии. Но Бог с ними, с остряками, пускай шутят. Каждый, так сказать, находит себе дело по вкусу и по силам.

Тут скорее другое было анекдотично: вот уже лет пятнадцать, а то, пожалуй, и больше была Галина Алексеевна, дама до самого недавнего времени замуж-

няя и по всему — положительная, — влюблена в непризнанного художника и совершенного диссидента.

То есть, конечно, если подходить к последнему определению с мерками на сей раз современными и достаточно строгими, то, прямо скажем, вовсе и не совершенного, потому что никаких писем он не подписывал, ни в каких демонстрациях не участвовал и даже не только в демонстрациях, но и в пресловутых скандальных выставках, проводимых, как известно, исключительно для завоевания дешевой популярности у публики самого низкого пошиба. Диссидентом он был в том лишь смысле, что не нравилось ему всё это, ну, а таких диссидентов у нас, сами знаете, хоть пруд пруди, каждый второй, если не чаще; даже и сама Галина Алексеевна, коль уж договаривать до конца, была в некоторой мере... Впрочем, до конца договаривать мы всё же не станем, чтобы не доставить героине нашей каких-нибудь случайных неприятностей по службе, а заметим только, что противоестественная эта влюбленность и опасное направление некоторых ее мыслей и стали причиной той совершенно неприличной и какой-то даже гаерски-фантастической истории, которая и побудила нас взяться за перо.

Тут следует — чтобы о нас не подумали слишком хорошо — оговориться, что вовсе не из порядочности (которую мы, увы, давным-давно утратили, чуть ли не прежде невинности) и даже не из особого почтения к Галине Алексеевне (которую, тем не менее, мы вполне искренне любим и которой глубоко сочувствуем) или к ее службе не хотим мы доставлять своей героине неприятностей, а исключительно из преклонения передо всем прекрасным, совершенным и завершенным. А именно такую, по нашей надежде, и обещает стать ее карьера. Ибо, хотя и вряд ли достигнет Галина Алексеевна той вершины, какую некогда занимала главная ее начальница и тезка по отчеству, но никак не исключено, что со временем одолеет она несколько

сот метров вверх от Москва-реки и усядется за финский зеленый полированный стол во всемирно-известном здании на Старой площади.

Говорят, что доблестные наши Органы просрали (простите за выражение) Чили, потому что в тот самый момент, когда бесстрашный Альенде отстреливался от превосходящих сил хунты из окон президентского своего дворца, Они полным корпусом находились на осенних уборочных работах. И тут уж без пояснений понятно, что, коль такие безусловно важные и перегруженные занятиями государственные служащие помогают колхозникам и работникам совхозов убирать с полей тучный урожай, не могло избежать этой участи и галинаалексеевнино министерство. И, конечно, девушка молодая, только что окончившая курс в храме науки на Ленинских горах, младший редакторчик едва ли не на побегушках, да еще и кандидат в члены, не могла не оказаться в первой же пятерке списка сельхозополченцев. Тут-то, в одном из подмосковных колхозов, и случилось ее знакомство с юным диссидентом и завязалась любовь, которая, спустя полтора десятка лет, привела к истории, которая (см. двумя абзацами выше).

Всё началось, да первое время и продолжалось столь трогательно и чисто (как, впрочем, и следует начинаться и продолжаться первой любви), что тона для описания потребовало бы значительно более серьезного и возвышенного, чем взяли мы, тона прямо почти тургеневского, если бы не испортившая всё развязка, которая буквально против воли нашей сбивает нас с этого милого любому сердцу и вкусу ностальгического тона. Но начнем по порядку.

Объектом галинаалексеевнина чувства был студент-первокурсник художественного училища им. 1905 года по тоже громкому и красивому им. Ярополк. Которое, впрочем, не только тогда, но даже и по сей день в полном своем блеске не произносилось и не про-

износится. Вот вам наглядный пример того, насколько профессия нашей героини более уважаема (а стало быть, и полезна), чем все так называемые свободные профессии: Галину Алексеевну и в те давние времена столь же сложно было вообразить Галей, как Ярика — и по сегодня — Ярополком Иосифовичем или хотя бы просто Ярополком. Даже сам Ярик решился назвать ее по им. (но, разумеется, по полному: Галиной) тогда лишь, когда свершилось уже грехопадение, а произошло это четверть года спустя, в одну из предновогодних ночей на узкой железной кровати и под улюлюканье... Ах, как падки мы на клубничку! Нам бы только до порнографии дорваться, хоть бы и в абзаце, где речь идет покамест всего об им., о том, что воображения нашего не хватает, чтобы услышать даже из уст недавнего галинаалексеевниного мужа Тер-Ованесова обиходную Галочку или нежного Галчонка.

Ярик был не из тех мальчиков-студентов, которые, позанимавшись год-другой в районном доме пионеров и с огромным самоудивлением поступив в художественное училище, а окончив его, в не менее художественный институт, еще и на дипломе чувствуют себя студентами-учениками, а порою в этом воздушно-легком состоянии засиживаются и до пятидесяти: сколько он себя помнил, столько знал, что он — Художник. Этим-то самосознанием, как-то, надо думать, отраженным и во внешности его, и в поведении, он, вероятно, и выделился в глазах будущего генерала (или, если так удобнее — тайного советника), а то, что потом он с полной ясностью и уверенностью вспоминал, как был влюблен в нее с первого взгляда, с первой ночи, проведенной вповалку в бабигрушиной избе, так это, вернее всего, не более, чем психологическая иллюзия. То есть мы хотим сказать, что он, шестнадцатилетний девственник, просто не мог не обращать внимания на всех особей женского пола от четырнадцати до сорока четырех, независимо от внешних и ра-

совых признаков, и та из них, которая удостоила бы его своим вниманием и допустила бы до скрытых своих прелестей, как сделала это Галина Алексеевна, с тем же правом и достоверностью заняла бы галина-алексеевнино место в его позднейших воспоминаниях.

Здесь же следует заметить, что Галина Алексеевна и сама была достаточно целомудренна — иначе грехопадение случилось бы много раньше, чем случилось, — хоть бы и в той же самой (вышеупомянутой) бабигрушиной избе. Комсомольская активистка из крупного сибирского города, героиня наша, и пять лет проучившись в храме, не переставала чувствовать эдакое провинциальное стеснение, а брак ее с Тер-Ованесовым, преподавателем журналистского мастерства и редактором не читаемого, но весьма чтимого партийного журнала, не освободил ее, а напротив, зажим этот усилил. Может, даже и в той важности, которую умела она сохранять на генеральском своем посту и отчасти благодаря которому поста и достигла, в важности, к которой иные люди, вот, скажем, хоть мы, совершенно не способны, по поводу чего более чем серьезно комплексуем по сей день, — может, даже и в ней главную роль играл этот досмертный провинциальный налет-зажим.

И Галина Алексеевна ходила с Яриком, поддавшим для храбрости, в заброшенную церковь, сквозь купол которой светили романтические звезды (не умерявшие, впрочем, запаха дислоцированного по углам говна, хоть от него несколько и отвлекавшие), и пила из горла портвешок, и выслушивала грандиозные, лихорадочно и сбивчиво от мандража высказываемые планы, но ни разу не решилась не то что бы положить руку на какое-нибудь там эрогенное место спутника, но даже поцеловать мальчика в губы, погладить по щеке или просто намекнуть на свое к нему расположение и готовность пасть. Тут же, к чести Галины Алексеевны, нам хочется заметить, что уже тогда, с пер-

вого того звездно-говенно-церковного разговора, планам этим она поверила раз и навсегда. А уж это для всякого художника ой как немаловажно, ибо что он из себя представляет, современники и потомки чаще всего узнают только по его смерти, а ему совершенно необходимо знать, что он гений, уже при жизни, прямо сейчас вот.

Итак, природное целомудрие нашего генерала, еще и подкрепленное, с одной стороны, недавним ее замужеством, с другой — робостью юного модильяни, могло довести до того аж, что так церковным портвешком и сбивчивыми разговорами всё и кончилось бы, и только некая топографическая случайность в виде ручья, которую в последний день сельхозжизни пришлось им преодолевать по пути к ожидающему московскому автобусу, повернула всё так, как оно повернулось. Впрочем, до мозга костей отравленные диалексической материалектикой, мы совершенно разучились не видеть в случайности некоторой необходимости, и потому, хоть доказательств представить и не можем, полагаем, что, подведи наших героев топография, не преминула бы протянуть им соблазняющую руку помощи погода или, скажем, какая-нибудь микробиология.

В том уже одном, что, когда они стали перед необходимостью форсировать вышеупомянутую водную преграду, они, увлеченные разговором, оставили всех прочих членов группы далеко впереди и таким образом оказались совершенно без свидетелей, мы готовы усмотреть самое определенное проявление их собственной воли (не вполне, допускаем, осознанной). Еще бы — шел ведь не только последний день, но и последние часы и десятиминутия последнего дня, и Ярик рисковал тем, что романтическое деревенское путешествие, которое по всем фольклорным и литературным канонам должно приносить определенные сексуально-психологические призы, обидно разочарует

волнующие ожидания, а Галина Алексеевна... Галина Алексеевна рисковала своим несколько пока пусть необдуманном, но вполне, уверяем, искренним чувством.

Другой разговор, что мы так до сих пор не можем с определенностью ответить себе на вопрос, послужило ли развитие этого чувства к увеличению суммы счастья ее жизни, но уж, во всяком случае, было оно сильным и свежим и основывалось на самых благородных побуждениях, эксплуатируя обаяние юности, внешнюю привлекательность (чтобы не сказать — красоту) и, главное, творческий порыв, в последние годы у Тер-Ованесова отсутствовавшие.

Во взятии будущего генерала на руки для перенесения его через (хорошо бы — бурные!) воды, сам Ярик не усматривал ничего, кроме элементарной галантности, к которой обязывает его пол, и лучшей тому порукой может служить следующее психологическое наблюдение: если бы усматривал — взятия бы не произошло: не хватило бы решимости. И тем более непонятными стали нервическая дрожь и прилив крови к голове, тут же завладевшие нашим юношей, такие точно, как от двухчасового целования на недавнем школьном вечере девочки из параллельного класса, а случившийся в момент, когда море ручья стало Ярику по колено, поцелуй, при всей своей банальности, был и вовсе необъясним, и так до сей поры мы толком и не знаем, кто из них двоих стал поцелуя этого инициатором.

Таким образом, ручей, как и подобает детищу Протея, совершил превращение в Рубикон, и последний первым этим поцелуем или, если угодно, с первым этим поцелуем, был перейден необратимо. Тем более, что московский автобус уже сигнализировал во всю.

Телефон Ярику Галина Алексеевна дала только служебный, хоть и пыталась убедить себя, что невинное ее приключение никакой опасности для крепкой

советской семьи представлять не может просто в принципе и что, подзывай ее на яриковы звонки даже сам Тер-Ованесов, никаких у нее оснований смущаться и краснеть перед ним не было бы.

## 2.

Впрочем, всего две недели спустя некоторое безрассудство и случай дали возможность Галине Алексеевне экспериментально проверить прочность сложившегося треугольника: кафе, куда она пригласила Ярика, несколько затуманило своими напитками обычную ее предусмотрительность, и доводящие их обоих почти до обморока поцелуи, задерживая в каждой попутной подворотне или подъезде, привели в галинаалексеевнин двор далеко за полночь и столкнули нос к носу с нервничающим Тер-Ованесовым и разделяющим его состояние фоксом Чичиковым на поводке.

«Ярополк, студент художественного училища», — сказала мужу Галина Алексеевна, а Тер-Ованесов, не протянув Ярику руки, сказал «Тер-Ованесов» и раздраженно дернул за поводок Чичикова, дружелюбно обнюхивающего юного пока еще не любовника.

Лифт в их ведомственном доме в полночь отключали, и весь долгий путь на четвертый этаж Галина Алексеевна сочиняла рассказ о вечере худ. училища, куда она должна была пойти по долгу службы, и о миллом студенте, взявшем на себя труд проводить ее до дому, рассказ, так, впрочем, и не опубликованный, потому что Тер-Ованесов слушать его не пожелал, а грубо лег спать.

«Ладно», — обиженно подумала Галина Алексеевна, но недели три отговаривалась от маленького своего модильяни занятостью, болезнями и прочими вымышленными сложностями.

Который меж тем рисовал свою возлюбленную.

И когда она, поддавшись, наконец, его уговорам, а главное — собственному греховному желанию, явилась в общежитийную комнату, — увидела над койкой возлюбленного портрет себя. Несколько излишняя (на ее редакторский взгляд) стилизация и почти непристойность последнего были восприняты ею как справедливый упрек, и Галина Алексеевна решительно решила в ближайшее же время одарить избранника высшим счастьем. Пусть даже ей придется при этом поступиться незапятнанной покуда честью верной супруги.

Она намекнула Ярику на свою эту готовность, поставив тем самым перед ним техническую задачу, ибо падение героини нашей не было покуда столь окончательным, чтобы заставить ее подумать об адюльтере в постели добродетельного Тер-Ованесова. Не говоря уже о... Но, до времени промолчим!

После перебора всевозможных вариантов и внешне пренебрежительных, но внутренне униженных переговоров со всеми пятью соседями по комнате, случая была назначена Яриком на вечер 30-го декабря, дня, вечером которого в общежитии устраивался новогодний вечер (тфу!).

Оправдавшись под ироническим тер-ованесовским взглядом этим на сей раз действительным вечером, Галина Алексеевна надела лучшее свое платье (декольте, подол до щиколотки, черный синтетический французский бархат), из тайника, устроенного в пианино, извлекла, пользуясь мужниным похрапыванием, загодя приготовленный подарок: тридцать шесть американских фломастеров в наборе — и была такова.

Яриков стол обременяли две бутылки «Советского шампанского» (полусухого), плитка шоколада и фрукты яблоки. Пораженный великолепием подруги, он забыл даже поотказываться от дорогого и совершенно прекрасного подарка и первые минуты чувствовал

себя между ними, подарками и дарительницей, словно натуральнейший буриданов осел.

Шампанское пили из столовских стаканов. Мы тоже, признаемся по секрету, пробовали однажды шампанское из столовского стакана, и с тех самых пор жизнь не одарила нас ничем более вкусным... О времена молодости!

После первой бутылки Ярик дрожал, как тогда, над ручьем, да и Галина Алексеевна чувствовала себя восьмиклассницей, и надо было как-то запереть дверь и, наверно, погасить свет, но действия эти выглядели бы столь откровенно, что Ярик никак не мог решиться на них, а уж Галина Алексеевна — и подавно.

Наконец, он составил хитроумный план: выйти якобы в туалет (куда ему, впрочем, и на самом деле хотелось), а возвращаясь, эдак незаметно, органичненько, шелкнуть торчащим в двери ключиком. В коридоре художника встретила доносившаяся и в комнату, но в ней как-то не воспринимавшаяся, философическая и грустная песенка нашей молодости, песенка о черном коте, которому категорически не везло в жизни, и навязчивостью своею помешала придумать второй, не менее остроумный план, касающийся света.

Когда художник вернулся, Галина Алексеевна сидела не за столом уже, а на узкой коечке под портретом себя, и глаза ее были провокационно полузакрыты.

«Бог с ним, со светом», — подумал Ярик, подсел к возлюбленной, обнял ее, поцеловал, и как-то само собою получилось, что они уже лежали, Ярик, правда, в ботинках, зато она исхитрилась незаметно оставить синие свои сапожки на не слишком, несмотря на старания юного художника, чистом полу.

Прекрасно понимая тяжелое положение нашего государства, мы по мере способностей экономим бумагу, но в данном случае не сочтем, однако, зазорным напомнить, что столь интимный контакт с женщиной

происходил у Ярика впервые, и, хотя нам с вами, людям, жизнью уже умудренным и несколько даже побитым, очевидно, что в сё у них прекрасно получится (чему порукой и могучее естество, и определенная искушенность Галины Алексеевны в технологии продолжения рода), самому модильяни почерпнуть эту уверенность было неоткуда, и даже Галина Алексеевна была ему в этом плохой помощницей, ибо тоже была взнервлена, влюблена, смущена и даже вполне уверена: то, что должно сейчас случиться, принципиально отличается от того, что время от времени случалось у них с Тер-Ованесовым.

Впрочем, дело продвигалось к счастливому завершению, и если б не совершенно бестактное, прямотаки непристойное, неуместное, скверное появление на крыше соседствующего с яриковым окном сарая улюлюкающих и свистящих гадких дворовых мальчишек, всё могло бы кончиться прелестно и даже отчасти романтично. «Погаси же свет!» — сказала, почти простонала влажным ртом раскрасневшаяся Галина Алексеевна. Ярик, сгорая от стыда и возбуждения и неловко прикрывая рукою восставший свой срам, хоть глаза возлюбленной и были томно смежены, проковылял к выключателю, наощупь вернулся назад и снял ботинки перед узким, жестким и скрипучим ложем первой любви. Зубы будущего генерала, впитав заоконный фонарный свет, мягко мерцали во мраке.

Разочарованные цветы улиц, свистнув для порядка еще пару раз, исчезли с крыши, как казалось робким нашим любовникам — навеки. Но, вопреки верному, потому что всеильному, учению, которое мы искренне исповедуем и не менее искренне раздражаемся, когда в жизни происходят недозволенные от него отклонения, мы сумели заметить, что над некоторыми людьми (а иногда и их сообществами разного размера, вплоть до народа) как бы тяготеет некоторое проклятье (или, напротив, благодать), как бы висит абсо-

лютно ненаучная, астрологическая планида. Вот и в данном случае — могла ли более или менее благопристойно начинаться история, которой суждено было окончиться столь, напротив, неблагопристойно?! Да еще вдобавок эта предновогодняя ночь, это уже устанавливающееся пьяно-карнавальное состояние города, дух, как стало модно говорить в последнее время, мениппеи! Любовников наших, однако, в наивности мы обвинять не станем, потому что развязка их истории, не скрытая, увы, от нас, им в то время была неизвестна абсолютно и даже не предчувствовалась. В противном случае, они, разумеется, не стали бы ее (историю) и начинать.

Для читателей же, менее нас склонных к утонченно-изысканным синтаксическим конструкциям, мы готовы пояснить, что предыдущий великолепный абзац означает лишь факт провиденного нами, но неожиданного для наших героев появления скверных карнавальных мальчишек, толпы, быть может, амуров с самодельными перышками и вместо стрел, за на сей раз дверью, их хохот, стуки, ломление в интерьер, наконец, срывание довольно некстати хлипкого замка, ярикову за охальниками погоню, смущение Галины Алексеевны и какую-то совсем уж скомканную и ни одному из партнеров удовольствия не принесшую потерю юным художником его по нашим временам несколько перезрелой девственности.

Каждый из партнеров винил в случившейся цепи неловкостей одного себя, и, молча продвигаясь к галинаалексеевнину дому мимо благодушных предновогодних алкашей и заказных Дедов Морозов, они, каждый про себя, скорбно хоронили свою так нелепо запачканную и, как они думали — невозвратно погибшую, — любовь.

Оба переживали разрыв тяжело. Но по-разному. Галина Алексеевна в искреннем самобичевании. Ее юный же модильяни — в некотором озлоблении про-

тив женщин вообще, против скверны половой жизни и даже против развратной (как ему всякий раз казалось, когда он представлял на ней голого, поросшего шерстью Тер-Ованесова) своей подруги. Попытки установить друг с другом контакт, попытки, вызванные особенно сильными взрывами надежды или отчаянья, наталкивались не то на слепой, не то, напротив, на слишком остроглазый случай, и все, как одна, были безуспешными, порождая в каждом из героев еще большую уверенность в отвращении, которое он якобы вызывает у другого.

Портрет со стены перекочевал под кровать.

### 3.

В день совершеннолетия Ярик женился.

Разумеется, нам грустно опускать прошедшие до знаменательного этого события более чем полтора года, но еще грустнее было бы не успеть рассказать завершающую сцену нашей истории, ради которой, повторяем, мы, собственно, за перо и взялись, а учитывая уже упомянутый нами временный, но безжалостный бумажный кризис, мы поставлены в весьма жесткое положение выбора между тем и другим.

Супругою его стала, увы, не Галина Алексеевна, а несовершеннолетняя и от него беременная учащаяся р е м е с л у х и, в которой (учащейся) он несостоятельно провидел незаурядные способности и на которой (учащейся) просто обязан был жениться как порядочный человек. Коим в ту пору был безусловно и даже несколько сверх нормы.

О перемене своего положения Ярик почему-то счел необходимым телефонировать в министерство, и, бывшая уже не менее, чем коллежским ассессером, будущая генерал добилась (безо всякого, впрочем, труда) встречи с юным молодоженом.

Случилась встреча сия всё в том же общежитии, место в котором, уже в другой, более комфортабельной, двухчеловековой комнате Ярик, перебравшийся к супруге, за собою сохранил. Неловкость, с которою они начали пить принесенное Галиною Алексеевной вино, через определенное время несколько рассосалось, модильяни вытащил из-под кровати огромную свою папку, и у генерала защемило сердце, защипало глаза, и она только повторяла полувслух одни и те же слова: «Вот видишь, я же тебе говорила!.. Вот видишь, я же в тебя верила...» Легкая зависть к феномену творчества покуда утолялась в ней покуда искренним покуда восхищением. Ярику было приятно.

В большой папке, под зарисованными и покрытыми гуашью и акварелью листами скрывалась еще и папочка маленькая, содержимое которой Ярику очень хотелось тоже показать Галине Алексеевне, но, сознавая греховность этого своего желания, он положил себе не поддаваться ему, оставив в глубине души изгнанную из сознания надежду на то, что Галина Алексеевна сама упросит, умоляет его развязать и эти тесемочки. Так оно и случилось.

Взорам закрасневшейся редактрисы предстала серия рискованных рисунков, вышедших из-под пера уже, увы, не мальчика, но еще, к счастью, не мужа, и первое обстоятельство делало их достаточно достоверными, основанными не на одной игре воображения и иллюстрациях из учебников по гинекологии (что было Галине Алексеевне неожиданно больно), второе же — придавало им особую силу, увлекательность и остроту чувства не только не пресытившегося, но даже далеко еще и не насыщенного (что Галину Алексеевну заметно возбудило).

Но измену жене Ярик считал делом аморальным, и если бы грехопадение даже и произошло, случилось бы оно точно так же, как с маленькой папочкой, то есть помимо его воли и решимости. Однако случай в

виде соседа по комнате вошел и стал на страже нравственности наших неудачливых любовников. У Ярика как камень с души свалился. Отчасти, впрочем, было камня этого и жаль.

Расставаясь у метро, Галина Алексеевна взяла с Ярика слово, что тот в воскресенье придет к ней на обед. «С женой?» — спросил модильяни. «Как хочешь», — неискренне ответила она. «А Тер-Ованесов будет дома?» — не спросил художник.

Тер-Ованесова дома, разумеется, не было, и Галина Алексеевна, отчасти заказавшая в ближайшем ресторане, отчасти — приготовившая собственноручно вполне изысканный обед, принявшая душ с душистыми мылами и шампунями, голая стояла перед туалетом, не без слегка приправленного смущением, но законного удовольствия изучала отражение и решала вопрос, что ей надеть: один ли японский свой халат и изящные туфельки на очень высоком каблуке (но если Ярик придет с женою — это будет нелепо и стыдно) или полную сбрую и тогда уж что поверх — безразлично. Почти безразлично. «Ладно, — подумала, вспомнив картинку из маленькой папочки, — придет с женой — сам будет и виноват».

Ярик не вошел, а ворвался, какой-то встрепанный, возбужденный, Галине Алексеевне в первый момент показалось, что даже пьяный, но нет — показалось. Не отреагировал ни на бурное приветствие Чичикова, ни на туалет хозяйки (на что и тот и другая тут же обиделись), ни даже на великолепный стол с хрусталем, салфетками и свечами, накрытый, впрочем, на троих. «Мне нужна типографская краска, — сказал чуть ли не с порога. — Если ты порядочный человек, ты должна достать мне типографской краски!»

«Если ты порядочный человек?... — подумала Галина Алексеевна. — Должна?.. Ого, как круто!»

Модильяни не хотел слышать ни о каком обеде; кусок не шел ему в горло. Он поражался Галине Алек-

сеевне, он поражался миллионам других галин алексеевн и алексеевичей, как они могут думать и говорить об обедах, завтраках и ужинах, когда... Видит Бог, как нам не хочется заканчивать эту фразу, вспоминать и напоминать о событиях неприятных, давних и неизвестно, происходивших ли вообще, но взятый нами на себя труд требует полной беспристрастности, и мы, скрепя сердце, продолжаем: когда советские танки идут по чешской земле, ибо это был именно тот самый август.

Галина Алексеевна присмирела под напором гражданских чувств прежде робкого — ныне пылкого — любовника, досада на невнимание его к себе незаметно сменилась невероятным желанием, равного которому она не испытывала до сих пор никогда, даже и там, в общежитии, между ногами стало влажно и горячо, словно кровь вскипела и выступила наружу, а модильяни всё говорил и говорил. Пусть смысл слов не проникал в сознание хозяйки, — зато тон их! зато страсть!! О, как он был великолепен!!!

«Изнасилуй же меня!» — подумала генерал, и ей самой стало за себя стыдно. Беспричинно приоткрывшаяся дверца шкафа укоряюще глянула на нее серым тер-ованесовским костюмом.

Мало-помалу, однако, Галина Алексеевна разобралась, чего хочет от ее порядочности юный художник: раскрытый из вчетверосложенного состояния листок бумаги явил ей увиденных со спины марширующих солдат, придавленных свинцовым небом: сотня затылков под глубокими касками, и откуда-то из середины колонны обернутое, смятое ужасом и растерянностью, кричащее НЕТ! лицо. Ярик собирался вырезать рисунок на линолеуме, распечатать его в сотне, тысяче экземпляров, расклеить, разбросать по городу. Ему тоже хотелось кричать НЕТ! И Галина Алексеевна — по его убеждению — обязана была ему в этом помочь.

Положение будущего генерала было ужасающим: хотя стремление к ниспровержению и протесту и придавало Ярику необоримое обаяние, оно же грозило и невозвратно погубить его, вырвать из этой непростой, дурацкой, в сущности, но такой милой жизни; переместить в какие-нибудь запретные темные помещения или комариные леса, отнять его от Галины Алексеевны. Ей хватило не столько ума, сколько интуиции, чтобы понять: призывы к рассудку и, соответственно, к осторожности (это не говоря уже о попытке объяснить текущий момент с точки зрения политической) еще сильнее распалют восемнадцатилетнего протестанта, и она, крепко скрутив свою страсть (что, смеем заверить, было при ее туалете куда как не просто), обратилась к Ярику со следующим, менее, разумеется, связным и отредактированным, зато еще, пожалуй, более патетическим, чем мы решаемся привести здесь, монологом:

«Опомнись, — сказала она. — Какой линолеум?! Какая краска?! Переодень своих солдат в американскую форму — и я берусь напечатать твою картинку хоть бы и в «Правде». Переодень в немецкую — и мы издадим плакат ко дню Победы. Это тот же самый соцреализм, который ты так ненавидишь и с которым тогда, два года назад, в нашей церкви, ты поклялся бороться всю свою жизнь! Ты не способен возвыситься над ними (в мозгу мелькнуло: над нами) настолько, чтобы говорить своим, а не их языком! Боже, как мне за тебя стыдно! Мальчиш-ка! Без-дарь! (Пауза.) А если ты просто хочешь проинформировать сограждан, то газеты уже сделали это гораздо большим тиражом, и мир, как видишь, не только не перевернулся, но даже, какжется, и с места не стронулся...»

Ярик долго и тяжело молчал. Потом взял со стола рисунок, скомкал и бросил на пол. Подскочил Чичиков и стал гонять комок по ковру. У Галины Алексеевны отлегло от сердца. Правда, модильяни, жалкий

и понурый, уже не вызывал в ней ни того, ни даже меньшего желания и был в этом смысле неожиданно подобен Тер-Ованесову. Захотелось одеться.

Когда Галина Алексеевна осталась наедине с накрытым столом, с теперь уже нелепыми икрой, хрусталем и свечами, она отобрала у Чичикова смятую, покусанную и заслюнявленную картинку, расправила ее, положила в правый ящик туалета, под наборы косметики, села и заплакала.

«И чего бы этим проклятым танкам было не подождать пару дней?! С-сволочи!...»

4.

Шли годы.

5.

Ярик был сильно пьян, что делало его еще большим модильяни, и великодушен: держал в руках всего на четверть опорожненную и заткнутую газетной пробкой литровую бутылку «Сибирской». Одиночество, более чем зрелый возраст и некоторое суровое целомудрие, к которому (само отчасти этому положению обязанное) обязывало Галину Алексеевну генеральское ее положение, успели создать в ней ряд привычек, на посторонний взгляд несколько, возможно, и забавных (*ridicules* — сказали бы мы по-французски, если бы живой и легкий этот язык вот уже более ста лет назад не вышел из русского литературного обихода), и Ярик своим появлением покусился на одну из них: ложиться в постель сразу же по окончании программы «Время» и, почитав не более часа очередной том «Всемирной литературы», отходить ко сну. И уж, конечно, окажись перед нею на пороге кто угодно другой, он непре-

менно вызвал бы в хозяйке дома приступ мутного гнева, тяжесть которого неоднократно испытывали на себе многие коллеги нашего модильяни, и столичные, и провинциальные.

Контражурно освещенная Галина Алексеевна стояла в раме своих дверей. Некогда великолепный японский ее халат сильно потерялся, да и скрывал далеко уже не те прелести, что прежде, а сквозь замаскированную лондотоном седину перманента нет-нет, да и просвечивала болезненно-бледная кожа черепа. Полтора года назад до неприличия растолстевший Чичиков издох, оборвав жестоким этим актом последнюю, а в сущности, давно единственную ниточку, привязывавшую к дому хозяина, и Тер-Ованесов от Галины Алексеевны ушел навсегда...

...Итак, совсем недавно грустившие о пропуске в жизнеописании наших героев каких-нибудь полутора лет, мы одним, так сказать, махом перескакиваем через период чуть ли не вдесятеро больший, и делаем вид, словно ничего не произошло. Мало того — мы готовы признаться, что, если бы каким-то чудом в нашем распоряжении оказалось невероятное количество бумаги, скажем, целый туалетный рулон, мы, безусловно сумевшие бы для литературных целей мужественно оторвать от истосковавшегося по комфорту своего зада добрую этого рулона половину, — всё равно не стали бы использовать ее, чтобы восполнить сей пробел. Ибо он на наш взгляд — кажущийся.

Действительно, когда бы нам или кому-нибудь еще пришло в голову представить полную превратностей и перемен жизнь Ярика и внешне (настаиваем: только внешне) спокойную и однообразную жизнь Галины Алексеевны в виде графика в какой-то покуда не запатентованной системе координат, линии вышли бы хоть извилистые и замысловатые, однако железно детерминированные двумя определенными и даже, в общем-то, тривиальными функциями. Посему-то мы,

дав, по мере наших сил, представление и о самих функциях, и о паре начальных и общих их точек, считаем не только своим правом, но почти что уже и долгом ограничиться в дальнейшей своей работе эскизным описанием (уже начатым двумя абзацами выше) всего одной лишь еще точки, последней, зато, как говорят математики, экстремальной.

Не станем скрывать глубокого собственного по этому поводу огорчения, ибо и сами, признаться, сделали в свое время несколько десятков неверных шагов по скользкой дорожке диссидентства и с удовольствием облегчили бы душу свою описанием невероятных психологических кульбитов, бытовых сложностей, дьявольских искушений, духовных (бездуховных) кризисов, случайных браков и пьяных разнузданных оргий, которые, по глубокому нашему убеждению, подстерегают каждого, на эту дорожку ступившего. Вот хотя бы и героя этой повести. Да и разглядеть на внешне пологой, широкой и опериленной, застланной красной ковровой дорожкой служебной галина-алексеевниной лестнице невидимые постороннему глазу осыпи, обвалы, головокружительные пропасти, бездонные, предательским снежком присыпанные трещины и скользкие ледники не может не представиться нашему писательскому самолюбию делом крайне соблазнительным. Но, увы... Как говорят в некоем почти диссидентском театре на одной из московских площадей: работа есть работа.

«Н-ну ты мне ответь! — с большим чувством обращался ко вполне уже проснувшейся хозяйке нетрезвый модильяни, — почему я никому из них не нужен?!» Клеветническое бубнение передачи для полуночников, вызванное к жизни легким мановением генераловой руки из капитально на скверную чужую волну настроенного кухонного транзистора, заполняло выразительные паузы монолога. Галина Алексеевна устала отвечать своему маленькому художнику на его стан-

дартные и, в сущности, давно риторические вопросы, устала составлять ему протекции во всевозможные организации, устала от ночных его визитов или, скорее, от оскорбительнейшей их нерегулярности, но глаза ее, однако, светились тихой любовью, и ничего с этим поделать было невозможно. Да и не нужно.

И вдруг галинаалексеевнина душа, пропитанная вышеупомянутым возвышенным чувством, словно гелием, воспарила под самый потолок (3 м. 30 см.) и увидала оттуда за опошленным водкою и закускою столом оставленное ею покорно слушающее тело и пьяного, вызывающе заросшего волосами *vis-a-vis*, и внутренне улыбнулась, вообразив на своем месте кого-нибудь из министерства. Последнее время Галине Алексеевне вообще довольно часто лезли в голову кошмары, будто коллеги и начальство, а пуще того — подчиненные и подопечные, как-нибудь случайно проведывают об этой давней подпольной ее страсти, но, вопреки ожиданию, кошмары сии не покрывали ее холодным потом ужаса, а скорее, напротив, — укрепляли дух подмеченным еще Пушкиным упоительным ощущением «бездны мрачной на краю». Мы-то, дошедшие до последней почти стадии ненавистного нам цинизма, полагаем, что дразнящее разоблачение не было возможно в принципе, ибо окружающие скорее отказались бы верить собственным органам чувств, нежели собственному о нашей героине представлению. Чем, впрочем, впали бы в непростительный для ответственных работников идеализм. Полагаем, но молчим.

Художник меж тем заканчивал первую часть своего монолога стандартным, но, несмотря на это, мучительнейшим вопросом — верит ли хотя бы она, Галина Алексеевна, в его, яриков, талант, и наша героиня не менее, чем в той, засранной, пятнадцатилетнедавней церкви; искренне, но куда более горько

утвердительно кивала в ответ. «Тогда выпей за мою удачу!»

Вот в ярикову удачу Галина Алексеевна как раз давно уже и не верила, ибо неоднократно пыталась подтолкнуть возлюбленного в ее достаточно широкие, но слишком как-то для модильяни жесткие объятия. Стакан, однако, подняла и под непрерывающимся взглядом теперь уже собутыльника выпила до дна. «Это я не просто пью, — подумала. — Уничтожаю психологический барьер».

И когда жгучее, в таких количествах совершенно непривычное тепло добралось до желудка, мрачная бездна сообщнически подмигнула кошачьим своим зрачком. Скатерть, свечи, хрусталь и серебро пронзительно представились Галине Алексеевне при взгляде на разделявший их с Яриком красный пластиковый кухонный стол, и то давнее, неимоверное желание... Нет-нет! Разумеется, не возродилось. Но вспомнилось. Вспомнилось и обдало всю ее жаром.

Однако Ярик, оголодавший в своем неизвестно уже которм по счету, но как всегда неудачном, браке, с таким аппетитом поглощал специально для него припасенные дефицитные и полудефицитные з а к а з н ы е продукты, что галинаалексеевнино смущение оказывалось категорически вне зоны его и без того не слишком по пьяному делу острого, да еще и занятого разрешением проклятых вопросов внимания. Галина же Алексеевна и в сорок свои с хвостиком не решилась бы непристойным словом или жестом спровоцировать в любовнике половое возбуждение, ибо развязность органически претила ее душе, а то, что в гнилом западном мире (довольно, впрочем, основательно) называется сексуальной свободой, для наших целомудренных женщин может обернуться разве что развязностью: всосанное с молоком первой учительницы понятие о скромности и нравственности хрен преодолешь и на смертном одре.

Наконец, модильяни утолил самую острую часть своего голода и снова освободил речевой аппарат для придания мучительным философским поискам словесного выражения, по привычке последних лет интонированного преимущественно вопросительно. Ну, почему, дескать, к ним, на Кузнецкий, народу ходит больше, чем к нам, на Грузинскую? или: куда подевались, куда сгинули времена бешеной популярности неофициальной живописи, легендарные времена Измайлова и «Пчеловодства», и почему он, дурак, в ту пору там не выставлялся? или, наконец, почему ни худфонд, ни эти сраные (при слове сраные Галина Алексеевна непроизвольно поморщилась; то же делаем и мы) миллионеры не желают покупать произведений его, Ярика, незавербованного искусства? почему даже в несчастный салон Ники Щербаковой не может он повесить и пары своих холстов?! Ну, и так далее...

Почему худфонд — Галина Алексеевна знала: куда более способностей и даже ее протекции там требовались совершенно несвойственные нашему модильяни усидчивость, выдержка и политическая тонкость в искусстве интриги. Самое смешное, что те же качества, даже и в большей еще степени, требовались и в мире диссидентском, но об этом Галина Алексеевна, не читавшая, в отличие от нас, журнал «Третья волна», а лишь наслышанная о нехорошем сем мире с клеветнического голоса любимой своей заокеанской радиостанции, не только не знала, но даже и не догадывалась. Впрочем, привыкшая к глухой монологичности всех яриковых сомнений, она вовсе и не собиралась на них отвечать. Поэтому настойчиво-напористое (Боже! почти как в те времена!..) требование художника ЕХАТЬ СЕЙЧАС ЖЕ, СИЮ МИНУТУ, К НЕМУ В МАСТЕРСКУЮ, ЧТОБЫ ЛИЦОМ К ЛИЦУ С КАРТИНАМИ ОТВЕТИТЬ, НАКОНЕЦ, ОКОНЧАТЕЛЬНО И БЕСПОВОРОТНО НА ВСЕ НА СВЕТЕ ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ, застало ее врасплох и, под-

крепленное зовом пресловутой мрачной бездны, любовью и алкоголем, сопротивления не встретило.

Тем более, что том всемирки, лежащий на ночной ее тумбочке, сто первый по счету, был Эдгар По.

6.

Склонив голову и всё же касаясь перманентной макушкой низкого потолка, а под огромными, пыльными, асбестом укутанными трубами склоняясь и в три погибели, шла Галина Алексеевна узкими подвальными коридорами за водконесущим Яриком. Мимо силуэтов ВМП, досок почета, соцобязательств, лозунгов и коллективных портретов политбюро. Шла святая святых своего модильяни.

Впервые открывшаяся ее взору огромная, в центре освещенная голой двухсотсвечёвой лампочкой на шнуре, в углах чем-то шуршащая и копошащаяся беззаконная комната вместе с сотнею ежемесячных рублей составляла награду совсем уже не юного нашего художника за идеологическую его работу. Результаты которой Галина Алексеевна видела по пути.

Ярик, впрочем, за продукцию эту ни перед генералом, ни перед своими диссидентствующими (но часто при этом вполне преуспевающими) друзьями-приятелями не находил нужным ни оправдываться, ни извиняться, ибо вот уже несколько лет, как положил считать вынужденный свой труд на ниве идеологии делом в нравственном отношении если и не прямо похвальным, то уж во всяком случае — нейтральным: каждая, дескать, цивилизация имеет свои символы и обряды, свои, так сказать, формальности, серьезного значения которым ни один нормальный человек никогда не придаст. Вот как, например, моде. Тут мы считаем своим долгом оговориться, что мы-то сами ярикову точку зрения не разделяем, а убеждены, что работа на туч-

ной сей ниве, несмотря на кажущуюся порою абсурдность и халтурность, втуне не остается никогда, и в этом смысле вполне согласны с афоризмом, приписываемым вышеупомянутому ВМП, что, кто, мол, дескать, не с нами, тот, сами понимаете, против кого... Ну, и со всеми возможными этого бессмертного афоризма инверсиями.

Будь мастерская хоть чуточку поменьше, мы рискнули бы, пожалуй, сказать, что картины ее заполняют: чувствовалось, как их много, потерянных в обводящем углы мраке. Большие и маленькие, масляные и гуашевые, на картоне и на холсте, мрачные и радужные. Края некоторых были попорчены коренным населением подвала. «Ну вот, — выдохнул Ярик и зажег пару спертых где-то на стройке прожекторов, — смотри. Оценивай. Ты же как-никак — специалист».

«Как-никак» несколько задело Галину Алексеевну, и лицо ее озарилось особым неким сладострастием, которого художник до сих пор никогда на нем не видел и которого даже и заподозрить не мог, сладострастием неограниченной власти надо всем этим, никому, по видимости, кроме Бога и автора неподвластным, искусством. И хоть в то же мгновение генерал одернула себя, согнала с лица предательское предвкушение, Ярик уже казнился, метался и готов был, казалось, повторить бессмертный подвиг одного из национальных героев, бросившись собственным телом на смертоносные амбразуры глаз любовницы. Ничего уже, впрочем, поправить было невозможно, во всяком случае, по модильяниеву не то что деликатному, а не слишком как-то твердому характеру, разве что вот суетливо разлить по нечистым стаканам остатки «Сибирской».

Вообще-то пить Галине Алексеевне больше уже не следовало, но любящей своей чуткой половиною она ощутила, что отказ спугнет возлюбленного окончательно, и, как ни горько нам, пуристически считающим выпивку делом безнравственным и человека не-

достойным в принципе, провидеть роковые последствия этих окончательных ста двадцати (приблизительно) граммов, мы вынуждены признаться, что здесь Галина Алексеевна была совершенно права.

А так как ни закусить, ни даже запить коварную жидкость было нечем, Галина Алексеевна бросилась в критический свой полет непосредственно из ожесточенной схватки с тошнотой и подступающей к горлу рвотой. Схватка обессилила ее, заставила вовсе уж забыть о благородной сдержанности, которую она обычно проявляла, беседуя об искусстве со своим модильяни, и которая двумя минутами раньше уже была побеждена на мгновение пароксизмом власти.

«Вот это, — сказала Галина Алексеевна, остановив, наконец, после пристальной панорамы по картинам запальчиво-острый, как у ВМП, взгляд, — это же прямая антисоветчина в худшем, классическом своем смысле. Это недостойно высокого твоего таланта!» — и брезгливо отбросила небольшой квадратный холстик влево от себя. «Допустим», — нетвердо согласился Ярик, польщенный словосочетанием «высокий талант», а генерал, словно только подтверждения и ждала, ринулась дальше: — «И это, — протянула цепкую свою руку куда-то в глубину. — И это...»

Когда экспозиция была очищена от откровенной антисоветчины и порнографии, разговор, несмотря на несколько заплетающийся язык тайного советника, принял характер значительно более утонченный. Например, графическая серия, вдохновленная ошибочно напечатанным и справедливо забытым «Иваном Денисовичем», навлекла на художника обвинение в спекулятивности и паразитировании на теме. «Ты сам посуди, — оправдывалась Галина Алексеевна перед мрачно молчащим, словно уже придумавшим, решившим что-то и на что-то махнувшим рукой, слушателем. — Ты сам посуди: кто бы, что бы и как бы скверно ни нарисовал про лагерь — это всегда будет волновать! При-

чем же здесь живопись, причем линия? Причем, в конце концов, искусство?!»

Ободренная превратно понятым угрюмым безмолвием подсудимого, Галина Алексеевна утратила последние остатки самообладания, и по мере того, как росла на полу стопка отсеиваемых ею картин и рисунков, всё более и более радужные перспективы раздражали внутренний ее взор: приручение талантливой зверьки, введение его в номенклатуру и, в конце концов, скромная свадьба и долгая семейная жизнь. Они жили счастливо и умерли в один день. «А пить я ему больше н-не п-позволю...»

Внутренний монолог, впрочем, нисколько не мешал монологу внешнему, и последний становился всё глаже, формулировки всё чеканнее и обкатаннее, голос мало-помалу набирал силу, и вот уже гулко гремел под низкими подземными сводами: «Ведь чем одним живет человек? Надеждой! Чего он вправе ждать от искусства?? Надежды!! Что должен, что обязан дать ему художник??? Надежду!!!» «Константинову», — буркнул Ярик, но галинаалексеевнин слух не счел сомнительную эту остроту достойной замечания. Голос меж тем продолжал: «Вот, например, полотно. Оно ведь абсолютно черное. Ты согласен, что оно черное? Согласен? (Вообще-то, оно скорее было красное, но ладно: черное, черное, — кивнул Ярик). От него же повеситься хочется! Кому оно принесет радость? Кому даст силу? КОМУ ОНО, НАКОНЕЦ, СЛУЖИТ?!», «Красоте... — стыдливо промямлил модильяни. — Истине...» На сей раз Галина Алексеевна расслышала, но ответила крайне лапидарно — просто повторила два эти одинокие его слова с уничтожающе-саркастической интонацией, и черный холст пополнил груды антисоветчины, порнографии и спекуляции. Внимательный сторонний наблюдатель заметил бы, что Ярик пожалел о своих вмешательствах в генералов монолог.

Когда, наконец, отделение зерен от плевелов было завершено и перед грустно-смирным яриковым и распаленно-удовлетворенно-прищуренным генераловым взглядами предстала всё еще весьма внушительная экспозиция, художник сам изъял из нее четыре добавочных холста. «Это ведь тоже, — процитировал он предыдущего оратора, — спекулятивность и паразитирование на теме. Что бы и как бы скверно ни рисовал я про войну — это всегда будет волновать! При чем же здесь живопись? При чем линия? При чем, в конце концов, искусство?!» «Хорошо, — согласилась Галина Алексеевна, подумав. — Пусть и эти — долой...» Ярик погасил прожектора и устало сник в углу деревянного колченого диванчика. На периферии сразу же зашуршало, замелькали серые тени. Галине Алексеевне стало вдруг жутко, и она попыталась прижаться к возлюбленному, но тот, хоть и не отстранился, был жесток и неподатлив. «Ты что, обиделся, дурачок? — с тревогой спросила притихшая наша героиня. — Ведь ты ж замечательный художник! Эти твои картины, — она кивнула на прореженную экспозицию, — составили бы, да еще и составят, непременно составят! — честь любой коллекции, любой галерее. Придет время, и они станут государственным достоянием, будут стоять бешеных денег... О тебе напишут мемуары...» — «А сегодня — слабо купить?! — вдруг обернулся художник, и глаза его странно сверкнули изнутри чем-то красным. — Вот ты бы, ты лично, ты купила бы их сегодня? Для своего министерства?..»

«Это, наверное, отразилось глазное дно», — подумала Галина Алексеевна, и, Боже, как же мы сожалеем, что нас в данный момент не оказалось рядом! Ведь мы не удержались бы и непременно спросили ехидно: «От чего это оно, мол, отразилось? и почему это оно такое красное?» — чем, конечно, привели бы нашу героиню в полное, граничащее с ужасом, заме-

шательство, — зато предотвратили бы ужаснейшее преступление, в котором оказалась она замешанной. Но, увы, — вместо нас в подвале присутствовало только немое наше художественное воображение.

«Ну, во-первых, — замялась Галина Алексеевна, — во-первых, это не входит в мою компетенцию — покупать картины...» — «А во-вторых?» — вызывающе спросил модильяни. «А во-вторых, нам бы, пожалуй, не выделили средств... Даже по перечислению». — «Ну, а в принципе?» — не унимался всё, казалось, глубже пьянеющий собутыльник. «В принципе — конечно, — и свольнодумничала: — Они даже слишком для нашего заведения хороши...»

«В таком случае я вам их дарю», — с угрюмой торжественностью произнес модильяни, и Галине Алексеевне почудилось в его тоне безумие.

«Есть упоение в бою — и бездны мрачной на краю...» — снова вспомнила генерал, а модильяни, словно подслушав чужие эти ее мысли, снова сверкнул глазами, что почему-то нисколько на сей раз генерала не испугало и не встревожило, а напротив, как-то жутко вдохновило, и предложил: «До утра еще вагон времени. Мы всё успеем. Поехали!...»

И уже на полпути к столь опрометчиво выбранной цели, зажатая в универсале между Яриком и его продукцией, осознала Галина Алексеевна весь ужас своего положения, но к неимоверному собственному удивлению не «Стоп!», не «Что я делаю?!» и не «Назад!» подумала, а совершенно для себя неестественное: «Жалко, что водка кончилась...»

7.

Проводив обремененных холстами героев до самых дверей министерства, художественное наше воображение категорически отказывается следовать за

ними дальше, резко поворачивается, надувает губки и обиженно уходит гулять по набережной близкотекущей Москва-реки. Гулять и любоваться трубами МОГЭС, круглосуточно производящей столь для полного коммунизма необходимую электроэнергию. И мы прекрасно понимаем и не осуждаем его (худ. вооб.), ибо препятствие, перед ним возникшее, препятствие, которого, признаёмся, оно побаивалось с самого еще начала своего с нами сотрудничества в области данного сюжета, — препятствие это представляется непреодолимым и нам самим.

Действительно, ну как простой советский человек, пусть даже генерал и тайный, извините, советник может проникнуть в нерабочее, да еще и ночное, советским людям чуждое, время в стены серьезного правительственного учреждения?! Как может он ввести с собою гражданина, к учреждению этому вообще отношения не имеющего?! Кто, наконец, позволил бы им втащить громоздкие нелепые эти квадраты и прямоугольники невозвратно испорченного красками холста?! Впрочем, внести — еще ладно, еще куда ни шло, еще полбеды, но ведь герои наши действовали как совершенные преступники и кроме белых пятен на зеленом сукне никаких следов за собою не оставили — стало быть, должны были и вынести произведения искусства и наглядной агитации, место которых незаконно заняли столь щедро подаренные Яриком государству шедевры! В ы н е с т и! Да и сама процедура добывания ключей, отпирания многочисленных комнат и кабинетов, доставания каких-нибудь переносных возвышений, с помощью которых можно было бы дотянуться до соответствующих крюков, наконец, возня с рамами и подрамниками, подгонка одних форматов под другие, — нет! всё это решительно непостижимо. Ре-ши-тель-но!

То есть, конечно, мы могли бы призвать на помощь какую-нибудь старую сторожиху, эдакую Арину Роди-

оновну, знающую Галину Алексеевну с самых министерских пеленок и беззаветно ее любящую... Или вахтера-алкаша, осовевшего до полного непонимания собственных поступков... Или, к примеру, какого-нибудь бородатого диссидента-ВОХРовца, своим принципиальным отказом от труда более интеллектуального выражающего преступному (на его извращенный взгляд) социалистическому обществу свой пламенный протест и с аппетитом общничающего нашим героям! Мы, наконец, готовы допустить в наш рассказ даже какого-нибудь от злобы не спящего по ночам американского резидента, вооруженного хлороформом, хлорофосом, набором отмычек и портативным лазером, или нагородить совершенно уже невероятную цепь совпадений и случайностей, вроде той, например, что представила преступному РРР сначала раздобыть, потом пустить в дело злодейский его топор и даже скрыться, не оставив непсихологических улик... Но, увы, ни один порядочный критик (а нынешние читатели почти без исключения и критики, и порядочные) не примет тогда нашего рассказа всерьез и справедливо заклеят его за подтасовку действительности и совершенную нетипичность.

И, право слово, не располагай мы абсолютно неопровержимыми доказательствами (и в свое время мы непременно их представим) действительного происшествия невероятной нашей истории, мы, столкнувшись со столь неодолимым препятствием, бросили бы труд свой на этой самой строчке и даже не стали бы сетовать, что столько времени просидели над письменным столом зря — так нам было бы и надо: дурная голова рукам покоя не дает.

Но доказательства есть, и, успокоив свое незнание, как это произошло, твердой уверенностью в том, что это-таки произошло, мы, пройдя преобразенными яриковой живописью коридорами, нако-

нец, нагоняем наших героев в кабинете самого министра.

Зеленому сукну старинного министерского стола приветливо улыбался со стены черно-белый ВМП (Галина Алексеевна и пьяная убедила возлюбленного не трогать портретов, ибо, во-первых, не нашлось бы им всем у Ярика даже и неравноценной замены, даже если привлечь сюда и ту, в подвале оставленную груды, во-вторых, являлись они произведениями не столько искусства, сколько идеологии, а мы уже успели убедиться, что в беседах со своим модильяни (за другие беседы мы поручиться не можем) Галина Алексеевна неизменно эксплуатировала принцип разделения вещей на кесарева и богова), а немолодые любовники прилаживали на противоположную стену последнее из привезенных полотен.

«Выше! Еще выше!! Левый угол выше!!!» — дирижировала, привалившись несколько отвисшей, но всё еще стыдливой попкую к обрезу стола усталая и счастливая Галина Алексеевна. В кабинете было уже по-рассветному серо, и модильяни, удовлетворив, наконец, тайного советника параллельностью горизонтальной рамы запалашенному полу, обернулся со стула и общим планом, но одновременно и во всех подробностях, увидел огромное зеленое поле стола, кой-где закапанное разноцветными чернилами, так, однако, замысловато, что чернильные эти пятна создавали совершенно современную, но очень стройную и любопытную композицию, и частые короткие вертикали красных точеных балясинок, поддерживающих три обводящих стол перильца, и создающие совершенно безумный ритм, и вишневые квадраты сафьяновых папок «к подписи», и светлый прямоугольник письменного прибора, и радужный веер разноцветных карандашей в пластмассовом, цвета распаренной детской кожи, стаканчике, и ее, свою (мы извиняемся за единственную во всем рассказе фамильярность) Галю —

счастливую немолодую женщину, носительницу обворожительных линий и пятен: малинового пятна кофточки и трех палевых, перекликающихся с письменным прибором, разновеликих: лица и рук.

Ярик прыгнул со стула, подошел к композиции и плавным сильным жестом смешал ее, соединил малиновое с зеленым.

Спустя несколько мгновений колористическое однопоборазие серого паласа нарушили темно-синие итальянские сапожки, а потом и запутавшиеся в облаке паутинных колготок нежные салатные трусики. Впрочем, ни любопытные эти цветовые сочетания, ни собственное и ни галинаалексеевнино тяжелое дыхание не помещали нашему художнику осознать, что порыв, бросивший его к столу, при всей своей необоримости и истинности, не был порывом ни любви, ни даже похоти, а чего-то третьего, непонятного, и ему показалось, что порыв сей возник еще там, в подвале, несколько часов назад, в тот самый момент, когда, подавленный генераловым критическим выступлением, нелепо и, в общем-то, в шутку предложил он государству неудобный свой подарок, а теперь лишь высвобождается точно в заданное заранее кем-то неведомым время. И в не безехидства подтасованном месте.

Для Галины же Алексеевны этот рассветный час стал звездным часом первого и последнего в ее жизни оргазма, столь мощного, что наступления его не смогли предотвратить ни осуждающий взгляд ВМП, ни догаллюцинации отчетливо услышанная из прошлого песенка про роковую судьбу бедного черного кота, ни даже пронзительная и неожиданная ассоциация, спровоцированная экстравагантными, стробоскопически меняющимися ракурсами, из которых опрокинутая, мотающаяся по столу галинаалексеевнина голова видела на стене ярикову картину. Ассоциация же была с теми предновогодними мальчишками, что подглядывали

вали за ними и нахально мешали их любви в давнюю первую ночь тягучей пятнадцатилетней их связи.

Когда Ярик, застегиваясь и брезгливо поглядывая на порозовевшего тайного советника, вопли и непристойные извивы которого всего минуту назад чуть не вызвали у него пренатуральнейшего приступа рвоты, чья-то посторонняя рука, та самая, должно быть, что рассчитывала линию его жизни, словно протянула сквозь голову как бы телеграфную ленточку со вполне в данной ситуации логичной, но, тем не менее, парадоксально-неожиданной и, самое главное — совершенно нецензурной фразой:

**ЕБАЛ Я ВАШЕ МИНИСТЕРСТВО**

Вот так. А вы говорили: первая любовь!..

8.

Собственно, последняя точка завершающего предыдущую главку восклицательного многоточия вполне заслуживает несколько, правда, сомнительной чести завершить и всю эту игривую новеллу вообще, ибо, во-первых, намерение рассказать некоторую (цитируем себя) «совершенно неприличную и какую-то даже гаерски-фантастическую историю», намерение, которое, как мы уже писали на первых страницах опуса, только и побудило нас взяться за перо, в меру наших возможностей нами уже выполнено. Не столь, быть может, эффектно, как нам бы того хотелось, но — выполнено. Во-вторых же — нам бесспорно очевидно, что герои наши после вышеописанной экстравагантной ночи не увидятся больше никогда, разве как-нибудь случайно, на улице, да и то постараются разминуться, полные гадливости, неловкости и стыда, а потому, как бы ни милы они были нам каждый в отдельности, составлять предмета дальнейшего нашего

повествования, посвященного исключительно их альянсу, уже не способны.

Тут же кстати мы готовы назвать еще одну причину, которая не дает нам возможности писать дальше. Приоткрыть, так сказать, полог над профессиональной нашей тайною: с того самого утра, когда мы оставили Ярика, устало и индифферентно, безо всякой злобы и ненависти перебрасывающим из багажника оранжевого олимпийского такси в вонючие недра попутного мусорного контейнера образцы пейзажной, батальной и жанрово-патриотической живописи, похищенные с министерских стен, — с того самого утра художника нашего мы больше не встречали и не имеем ни малейшего представления о том, куда он исчез и доведется ли нам увидеться с ним еще.

Другое дело — Галина Алексеевна: она на виду. Добравшись до постели, провалилась она в тяжелый, болезненный, похмельный сон, и одному Богу известно, какие видения в воспаленном ее мозгу чередовались с мутными проблесками реальности, когда весь ужас содеянного минувшей ночью становился доступным ее осознанию. На службу она решила не ходить более никогда, а вот так, лежа в постели, тихо умереть от стыда, одиночества и голода. Голод, впрочем, не мучил ее нисколько, оставляя сию прерогативу похмельной жажды.

Хотя полные восемь часов рабочего времени были таким образом пропущены, отговориться за них кое-как еще было можно, но Галина Алексеевна не пошла на службу и назавтра, и на третий, по счастью оказавшийся пятницею, день.

На исходе воскресенья она решила, что испить чашу унижения до дна она обязана во всяком случае, включила телефон и поставила будильник на обычные семь-пятнадцать.

Первый, кого увидела она, подходя к родному учреждению, был обосновавшийся на асфальте у по-

мойного уголка знаменитый на всё министерство огромный стол, свидетель и соучастник ужасающего его падения. Он пытался держаться самоуверенно, но выглядел всё же как-то удивительно жалостно. На верхней его изумрудной, покрытой привычными чернильными кляксочками плоскости отчетливо, подобно полянкам ромашек на четырехугольном лугу, выделялись... О, ужас! Нет, мы краснеем, мы не смеем произнести этого вслух, написать это на бумаге!

Потупив очи, сама не своя, шла Галина Алексеевна коридорами учреждения, но злополучные модильяниевы полотна, нахально изворачиваясь, прямо-таки сами лезли под полуприкрытые веки, антинаучно нарушая все известные законы оптики и диалектики. «Зачем, зачем здесь эта отвратительная мазня?! Почему ее до сих пор не сняли, не сорвали, не выкинули вместе со столом?! Впрочем, да, конечно, я ведь отсиживалась дома, увиливала от грозного, но справедливого суда, а они дожидались меня, очевидцы страшного проступка моего, беспристрастные свидетели обвинения...»

Однако не только никаким судом, даже и никаким происшествием или, скажем, следом происшествия в коридорах и кабинетах вовсе не пахло. Коллеги встретили Галину Алексеевну равнодушно-доброжелательно, а трехдневное ее отсутствие было либо вовсе не замечено, либо приписано обычной инспекционно-разгромной поездке по провинции или легкому недомоганию. Скажем, женскому.

Но только к самому концу рабочего дня решила Галина Алексеевна, вызвав в кабинет по выдуманному делу молоденького редактора, вчерашнего выпускника факультета журналистики, как бы между прочим, впроброс, эдак шутя, спросить о причинах разжалования министром любимого своего, старинного, наркоматского, а может, и департаментского еще, единственного в своем роде и не одного хозяина пережив-

шего стола. Редакторчик, не понимающий, сколь важен для генерала этот несерьезный по видимости вопрос, отделался легкой шуточкой. «А это?» — кивнула назад и вверх, не обернув головы, Галина Алексеевна. «Действительно, — присмотрелся к картинке редакторчик. — У вас здесь, кажется, висело что-то другое. Пейзажное. Глядите-ка, как интересно: эта дама удивительно похожа на вас...»

«А что Тер-Ованесов? Всё еще преподает на журналистике?» — чуть было не спросила на прощанье наша героиня.

На другой день Галина Алексеевна побывала в кабинете у самого. «Что, Имярек Имярекович (мы не решаемся прикоснуться плоховымытыми своими руками к имени-отчеству глубоко нами уважаемого министра), дали отставку?» — как бы невзначай спросила она, когда почувствовала, что разговор достаточно прочно держится в привычной доброжелательно-полуфамильярной колее, и кивнула на огромный, темнозеленого дерева финский полированный стол. «Да уж, — пошутил министр, — пора, понимаете, пристраиваться в ногу со временем. Становиться, так сказать, современником. Вон и картинки поменяли. Одобряете?»

Галина Алексеевна оглянулась на нескромных яриковых амуров, произнесла не столько утвердительное, сколько многозначительно-игривое «да-а-а-а...» и почувствовала, как, наконец, отлегло у нее от сердца. Край мрачной бездны, — поняла она, — никогда больше не поманит ее непонятым своим упоением. И слава Богу.

Правда, она не знала еще, что и другое упоение, упоение власти над неподвластным, не посетит ее больше никогда, что не будет уже в ее жизни неожиданных ночных звонков, что заведется в кухонном ее шкафчике неиссякаемый родничок, к которому до самой одинокой своей смерти будет она прикладываться по вечерам и выходным, что в одну из тоскливых минут закажет для покусанного покойным Чичиковым ри-

сунка рамку со стеклом, но на стену повесить так и не решится, а спрячет в комод, под чистое белье, не зная, что редакторчик и приблизительно не заменит ей Ярика... С нас слишком хватит уже и того, что об этом знаем мы, а она, женщина, пусть хоть немножко поживет в счастливом своем неведении...

Впрочем, всё это одни отговорки и оправдания, а от нас ждут

## 9. неопровержимого доказательства.

С ним может ознакомиться всякий, кто не поленился заглянуть в неоднократно нами упомянутое министерство (постаравшись сделать это не ранее пятнадцати-ноль-ноль, ибо примерно через неделю после описанной выше ночи был значительно ужесточен пропускной режим галинаалексеевниного заведения, и посторонние лица прежде названного часа категорически туда не допускаются).

Вот оно: **ЯРИКОВЫ КАРТИНЫ ВИСЯТ НА ДАВНО УЖЕ СВОИХ МЕСТАХ, МИРНО СОСЕДСТВУЯ СО ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ЛОЗУНГАМИ И ПОРТРЕТАМИ.**

Кстати же, и товарищи, по каким-либо причинам не желающие доверять ни яриковой самооценке, ни галинаалексеевниным критическим этюдам (мы вот сами даже и не решились в рамках нашей новеллы заниматься искусствоведением, хотя и чувствуем к нему застарелую тягу), могут составить себе мнение о творчестве одного из наших героев и, возможно, более того: захотят поделиться этим своим мнением с широким читателем на страницах нашей замечательной, самой правдивой, интересной и самой массовой в мире прессы.

Прочтем с большим любопытством.

*Москва, август 1980 г.*

КОЗЛОВСКИЙ Евгений Антонович — родился в 1946 г., в 1976-м окончил режиссерский курс Школы-студии при МХАТ СССР. Поставил несколько спектаклей и телефильм. Основная профессия — журналист. Опубликовал две небольшие подборки стихов в журнале «Студенческий меридиан». Живет в Москве. Один из основателей независимого литературного клуба, созданного осенью 1980 года и уже подвергнутого преследованиям.

Только что из Ленинграда пришло известие: 23 декабря арестован Константин Азадовский, поэт и переводчик, германист, сын знаменитого исследователя русского фольклора проф. Азадовского. Константину Азадовскому 40 лет, он известен на Западе как составитель и автор комментариев книги «Пастернак и Рильке», вышедшей в Италии. В начале декабря у него был обыск, при котором изъяли архив погибшего фотографа М. Балцвиника — материалы по неофициальной ленинградской культуре. Теперь он арестован по смехотворному обвинению: новый обыск якобы обнаружил у него наркотики. Обысканты не озаботились даже отдаленным правдоподобием, да это им и ни к чему. Нас не удивляет, когда советские власти действуют как налетчики. Нас скорей удивляет, когда они этого не делают. Но пусть знают ленинградские майоры — или как их там: у Азадовского много друзей во всем мире, и этим делом они испортят себе несколько блестящих гебешных карьер.

*Редакторы*

Арест Константина Азадовского, как любая подобная акция по отношению к деятелю культуры, свидетельствует об определенной закономерности: это результат общего невежества, но и стремление стабилизировать это невежество, ибо только невежество гарантирует устойчивость власти. Более того, речь идет даже не о власти в целом, а об органах госбезопасности, стремящихся навязать населению впечатление, что главной категорией существования является зависимость от них, что именно они распоряжаются существованием. Подобное восприятие действительности возможно только в обстановке отсутствия культуры, ибо всякая интеллектуальная деятельность в принципе ставит под вопрос авторитет власти.

*Иосиф Бродский*  
Нью-Йорк (по телефону)

(ЖУРНАЛ «ЭХО»)

\* \* \*

А. Шагиняну

*...А в наши дни и воздух пахнет смертью:  
Открыть окно — что жилы отворить.*

Б. Пастернак

Отпетым песням  
И отпетым плутам  
Мы оставляем  
Сумрачную сцену,  
Уверенные,  
Что на эту сцену  
Вернемся утром.

Устать — не стыдно.  
Исправлять — не трудно.  
Самим себе  
Мы назначаем цену,  
Уверенные,  
Что за эту цену  
Вернемся утром.

И лишь в минуту  
Без брони и пудры,  
Лицо открыв,  
Как открывают вену,  
Поймешь,  
Что только отворивши вену —  
Вернешься утром...

РОМАНС

Я выбираю вас.  
Молчите — не мешаю.  
Мудрите — не сужу.  
Под сумеречный пляс  
Камланий бесовских  
Разверзшемуся маю  
Я август предпочту:  
Я выбираю вас.

Из всех земных затей,  
Бессрочных и сезонных,  
Нам данных напрокат, —  
Из грима и гримас,  
Из дебрей собственных  
И дебрей законных  
Я сотворяю миф.  
Я выбираю вас.

Не смяв, не поделив  
На «помнить» и «не помнить»  
Того, что за спиной  
(Не спит иконостас!),  
В опасной тесноте  
Сужающихся комнат  
Я воздуха ищу...  
Я выбираю вас.

Близнец и антипод  
(Как слов МОЛчать и МОЛвить,  
Корнями сросшихся,  
Немыслимая связь),  
К дверному косяку  
Привычно прислонясь,  
Вам так не терпится  
Фантомами наполнить

Мир —  
и сесть, и умирать от ран,  
И в яблочно-рассеянные полдни,  
В рожденье душевное  
Лить светлый смертный час...

Я вас не слушаю...  
Я выбираю вас.

\* \* \*

Над устьем медленной трубы —  
Мелодий бранные останки,  
И сумеречны негритянки,  
Как зов судьбы.

От смолкшей этой простоты —  
Покатей плеч, смелей улыбки —  
Не оторваться, как от зыбки  
Средь суеты.

Доверчивая полутьма,  
Пропитана осадком звука,  
Плывет покинутой фелукой  
Через дома.

А ночь блестяща и черна,  
А кожа исчерна-блестяща,  
И радость злей, и горе слаще,  
И медь, упрятанная в ящик,  
Как месть ясна.

\* \* \*

В доме, крайнем от конца света,  
Где в окно видна река Лета,  
Я сушила разомлевшие туфли.

Были в доме на краю света  
Два пучка валерианы, два букета, —  
С них стекали валерианные капли.

У завалинки клубком кошачьим  
Горизонт расположился тишайший.  
Он любил, когда к нему приближались.

Но споткнувшись о конец света,  
Солнце кануло в реку Лету,  
А спасенные круги разбежались.

Нет, не жаль мне, что вот так — слепо —  
За тобой пошла на край света,  
Ты позвал — так хоть земля рухни!  
Но ведь — край. Конец. Покой.

И в покое —

Нет тебя. Есть только Оле-Лукойе:  
Мятный сон. И разомлевшие туфли...

Туфель жаль...

\* \* \*

Незрячим пальцем по стеклу,  
Незрячим пальцем —  
Рисунок яростный в углу,  
Зародыш слова...  
Так ведьма, износив метлу,

Глаза скитальцам  
Сном завораживает.  
Так  
я жду Другого.

Аптечный воздух за окном  
Пахуч и вкрадчив,  
Пьянит виною и вином  
Судьба-полова...  
Кто за диковинным руном  
Спешит, как мальчик,  
Кто ждет пощечины;  
А я —  
я жду Другого.

Изменой полыхает лес  
(Не сбейся, Мастер!)  
Закат — пощечиной за спесь  
Червя земного,  
Овчинное руно небес —  
Порфира власти —  
Сквозь иероглиф на стекле:  
Я жду Другого.

Того, кто вставши на порог,  
Не рвет завесы,  
Кто не потребует в залог  
Души и крова,  
Кто исчезает, как пролог,  
В начале пьесы,  
Поняв: здесь ждут.  
Здесь ждут всегда.  
Всегда — другого.

\* \* \*

Ночью не сомкнуть глаза.  
Лес по ком-то тяжело воеет,  
Вознеся над головою  
Облачные образа.  
По-медвежьи пьян и прям,  
Собирает на поминки  
Все развилки и разминки,  
Оползни страстей и ям,  
Поджидающих паденья,  
Жадных жалоб, кутерьмы —  
В предвкушении зимы  
И полонного терпенья.

Взвешено. Обречено.  
Разлиновано на сроки.  
Коли выбрать не дано,  
Лучше сгнать без мороки:  
И планирующий лист,  
Как фланирующий денди —  
Так высокомерно бледен,  
Так изысканно землист —  
Слишком горд, чтобы спастись  
В редкой и кричащей меди.

Но вокруг — седой травы  
Отрешенье, отреченье,  
И метельной тетивы  
Нарывающее пенье,  
И молочная слеза  
Месяца во тьме белесой,  
И над волчьим воем леса —  
Облачные образа.

## ВИЗИТ СЕНАТОРА

Один американский сенатор, холеный, не в меру самоуверенный, прибыл в нашу страну. Прибыл он в новом костюме, начищенных ботинках и с дорогой сигарой в зубах. Такие сигары были в Америке по карману только ему, еще двум или трем сенаторам и президенту. Среди многих неблагоприятных целей, с которыми он прибыл, была и такая: поговорить в заносчивом тоне с нашими руководителями, наговорить им грубостей и уехать, не попрощавшись. На этикет ему, этому, с позволения сказать, «гостю», было наплевать.

На границе его встретили весело и дружелюбно: пожали руку, показали пограничный столб. При этом сенатор впервые увидел герб нашей страны, и, надо сказать, он был поражен: он ожидал увидеть на нем изображение новейших видов оружия, а обнаружил лишь скрещенные серп и молот и большое количество колосьев ржи, пшеницы, ячменя и других зерновых культур. Сенатору вспомнились истории о разоренном сельском хозяйстве этой страны, слышанные им в Америке...

Затем высокого гостя повели к ларьку, где начальник заставы и начальник таможни предложили ему выпить «на троих». Сенатор согласился.

Поднимая стакан, он уже готовился сказать один чрезвычайно оскорбительный для наших руководителей тост, однако, пока он обдумывал его, начальник заставы от всей души произнес тост за мир. К нему присоединился начальник таможни. Выпили, закусили соленым огурцом и разговорились.

— Это у вас кто? — спросил сенатор, небрежно указывая стаканом в сторону плаката, под которым они пили. — Это ваш президент?

— Ну, если говорить по-вашему, то да: это наш первый президент.

— Как его зовут?

— Его зовут Ленин.

— Гм, — сказал сенатор. Имя ему понравилось. — А что он пишет?

— Он подписывает декрет о мире, — ответил начальник заставы, доставая вторую бутылку. И эту, вторую бутылку тоже выпили всю до донышка и, как и первую, тоже всю за мир.

Надо сказать, что сенатор ожидал чего угодно в этой стране, о которой он твердо знал, что она — коммунистическая, но только не такого радушного приема. Он знал также, что коммунисты много пьют, но никогда не думал, что за мир! Какое-то непонятное ему чувство шевельнулось в его душе, но он тотчас подавил его, тем более что на таможенном осмотре началось потом такое! Только тут сенатор впервые почувствовал, что приехал не куда-нибудь, а в коммунистическую страну. Мы не будем описывать, как открывали и закрывали его чемоданы; как разглядывали, хихикая, интимные элементы его туалета; как злобно смотрели на него, считая его деньги; как украли его дорогие сигары — включая и ту, что была у него в зубах. Скажем только, что, когда сенатор думал, что уже все позади, его попросили снять штаны. Сенатор был настолько поражен наглостью этой просьбы, что, не противясь, тут же выполнил ее. Но когда два таможенника как бы невзначай заглянули ему, говоря по-латински, *in apus* (это по-нашему значит в задний проход), свободолюбивый американский дух проснулся в нем, и он стал громко требовать назад свои штаны. При этом он очень недружелюбно отнесся о наших руководителях, и выяснилось, что он, ока-

зывается, знает русский мат. Наши ребята, таможенники и пограничники, так и покатались со смеху — с таким акцентом он произносил наши матерные слова и столько делал в них ошибок, несмотря на то, что был сенатором.

Уладил конфликт начальник таможни. Он вынул из одного кармана пальто бутылку, из другого соленый огурец и предложил сенатору еще раз выпить за мир.

— Видите ли, — сказал он, наливая гостю первому, — в нашей стране закон запрещает пропаганду войны. А у нас было подозрение, что вы везете к нам печатные материалы с такой пропагандой. Поскольку же наши ребята ничего не нашли, то можете считать, что с вами ничего не случилось. А что вам куда-то заглянули, то ведь это получилось нечаянно! А кроме того и ребят понять нужно: молодые, любопытные. Все хотят знать. За мир, сенатор, и за ваше здоровье!

— За мир и за здоровье вашего первого президента Ленина! — ответил сенатор.

Он бы никогда не признался в этом, но он был смущен. Ему было неудобно, что он, едва переступив границу этой страны, устроил скандал из-за такого пустяка, каким был его задний проход. Они чокнулись, выпили. Поговорили откровенно о политике, причем оказалось, что у обоих полностью совпадают взгляды! Потом сенатору принесли штаны, и он с удивлением отметил, что их уже успели погладить. Так вот, оказывается, зачем он должен был их снять!

Он надел штаны, тепло распрощался со всеми, а обоим начальникам подарил даже по красивой коробке жевательной резинки, которой, как он знал, в стране, в которую он прибыл, просто цены не было! В Америке же она обошлась ему всего в 60 центов.

Сидя в мягком купе, сенатор смотрел на проплывающие мимо величественные картины коммунистической природы, а то, неизвестное ему ранее чувство

давало знать о себе все настойчивее. Сенатор больше не пытался подавлять его. Он думал. Он думал о том, как же мало он еще знает об этой стране, оказавшейся такой гостеприимной, замечательно красивой и огромной — почти как Америка!

Потом он заснул. Ему снился первый русский президент Ленин, который, подписав с добродушной улыбкой декрет о мире, вынул из одного кармана пиджака бутылку водки, из другого соленый огурец и две рюмки и, подмигнув сенатору, предложил ему выпить за мир.

Проснулся сенатор на какой-то станции. В глазах его зарябило от красочных плакатов, флагов, лозунгов. С одного плаката ему улыбался рабочий, всем своим видом красноречиво свидетельствовавший, кто в этой стране подлинный хозяин; с другого — колхозник и колхозница, только что собравшие небывалый урожай зерновых и теперь не знающие, куда им девать столько хлеба. С третьего, подняв над головой руку, его приветствовали упитанные, розовощекие детишки в красных галстуках. На сердце у сенатора потеплело: ему вспомнились собственные детишки, оставшиеся в Америке — Боб и Джинни, и он с грустью подумал, что они даже наполовину не были такими упитанными и розовощекиими.

Затем он прильнул к окну и уже больше не отрывался от него. Он хотел перед тем, как он предстанет перед руководителями страны, познакомиться с этой страной, ее обычаями и людьми как можно ближе.

И он не пожалел об этом! На всем пути следования, даже в самых глухих уголках, не было на зданиях ни клочка свободного пространства — так эти русские любили плакаты, лозунги и изречения своего президента! Читать по-русски сенатор не умел, поэтому внимание его в первую очередь привлекали плакаты. Они были выполнены на больших фанерных листах, и на них чередовались, главным образом, картины мир-

ного труда и счастливые лица. В Америке сенатору тоже случалось видеть счастливые лица, но никогда в таком количестве! Упомянутое чувство все росло и росло в нем, пока не выросло в огромную симпатию и привязанность к этой стране, к ее народу, к ее... вот к ее руководителям сенатор пока еще не знал, как относиться. В Америке он слышал о них мало хорошего.

Узнал он об этом уже по прибытии в Москву. Едва выйдя из вагона, он споткнулся об огромный плакат, изображающий наших руководителей. Они все улыбались и махали сенатору флажками. На их лицах он не заметил и тени недоброжелательности по отношению к Америке — совсем наоборот! Сенатор тоже улыбался и помахал им в ответ перчаткой, после чего — сенатор готов был в этом поклясться! — они замахали ему еще приветливее. Следующим, на что упал его взор, была выполненная крупными буквами надпись «Миру — мир!», которую сенатору тут же перевели на английский язык. Чуть в стороне на броневике стоял бронзовый президент Ленин. Он дружелюбно смотрел на сенатора и протягивал ему руку. Заметив, что вид броневика почему-то поразил высокого гостя, встречавшее его официальное лицо в русской шапке пояснило:

— Владимир Ильич на броневике. Броневик еще с царского времени. Это — копия, а оригинал мы уже давно перековали на орала.

— А что ваш президент хочет сказать мне, посланцу капиталистической страны?

— Да ничего особенного. То же, что думают все советские люди. Он хочет сказать: «Миру — мир!» и «Добро пожаловать, сенатор!»

...В тот же вечер сенатор встретился с нашими руководителями. Все они были упитанные и розовощекие, точь-в-точь как те детишки на плакате. Ни один из них не производил впечатления, что ему не хватает хлеба или чего-либо еще. Сенатору снова вспомнились

истории о разоренном сельском хозяйстве этой страны, неоднократно слышанные им на родине...

С широкими улыбками наши руководители поднялись сенатору навстречу. На длинном столе стояли водка и огурцы. Тут же налили, чокнулись, и сенатор, давно уже выбросивший из головы те слова, которые он собирался здесь произнести, поднял рюмку и от всей души произнес совсем другие слова — первые, которые он выучил в нашей стране: «Миру — мир!» Затем он заглянул в свою записную книжку и добавил по складам: «До-лой вой-ны по-жар!» Затем, широко улыбаясь (этому он только что научился у наших руководителей), он закончил тост свободно и почти без акцента: «Дорогие товарищи!»

## ПАРИ

Одному американскому сенатору, находясь у него в гостях, Владимир Ильич предложил заключить пари. От его внимания не ускользнуло, что у сенатора на каждом пальце по золотому перстню и что он очень этим гордится. Кроме того в доме была масса других золотых вещей, включая даже дверные ручки. И вот Владимир Ильич предложил ему заключить пари:

— Хотите на спор, сенатор, — сказал он, — что при коммунизме мы из золота будем строить уборные?

Сенатор уже и раньше слышал что-то насчет золотых уборных при коммунизме, но считал эти слухи выдумкой. А тут сам вождь коммунистов подтверждал их и еще предлагал ему пари! Сенатор был богат, очень богат, но кто же из богачей не хочет стать еще богаче? И он принял вызов Владимира Ильича.

Пригласили свидетелей и в их присутствии заключили пари на пятьсот тысяч долларов, причем по до-

говору проигравшая сторона обязывалась выплатить деньги немедленно, наличными, в чемодане. На этом настоял сенатор, хорошо знавший коммунистов и поэтому не очень-то доверявший их вождю.

— А когда мы узнаем, кто оказался победителем в нашем споре? — спросил он, провожая Владимира Ильича до дверей.

— Через неделю я пришлю вам нарочного с известием, — пообещал Владимир Ильич. Он весь сиял и даже не считал нужным скрывать свою радость: пятьсот тысяч долларов были у него почти в кармане! Сколько на эти деньги можно будет построить фабрик, заводов! А сколько школ, больниц! А также следовало бы открыть две-три тысячи новых библиотек. Библиотеки, конечно! Вот на что в первую очередь пойдут эти деньги!

Однако предстояло их еще выиграть.

Со своей стороны очень доволен был и сенатор. Полувозлежа после ухода Владимира Ильича на мягкой кушетке, он рассуждал, что если с умом вложить выигранные пятьсот тысяч в дело, то можно получить 25% годовых, а то и 30%. А может быть даже и 40%! Можно будет, например, построить фабрику... нет, фабрики нынче многие строят. А если скупить две-три железные дороги? Или открыть банк? Конечно, он откроет банк и даст ему свое имя! Вот на что пойдут эти деньги!

Однако и ему тоже, как и Владимиру Ильичу, предстояло их сначала выиграть.

И вот наступило утро заветного дня. Нарочный от Владимира Ильича явился около семи. Сенатор вышел к нему заспанный, в мягких шлепанцах и, сунув ему на чай стодолларовую бумажку, вскрыл поданный конверт.

*«Спешу огорчить Вас известием, сенатор, — писал Владимир Ильич красивым, каллиграфическим почерком, — что в нашем споре победителем оказался*

я. Уборные у нас при коммунизме будут строить-таки из чистого золота. Это я узнал на днях из вполне достоверных источников.

*Извольте распорядиться, чтобы к четырем часам подали чай: я забегу на чашечку. Извольте также распорядиться, чтобы выигрыш был выдан мне немедленно, наличными, в чемодане — как и было уговорено.*

*С наилучшими пожеланиями на будущее*

*Ваш В. Ленин»*

Что оставалось делать сенатору по получении такого известия? Конечно, он был расстроен: рухнул его план основать банк и дать ему свое имя. И вообще получалось так, что терял он миллион: те пятьсот тысяч, которые должен был выплатить ему Владимир Ильич, и еще столько же из своего кармана.

Тем не менее он поступил, как и требовала честь: напоил в четыре часа Владимира Ильича чаем, вручил ему кожаный чемодан с известной нам суммой, поздравил с победой в важном споре и попросил пригласить его на открытие первой золотой уборной.

— Пожалуйста, пожалуйста, приезжайте! — радушно пригласил Владимир Ильич и раскланялся, поскольку очень спешил.

...С тех пор минуло 90 лет. И, как мы все знаем, предсказание Владимира Ильича насчет золотых уборных полностью сбылось: при коммунизме мы действительно будем строить такие уборные. Так стоит у Владимира Ильича в произведениях. Как же после этого не удивляться гениальной прозорливости нашего вождя, который уже тогда, 90 лет назад, когда у нас и простых-то уборных не хватало на всех, заглядывал далеко в будущее и видел в этом будущем золотые!!

А теперь давайте помечтаем. Вот придет это будущее... начнется эпоха невиданного счастья... засвер-

кают рядами новенькие золотые уборные... Ведь просто голова кружится от гордости, как подумаешь, что все это впервые будет осуществлено в нашей стране! А осуществлено все это будет непременно, ведь именно так стоит у Владимира Ильича в произведениях!

Вот уж когда заживем, вот уж когда походим на двор! Все — старые, молодые! Сенатора пригласим. Пусть он приедет и убедится, что в то время, как в Америке даже простые уборные и те недоступны американским трудящимся, наши, золотые доступны каждому! Наши широко распахнули свои двери для всех желающих!

Распахнут они их и для вас тоже, дорогой читатель! Так что приходите — добро пожаловать. Оденьтесь получше и приходите. А если вы молодой человек и у вас есть девушка, то приводите и ее. А также не забудьте привести побольше родственников — близких, дальних, всяких!

При коммунизме в уборных всем места хватит!

## БАНКНОТА

В Вашингтоне, столице Америки, Владимир Ильич был только один раз. Приехал он туда ненадолго — для прогулки. И вот во время этой прогулки ему очень повезло: он нашел на углу под деревом десять долларов. Банкнота была еще совсем новенькая, видно было, что ей еще никто не пользовался. Сегодня десять долларов это по-нашему девять рублей, а что у нас можно купить на девять рублей сами знаете: более или менее ничего. Тогда же десять долларов были большими деньгами.

Если бы их нашел какой-нибудь американский пьяница, он бы тут же снес их в бар, а там бы уж он знал, как с ними поступить. Если бы их нашел амери-

канский миллионер, он бы положил их в банк и таким образом разбогател бы еще больше.

Владимир Ильич же отправился с банкнотой в книжный магазин. Но ведь деньги-то были не его! Ведь кто-то их потерял! Поэтому в магазине он ничего не купил, а банкноту позже привез в родной Симбирск и сдал в бюро находок.

Там, в Симбирске, нынешнем Ульяновске, она до сих пор и лежит. До сих пор новенькая, неиспользованная. Так что если это вы ее потеряли, можете забрать ее и использовать. Вполне даже. А то ведь так и пропадет.

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «РУССИКА»**

## **МАРИНА ЦВЕТАЕВА**

Стихотворения и поэмы в 5 томах

- Том 1. **И. Бродский**. Об одном стихотворении. (Вместо предисловия). Биографический очерк **В. Швейцер** «Своими путями». «Вечерний альбом». «Волшебный фонарь». «Юношеские стихи». «Версты 1» (1916). Стихи, не вошедшие в авторские сборники.
- Том 2. «Версты 2» (1917 — 1920). «Лебединый стан». «Психея». «Стихи к Блоку». «Ремесло». Стихи, не вошедшие в авторские сборники.
- Том 3. Статья проф. **Ю. Иваска**. «После России». Стихотворения 1925 — 1939 гг. Переводы.
- Том 4. Поэмы: «Царь-девица». «На Красном коне». «Молодец». «Поэма горы». «Поэма конца». «Крысолов».
- Том 5. Поэмы: «С моря». «Попытка комнаты». «Лестница». «Новогоднее». «Красный бычок». «Поэма воздуха». «Перекоп». «Сибирь». «Автобус». Драматические поэмы: «Метель». «Приключение». «Фортуна». «Феникс». «Червонный валет». «Каменный ангел». «Ариадна». «Федра». Хронология жизни и творчества (сост. **Джейн Таубман**).

Цена первого тома — 20.00 долл.

**RUSSICA BOOK & ART SHOP,**  
799 Broadway, New York, N. Y. 10003. U. S. A.  
(угол Бродвоя и 11-й улицы, третий этаж, комн. 301).  
Тел. (212) 473-7480.

# СТИХИ

Владимир Адмони

## ЗИМНЯЯ ПАМЯТЬ

1

Но память зимняя прямее  
Всех прежних памятей моих.  
Вот день, темнея и мертвея,  
Не состоялся — и затих.

Нем светофор на перекрестке.  
Между огнями ночь слепа.  
Грязь смерзлась в ледяные блески.  
И не бездействует беда.

Усталый транспорт санитарный  
Разыскивает свой подъезд.  
А звезды снова неприглядны.  
А судьбы снова неисправны.  
И снова воздуха в обрез.

2

Темней осенней темени,  
Сдержав рыданье в сердце,  
Я стал сильнее времени.  
Но я слабее смерти.

Мне совесть справку выправит —  
Не столь уж я повинен.  
Но память справку — выбросит  
И прошлое раздвинет:

До взгляда первозданного.  
До самой ранней дрожи.  
До дней, рожденных заново.  
И до разлуки тоже.

3

В этом городе не разберешь,  
что повсюду лежат острова,  
Где каналов и речек  
сплетается частая сеть.  
Но я знаю одно: о судьбе —  
что она неправа.  
И никак не пойму,  
что тебе довелось умереть.

Не пойму, не приму,  
потому что я с детства упрям.  
Не пойму и себе не прощу,  
что поныне живой.  
И отчаянье молча  
встречает меня по утрам.  
И ночами немymi  
отчаянье снова со мной.

4

Как эти улицы пусты.  
А ведь еще начало ночи.  
Но есть лишь снег и камень. Впрочем  
Чернеют чугуном мосты.

И льдом надломленным Невы  
Чуть скрыта гладь воды студеной.  
А дом за домом, дом за домом —  
Они не спят. Они мертвы.

## 5

Здесь лики так удлинены —  
 Быть может, от земных страданий:  
 Пришельцы из чужой страны  
 Эль Греко или Модильяни.

Так, солнца в вышине ища,  
 Ввысь удлиняются растенья.  
 И к вечеру длиннеют тени.  
 И к тайне тянется душа.

## 6

Тихий вечер. И шелест шагов за спиной.  
 Это падают первые листья:  
 Те, что падают не поразмыслив,  
 А почти — ну, почти по прямой.

Ведь еще не совсем невесома  
 Их простертая, плоская плоть.  
 В них есть влажность. Их можно  
 еще проколоть.  
 А сухая листва — та слетает совсем  
 по-другому.

## 7

Мы умели стискивать зубы.  
 Так и прожили жизнь напролет.  
 И в нечастые перекуры  
 Сострадали страданьям Гекубы,

Отзывались на дальние трубы,  
 Забывая порой амбразуры,  
 Заслоня собой амбразуры,  
 Из которых строчил пулемет.

На низость, на соблазны зла  
 Испытывали до предела.  
 Но это всё превозмогла  
 Душа — и всё преодолела.

Испытывали на разрыв —  
 И мускул сердца разрывался.  
 И оставался жить навзрыд,  
 Кто жить зачем-то оставался.

Или затем и потому,  
 Чтобы к неверному рассвету  
 В недостоверную страну  
 Тень вести принести за это.

Мы не сами тянули свой жребий.  
 И решение о нашей судьбе  
 Принималось отнюдь не на небе,  
 А в парткоме и в КГБ.

И начальство, конечно, знало,  
 Уточняя по временам,  
 Лучше нас о том, что нам надо  
 И чего не надобно нам.

Вот и прожило скудное тело  
 Жизнь чужую, с чужого плеча.  
 Но душа не дрогнуть посмела  
 И собою остаться сумела —  
 Словно вправду она вечна.

Я не был сослан и я не был зеком.  
 Я просто жил на острие ножа,  
 Своею жизнью мало дорожа,  
 И, кажется, остался человеком.

Открытие подлинного поэта всегда в некотором роде чудо, поскольку это откровение о времени и о себе. Владимир Адмони еще в молодости избрал путь тайного писания стихов и сохранил свои принципы на протяжении пятидесяти лет — поразительная верность самому себе. Только сейчас его произведения появились в самиздате. Написанные в классической манере, они отличаются абсолютной правдивостью и удивительной чистотой музыкального тона. По существу — это лирический дневник, который автор вел начиная с 1928 года, пряча его от посторонних глаз. Бесценный дневник человека, пережившего всю сталинскую эпоху и сохранившего «свою тайную душу» непримиримой и гордой.

Поэт и переводчик, профессор Педагогического института им. Герцена в Ленинграде Владимир Григорьевич Адмони родился 29 октября 1909 года. Отроческие года провел в бывшем Тенишевском училище, том самом, которое на несколько лет прежде него закончил Владимир Набоков. Соученицей Адмони была Лидия Чуковская, которая неоднократно вспоминает его на страницах своей книги «Записки об Анне Ахматовой», удостоенной недавно в Париже одной из высших литературных премий.

Адмони с Лидией Чуковской и Анной Ахматовой связывает та дружба, которая и бывает, наверное, только у поэтов. В данном контексте уместно процитировать саму Лидию Корнеевну Чуковскую: «Для меня Владимир Григорьевич Адмони — доктор наук, профессор — попросту «Володя»... С Ахматовой В. Г. Адмони познакомился в конце тридцатых годов в Пушкинском Доме, но сначала встречались они не часто; подружились прочнее в эвакуации, в Ташкенте, где Владимир Григорьевич стал бывать у нее вместе с Тамарой Исааковной. С тех пор Адмони и Сильман — постоянные посетители Анны Андреевны, слушатели ее новых стихов и переводов. Они навещали Ахматову и в Комарово и в больнице; не раз, когда оказывалось, что жить ей негде — она поселялась у них.

Владимир Григорьевич с юности писал стихи. Ахматова отзывалась о поэзии Адмони с интересом и одобрением».

Первая книга Адмони «Как возникла человеческая речь» вышла в 1930 году. Затем он усиленно занимается немецкой и скандинавской литературой. Творчеству Ибсена была посвящена его докторская диссертация. Вместе с женой Тамарой Исааковной Сильман Адмони переводит произведения Гейне, Мейера, Н. Грига. Их совместная книга «Томас Манн. Очерк творчества» была опубликована в 1960 году.

Адмони и Сильман становятся специалистами по теории немецкой грамматики и стилистики. Они не только практики, но и теоретики перевода. Книги Адмони «Строй современного немецкого языка» (Л., 1960, 1966, 1972), «Основы теории грамматики» (Л., 1964), книга Сильман «Проблемы синтаксической стилистики» (Л., 1976) были опубликованы не только в СССР, но и в ФРГ и получили высокую оценку специалистов. Тамара Исааковна Сильман одна из первых стала переводить на русский язык Рильке. Смерть ее в 1974 году явилась огромным потрясением для Владимира Григорьевича Адмони. Памяти ее он посвятил написанный вскоре «Реквием». В 1979 году «Реквием» опубликован в журнале «Время и мы» (№ 45).

Пафос этого произведения составляет переживание великой любви в эпоху, когда рушатся все традиционные ценности и рвутся все человеческие связи. «Реквием» написан на полутонах, внутреннее целомудрие и стыдливость автора не позволяют ему ораторствовать в стихах, как это любят многие шумные поэты как официальные, так и неофициальные. Поэт большой поэтической культуры, Владимир Адмони часто использует метод «внутренней цитаты», отсылая читателя к смысловым рядам определенного поэтического слоя. Этот метод приводит к некоторой герметичности и зашифрованности поэзии Адмони. И поэтому в полной мере трудно ощутить своеобразие «Реквиема» Адмони, если не знать традиции этого жанра.

Разносторонний ученый, поэт и педагог Владимир Адмони справедливо может быть назван гуманистом в первоначальном значении этого слова. Ибо он верует в неистребимость человеческого Духа, эта вера — суть его природы. Благородство Адмони проявляется в поразительной черте: он сам приходит на помощь к тем, кто нуждается в этом. Когда начался в 1964 году процесс над Иосифом Бродским, Адмони неожиданно для всех явился на суд и выступил в защиту поэта. Для Адмони этот поступок был не случайный порыв, а сознательно обдуманное решение с учетом всех возможных последствий. И в дальнейшем он принимал деятельное участие в

судьбах гонимых писателей. Но Адмони предпочитает не афишировать то добро, которое он приносит людям. В жизни он так же негромок, как и в своих стихах.

*Вадим Нечаев*

## «РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Почетный директор Зинаида Шаховская

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,

75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Франция	40	75	135
Заграница	47	84	150
<b>Авиапочтой:</b>			
США, Канада, Южн. Америка; Южн. и Центр. Африка	66	124	220
Сев. Африка, Греция, Турция, СССР	50	90	170
Иран	57	104	190
Австралия, Китай, Япония	84	158	300

## СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

\* \* \*

Как иногда в безмолвии ночном  
Спокойна беспредельность океана —  
Как будто серебристая нирвана  
Сошла на мир с его ненужным злом.

Как будто мир блаженно поживает,  
Не ведая, что сам в себе таит...  
Так человек: он — то, что он скрывает,  
О чем он никогда не говорит.

\* \* \*

Ужель не слыша, не дыша,  
В каком-то сне оцепенелом,  
Томится сорок дней душа  
Над разлагающимся телом,

И рвется в этот мир она,  
Как надоедливый проситель?  
О, неужели так страшна  
Ее небесная обитель?

\* \* \*

От снега поднимается сиянье,  
Как будто звезды на снегу горят,  
Как будто розы, затаив дыханье,  
Чуть слышно меж собою говорят:

Проникни в тайну скрытую от века,  
Склонись к истокам первозданных рек:  
Бог человеком был для человека,  
Чтоб Богом стал для Бога Человек.

\* \* \*

Но, может быть, в страдании есть смысл,  
Таинственный и страшный смысл страданья?  
Как мячик бьется каторжная мысль  
О ледяные стены мирозданья...

Но так же медленно встает луна  
И в царственном сиянии нерушимы,  
Над черною Голгофой тишина  
И звезды над сожженной Хиросимой.

\* \* \*

Я так мелко, так скучно старею —  
Стал придирчив, болтлив и сварлив...  
Были б деньги — махнул бы в Корею,  
В Абиджан или в Тананарив!

Потому что, известно с пеленок —  
Хорошо только там, где нас нет.  
Это скажет вам каждый ребенок,  
Каждый русский и каждый поэт.

Потому что — и это известно —  
Что проживши всю жизнь наобум,  
Нам под старость становится тесно  
От себя и от собственных дум.

\* \* \*

Всё пройдет, всё сбудется с годами...  
Но, быть может, ночи я не спал,  
Чтобы были лучшими стихами  
Те стихи, что я не написал.

ПОМЕРАНЦЕВ Кирилл Дмитриевич — родился в 1906 году в Москве. В 1920 году вместе с родителями эмигрировал. Среднее образование получил в Константинополе, где прожил семь лет. Переехав затем в Париж, посещал занятия в Сорбонне. С 1948 года занимается журналистикой. Печатался во всей русской эмигрантской прессе. В настоящее время работает в редакции газеты «Русская Мысль».

## КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ

### *ТАМ, ЗА ОБЛАКАМИ*

— Приготовьте ваши билеты, — в самолет вошел человек и остановился в проходе. Самолет летел на высоте 8000 метров.

— Сколько можно проверять? При посадке показывали, — недовольно проворчал пожилой пассажир.

— Костя! Достань билеты у меня из сумочки. Ревизор пришел.

— Не пришел, а с неба свалился, — сказал человек.

— Ревизоры всегда с неба сваливаются, — сказала стюардесса.

Человек, который вошел в самолет, был чем-то недоволен. Наверное, тем, что у всех есть билеты. Он подошел к одному из пассажиров и тихо сказал:

— Я вижу, вы интеллигентный человек. Вы-то понимаете, что я прилетел?

Пассажир посмотрел на стюардессу и сказал:

— Все мы летим сломя голову неизвестно куда, неизвестно зачем в этом бренном мире.

Человек пошел к выходу. В конце салона сидела симпатичная девушка и читала книгу.

— А вы верите в чудо? — спросил человек.

— Я Бегущая по волнам, — девушка загадочно улыбнулась, и в ее глазах отразились волны.

— Чуть собачья, — сказал человек и вышел из самолета.

— Закройте за собой дверь, дует, — крикнула стюардесса.

— Дверей дома нет, что ли? — проворчал пожилой пассажир.

## *ДВЕСТИ ГРАММОВ СЧАСТЬЯ*

Несколько дней назад я, наконец, закончил проект и мог позволить себе свободный вечер. В такие вечера я бесцельно брожу по улицам города, читаю афиши и рекламные объявления, засматриваюсь на прохожих и подолгу простаиваю у витрин магазинов.

В тот раз я гулял на окраине города. На углу одной из улиц был ресторан, которого раньше я никогда не замечал. Я узнал его по белым, в складочку, «ресторанным» шторам на окнах. Было поздно, и я решил поужинать.

Нашел уютный столик у окна и стал смотреть на улицу. Начал накрапывать мелкий дождь, и на мокрой серой мостовой возникли три окна моего ресторана. Хотя стало темнеть, в ресторане не зажигали дополнительного освещения, и только мягкий апельсиновый свет сочился откуда-то сверху, из-под потолка.

К столику подбежала официантка, звеня «медью», как кошка-копилка. На поясе у нее болталась открывалка для бутылок.

— Что заказывать будем? — спросила она и салфеткой смахнула мне на брюки крошки со столика.

— А что вы можете предложить?

Официантка заинтересованно посмотрела на меня.

— Наверное, вы у нас никогда не были. Вот меню. — Она положила на стол двойной листок, отпечатанный через копирку.

Я посмотрел в меню и не поверил своим глазам. Потом еще раз прочел внимательно названия блюд и чуть не расхохотался официантке в лицо, но вдруг

осекся. Она смотрела на меня совершенно серьезно и ждала заказа.

— Это очень остроумно, конечно, но не могли бы вы дать мне нормальное меню?

— Так оно и есть нормальное, — спокойно ответила она и ткнула толстым пальцем во внушительную закорючку. — Вот подпись директора. Вы не удивляйтесь, а заказывайте лучше скорее. А то мы скоро закрываемся.

Я все равно не очень-то поверил ей, но даже слабая вероятность получить то, что было в меню, заставила мое сердце сжаться от волнения.

— Ну что ж, — выдавил я с улыбкой, — с удовольствием бы заказал на первое теплые отношения, полную порцию, на второе, пожалуй, несколько штук чудных мгновений, а на десерт немного счастья, граммов так двести.

Всё это синим по белому было напечатано в меню.

— Теплые отношения брать не стоит. Они уже остыли. Чудные мгновения кончились. А счастье уже второй день не готовим. Для полного счастья не хватает кое-каких мелочей. С базы не завезли.

— Может быть, у вас так просто съестные блюда называются? Я, к примеру, заказываю «сердечное участие», а вы мне селедку с луком приносите?

Официантка, кажется, обиделась.

— Селедку мы всегда селедкой называем, а лук луком. И если в меню написано «сердечное участие», то и получите себе сердечное участие. А селедки с луком у нас вообще не бывает.

— А что, если я попрошу у вас первую любовь? Дадите?

— Могу. Но не советую. Сегодня первая любовь несвежая. И вообще у нас уже все кончилось. Надо раньше приходиться, в обед.

— Я вас очень прошу, может у вас завалялись где-нибудь для меня юношеские мечты или ошибки молодости?

— Да я бы с удовольствием. Но, честное слово, ничего нет. Приходите завтра к двум часам и хоть всё заказывайте.

Официантка ушла, но через минуту снова вернулась.

— Вижу, вы человек порядочный. Могу вам предложить кое-что, чего нет в меню, — она нагнулась ко мне и щекотно задышала в ухо. — Бифштексик, например, с кровью. А можно и под бифштексик кое-что сообразить.

Мне пришлось согласиться, и вскоре она принесла тарелку с куском аппетитного мяса, картошкой «фри», соленым огурчиком, свеклой и морковью. Рядом на подносе стояли небольшой графин и рюмка.

Когда я вышел из ресторана, дождь перестал. Еще больше стемнело, и три ресторанных окна тремя прорубями искрились на мостовой.

Утром я пришел рано, ресторан только открыли. Знакомая официантка встретила меня, как старого друга. Напрасно пытался я прочесть в ее лице иронию или насмешку.

Я сел за свой столик у окна, а официантка подала мне вчерашнее меню: я узнал его по жирному пятну в правом верхнем углу.

— Ну как, сегодня уже всё есть? — с замиранием в сердце спросил я.

— Как и обещала, — ответила она.

Я еще раз внимательно прочитал меню, в которое вошли все мечты моей жизни. На душе было радостно и немного жутко.

— А можно, я закажу всё, с начала до конца.

— Конечно, — официантка взяла блокнот и приготовилась записывать.

— Неужели всё-всё? — повторил я, не веря своим ушам.

Официантка терпеливо ждала.

— Тогда дайте мне, если можно, бифштекс с кровью и сто пятьдесят граммов.

Я опрокинул рюмку и начал разрезать бифштекс. Только сейчас догадался я посмотреть вокруг. За столиком сидело уже довольно много посетителей. Перед каждым стояла тарелка с дымящимся мясом и графинчик с водкой.

— Девушка, еще сто пятьдесят, пожалуйста.

Официантка понятиливо кивнула головой и пошла выполнять заказ.

### *КОЛЕСО ОБЗОРА*

Как-то мы с сыном решили покататься на колесе обзора в городском парке. Жена осталась внизу: боялась, что у нее закружится голова. Мы купили два билета: синий для меня, розовый для сына — и сели в кабину.

Колесо медленно начало поднимать нас над головами людей, над верхушками деревьев, над городским парком. Вот показались крыши старых домов, купола церкви, белые массивы новостроек и, наконец, лес, который начинался сразу за городом. А колесо поднималось все выше и выше. Когда мы были почти на самом верху, из-за пожарной вышки, самой высокой в городе, прямо в глаза брызнуло солнце. Я зажмурился, а когда открыл глаза, подо мной была Африка. Я сразу узнал ее, хотя раньше никогда не видел. По дремучим джунглям бродили слоны, антилопы и тигры. После Африки я побывал на восточном базаре и облизнул губы при виде экзотических фруктов. За восточным базаром я увидел шпиль Эйфелевой башни, а

потом и весь Париж с высоты птичьего полета. Он был точно такой же, как на цветных фотооткрытках, которые привез из командировки товарищ по работе.

Потом я видел выжженные прерии Латинской Америки, сказочные города Скандинавии, австралийских кенгуру, Средиземное море, египетские пирамиды, белых медведей и королевских пингвинов. Колесо поднялось еще чуть-чуть, и прямо под ногами я увидел весь земной шар. Он был действительно круглый.

Колесо стало снижаться. Солнце спряталось за вышку, и опять показались дома, купола и деревья города. Потом я увидел людей в парке, киоски с мороженым, пони, жену, которая махала нам рукой.

— Ну как? — спросила жена. — Что вы видели?

— Да ничего особенного, — ответил я. — Дома, деревья, лес и нашу пожарную вышку.

— А ты что увидел? — спросила она сына.

Сын удивленно посмотрел на меня и промямлил:

— Вышку видел... пожарную.

— А-а, вышку. Это интересно. Пожалуй, я тоже рискну покататься. Купи и мне билет, — решила вдруг жена.

Ей ведь тоже хотелось увидеть сверху Африку, Париж, города Скандинавии и нашу голубую круглую планету.

### *ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО!*

Он распахнул окно.

Странно. Трава, и вдруг зеленая. Не бордовая, не фиолетовая и даже не цвета кофе с молоком.

Когда же он посмотрел на небо, то увидел там солнце. Солнце не катилось по булыжникам мостовой, не пряталось в темном углу двора, не пило у поэта

чай с вареньем, а, подумать только, солнце светило. Больше того, оно грело.

Вдруг он услышал чистый мелодичный звон, словно кто-то рассыпал серебряные колокольчики по дороге. Из-за угла показался трамвай. Очарованный удивленным, человек протер глаза. Нет, трамвай не парил в воздухе. Пригляделся лучше. Сейчас уже было ясно видно, что трамвай и не плыл по морю. Он, представляете, ехал. И что самое удивительное, ехал по рельсам.

Трамвай ни с того, ни с сего остановился на трамвайной остановке. Из него почему-то вышла женщина. Медленно, чуть касаясь ногами земли, она направилась к киоску, над которым большими буквами было выведено: «Газеты и журналы». В газетном киоске она купила... газету.

Женщина была той, которую он ждал всю жизнь.

Поистине, это был день чудес. Он перестал удивляться, когда увидел, что птицы летают в воздухе. И теперь он уже ни на минуту не сомневался, что где-то далеко, за холмами, в пруду плещутся рыбы.

Женщина Мечты вошла в его подъезд. Вот уже на лестнице слышны звуки ее шагов. Он рывком бросился к двери. Какая-то неведомая сила вдруг подняла его над землей, понесла по воздуху... и он проснулся.

«Какой чудный сон!» — подумал человек, сладко потягиваясь и зевая.

Через широко распахнутое окно ему открывалась до тошноты знакомая картина. От ядовито-зеленой травы неприятно рябило в глазах. Уже который день нестерпимо палило солнце. Воздух стоял тяжелый и душный.

Вдруг до слуха донеслись невыносимый грохот и скрежет. Из-за угла показался трамвай. На остановке из него вышла женщина, и трамвай задребезжал дальше. Усталой походкой, с двумя тяжелыми сумками в руках, она медленно поплелась по тротуару. На мину-

ту остановившись возле намозолившего уже глаза киоска и купив какую-то газету, направилась к его подъезду.

В небе низко и уныло (к дождю) повисли ласточки. А где-то в пруду как раз сейчас похабно бил по воде хвостом жирный карп.

Женщина с распухшими сумками вошла в подъезд. В который раз он услышал ее тяжелые шаги. Нехотя пошел открывать дверь жене. Уже у двери вспомнил, что у нее есть ключи. «Сама откроет», — решил он и пошел досматривать свой чудный сон.

### ЗЕРКАЛО

Зеркало было в человеческий рост. Внутри него стояла какая-то неприятная личность.

— Зачем ты здесь? Твои оттопыренные уши, отвисшая губа, твой узкий лоб отбивают у меня аппетит, — и я показал на него пальцем. Он на меня. Мы обменялись взглядами, полными презрения друг к другу.

— Посмотри на свои мутные глаза и синие мешки под ними. Ты же ничего не видишь дальше бутылки, алкоголь.

Я усмехнулся, и он скривил губы в жалкой улыбке.

— Что за гнусная похотливая улыбка? Она выдаст тебя с головой, бабник, ловелас престарелый. У тебя лысина, а в тебе еще кипят, как в чайнике, низкие страсти. Тебе семью создавать, детей воспитывать. А ты?.. А... — и я махнул рукой. Он тоже: мол, чего ты ко мне пристал?

— Что значит пристал? Посмотри на себя со стороны. Этот мешок даже издали не похож на костюм. Твоя высохшая шея никогда не знала, что такое галстук. У тебя в ботинках разные шнурки. Ты восемна-

дцать лет сидишь на одном стуле. Тебя бы восемнадцать лет назад выгнали, но кроме тебя на этот стул все равно никто не сядет.

— Что ты смотришь на меня волком? А ведь ты так на всех смотришь, на всё, на весь мир. Все перед тобой виноваты. Ты оттолкнул от себя друзей. Тебе за весь год только раз позвонили: напомнить, чтобы ты вернул книгу в библиотеку. Ты двенадцать лет ничего не читал, с тех пор, как взял ее там. Или может, я неправ? Неправ? а?

— Но что с тобой говорить?! Я не могу смотреть в твою сторону. Я плюю на тебя!

Я хотел действительно плюнуть на него, но потом передумал. Не стоит связываться! Я отвернулся и пошел. Тип в зеркале плюнул мне вслед.

### *И ЛОШАДЬ ПОДУМАЛА...*

На речном пляже лежали две женщины: одна из них была тетя, другая — племянница. Тетя лежала на спине, племянница на животе, уткнувшись носом в большой острый камень. Тетя была красивая, но не молодая. Племянница была молодая, но некрасивая. Было жарко. Тетя перевернулась на живот и подумала: «Мне бы ее молодость». Племянница перевернулась на спину и подумала: «Мне бы ее красоту».

В полдень тетя с племянницей пошли прогуляться. По набережной вели слона: в город приехал зоопарк. Слона донимали мухи, и вообще у него было плохое настроение. Отгоняя назойливых мух, слон махнул хоботом и вдруг увидел племянницу.

«Какие большие и умные глаза, почти как у лошади, — подумал слон, — мне бы такие».

Мечтая о больших глазах, слон шел дальше мимо нового многоквартирного дома, устало передвигая ногами.

«Какие большие и белые ноги, — подумал новый многоквартирный дом, — мне бы такие колонны».

Дом громко вздохнул, и от сквозняка хлопнула входная дверь.

Через три троллейбусные остановки от нового многоквартирного дома находился плавательный бассейн добровольного спортивного общества «Авангард». Так вот, о бассейне.

Веня Максимов опустил ногу в бассейн и нарисовал на поверхности воды сердце большим пальцем.

— Эх, — сказал Веня и опустил на скамейку в воде вторую ногу. Потом немного подумал, вышел из воды и направился к женщине в пуховом платке, которая сидела у выхода и ела картошку в мундирах.

— Нельзя ли воду подогреть? — спросил Веня.

— Это вам не ванная, — ответила женщина, продолжая есть картошку.

Веня немного постоял, увидел, что она и не думает подогревать воду, опустил в бассейн и поплыл по дорожке.

— Эй, вы, перейдите на четвертую дорожку, — крикнула сверху молодая девушка-тренер в купальном костюме.

Сердце Вени дрогнуло. Не любовь к физкультуре и спорту толкнула его в холодную воду бассейна. Именно ради этой девушки он приходил сюда каждый вечер.

Девушку звали Оксана. Она тренировала группу малышей, но ее почему-то окружали взрослые. А когда Оксана взбиралась на «тумбу», всегда находилось несколько мускулистых красивых рук, которые были готовы поддержать ее. Хотя это было совсем ни к чему. Рук Вени там не было, во-первых, потому, что

они не были мускулистыми, и во-вторых, потому, что они не были красивыми.

Веня плохо умел плавать, но мог часами лежать на спине. Лежа на спине, он думал, что было бы хорошо, если бы он плавал так, как она, а она так, как он. Тогда Веня учил бы ее плавать, поддерживая своими мускулистыми красивыми руками.

— Эй, вы, можете переходить обратно на шестую дорожку, — крикнула Оксана Вене, и у него опять дрогнуло сердце.

— А на седьмую нельзя? — попытался пошутить Веня и переплыл на последнюю, шестую дорожку.

Веня посмотрел на Оксану, мечтая хоть один раз за все вечера встретиться с ней взглядом. Оксана встретила взглядом с мускулистым атлетом в красных японских плавках.

Вдруг Вене показалось, что с Оксаной что-то произошло. Она побледнела, прислонилась к «тумбе» и стала медленно сползать на землю. Веня очень испугался за нее, но про себя подумал, что вот он, тот единственный случай заговорить, познакомиться, а может, даже и спасти жизнь.

Веня перевернулся на живот и поплыл. Но плавать он умел плохо. Хорошо Веня умел лежать на спине. Потому, когда он добрался до конца дорожки, вокруг Оксаны уже собралась большая толпа.

— Пустите, я врач, — сказал Веня.

— Не мешай, — красивая мускулистая рука вежливо отодвинула Веню в глубь толпы.

«Лечил» Оксану парень в красных японских плавках, который оказался ветеринарным фельдшером. Кто-то побежал звонить в «Скорую помощь», а Веня пошел одеваться, решив больше сюда не приходить.

После прогулки тетя с племянницей вернулись на пляж. Тетя достала огурец, а племянница помидор. Тетя разрезола огурец и стала натирать им щёки и

лоб. Племянница разрежала помидор, посолила и съела с хлебом и маслом.

— Парит, — сказала тетя. — Хочешь пойти за мороженым?

— Ничего я не хочу, оставь меня.

— Ну ладно, я пойду сама. Тебе взять?

— Не надо мне ничего: оставь меня в покое.

— Ну и дура.

Врач Вениамин Сергеевич Максимов шагал по коридорам терапевтического отделения. Он делал обход. За Вениамином Сергеевичем шли сестра и четыре студента-практиканта мединститута.

Вениамин Сергеевич подолгу сидел возле каждой больной, выслушивал жалобы и назначал лечение.

Оксана лежала на последней койке у окна и ждала. Наконец Вениамин Сергеевич подошел к ее койке, обернулся к сестре и спросил:

— А тут у нас что?

Оксана подумала, что она совсем даже не «тут», а Оксана, и сейчас она врачу это скажет. Когда он на нее посмотрит.

— Тут ничего особого. Взяли по ошибке, простой обморок, — сказала сестра.

— Тогда переведите ее в четвертую палату, а завтра выпишем, — сказал Вениамин Сергеевич и ушел. На Оксану он так и не посмотрел.

Оксане стало тоскливо. В окно бил мокрый снег, на ней была больничная пижама, и врач не обратил на нее никакого внимания.

— Этот врач очень мил, — сказала соседка, — вы заметили, как он со мной разговаривал?

— А почему? — спросила Оксана.

— У меня очень интересный случай. Представляете, когда сижу — болит, когда ложусь — не болит. И так всегда. Очень интересный случай, — с гордостью заключила женщина.

— А на меня он даже не посмотрел, — сказала Оксана.

— Это потому, что вы для него неинтересная.

Оксана посмотрела на соседку. Та была пожилая и некрасивая. Оксана отвернулась к окну. Ей вдруг захотелось, чтобы и у нее был интересный случай: чтобы когда сидела — болело, а когда лежала — не болело, и чтоб этот врач с уверенной походкой и стерильно-чистыми руками долго сидел возле ее койки.

Через несколько дней Веня все же опять пришёл в бассейн. Он лег на четвертой дорожке и стал смотреть на тренера Оксану, которая, как всегда, была в окружении красивых атлетов.

От долгого лежания на спине нос, который был на морозе, стал замерзать, и Веня несколько раз окунул его в тёплую воду.

Днем жара на пляже стала совсем невыносимой, и тетя с племянницей пошли домой. Дома тетя первым делом открыла окно.

Внизу ехала телега с лошадьёю. Лошадь подняла глаза на тетю, остановилась и подумала, как хорошо просто распахнуть окно и чтоб в лицо и солнце... и дождь... и снег... и ветер...

Возчик больно ударил лошадь хлыстом, телега дернулась и покатила дальше.

«В конце концов, не все ли равно, — подумала лошадь, — главное, чтоб человек был хороший».

### *ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ*

Трамвай, подпрыгивая, подошел к повороту, на минуту задумался и резко свернул на боковую улицу. Пассажиров справа бросило на пассажиров слева. Трамвай притормозил, громко фыркнул, свистнул и медленно покатился дальше.

В этом небольшом украинском городке сняли все трамвайные линии. Осталась только эта, самая короткая, кольцевая. Она проходила по горбатым улочкам в пределах одного квартала от Старого Рынка к Зеленым Воротам. Эту линию тоже должны были снимать. По линии ходил один трамвай канареечного цвета.

На остановке в трамвай вошли двое парней. Один из них прошел вперед, другой остался сзади. Тот, который прошел вперед, повернулся лицом к пассажирам и поднял правую руку вверх.

— Граждане пассажиры, — громко сказал он, — прошу минуточку внимания.

— Опять талоны проверяют, — сказал старичок, который сидел посередине салона у окна.

— Не доверяют людям, — пробурчал здоровенный дядя со скамейки для инвалидов и детей и стал почему-то нервно шарить по карманам.

Парень открыл свой портфель-дипломат и достал оттуда большой черный пистолет.

— Прошу не двигаться с места, — резко сказал парень и направил дуло в центр салона.

Его друг, который стоял сзади, вынул из кармана гранату и показал ее пассажирам.

— Одно движение и...

Наступила мертвая тишина.

— Граждане, — сказал первый парень, — без паники. Трамвай поедет в Париж. Все пассажиры являются заложниками.

Старичок засмеялся, но как-то нервно, неуверенно.

— А ну, вылазь быстро! — крикнул со своего места водитель.

— Сейчас, — сказал парень и взвел курок.

— Молодой человек, — вмешалась женщина средних лет в дорогой шубе. — Вы, наверное, выпили. Вам надо было сесть на самолет. А это трамвай. Он ходит по рельсам, — и женщина провела двумя пальцами по

ладони для наглядности. — Вам лучше сейчас выйти и пересесть на шестой автобус. Он довезет вас до самого аэропорта.

— Самолеты угоняют, а не трамваи, — снова засмеялся старичок, уже более уверенно.

— Ну довольно! — крикнул парень с гранатой. — Витя, стреляй водителя.

Водитель, наверное, испугался, потому что спросил:

— Куда ехать?

— Доедешь до заправочной сифонов, а там повернешь направо.

— Рельсы же прямо ведут, — попытался возразить водитель и повернулся за поддержкой в сторону второго парня.

— А ты без рельсов, — резко ответил бандит с гранатой, подкинул гранату вверх и под облегченный вздох пассажиров поймал ее.

— Ну, поехали, — пожал плечами водитель, и трамвай медленно отошел от остановки. — До заправочной сифонов доедем, это точно. А дальше...

Когда трамвай подошел к следующей остановке, бандит с гранатой предупредил:

— Не останавливаться!

— Молодой человек, пустите меня. У меня семья, двое детей, — захныкала женщина в дорогой шубе.

— У всех семья, — сказал сердитый мужчина, который сидел рядом с женщиной. — Будьте мужественной.

— Я не хочу быть мужественной. Я женщина, — сказала женщина и захныкала еще громче.

— Я тоже женщина, — раздался молодой женский голос. — И я жду ребенка.

— Разговорчики! — крикнул тип с гранатой, и сразу стало тихо.

Некоторое время ехали молча. Трамвай грохотал мимо старых домов с темными подворотнями, киос-

ков «Союзпечати» и пыльных витрин магазинов. По улицам шли люди, многие из них поворачивали головы и невидящими глазами скользили по стеклам трамвая. И никто из них даже не подозревал, какие драматические события разворачивались в салоне старого трамвая веселого канареечного цвета.

Молчание стало тягостным. Первым прервал его старик. Он вздохнул и обреченно сказал:

— Всё к лучшему. А почему бы и не в Париж?

— Как вы можете?! Вы... пожилой советский человек, — возмутился сердитый мужчина.

— Я ведь всю жизнь мечтал увидеть Париж, — вздохнул старик.

— А что, я хочу в Париж, — сказала молодая женщина, которая еще минуту назад ждала ребенка.

— Тебе хорошо, — сказала женщина в мехах. — Тебе можно, ты молодая. А мне уже поздно в Париж.

— Ну что вы, — замахала руками молодая. — Вы еще очень даже во французском возрасте.

Дядя со скамейки для инвалидов и детей посмотрел на женщину в мехах и причмокнул губами. Ее французский возраст его, видимо, вполне устраивал.

Пассажиры немного оживились, и даже бандит в хвосте трамвая уже не так яростно сжимал свою гранату.

Вдруг какая-то женщина, которую раньше никто не замечал, сорвалась со своего места у окна и бросилась вперед с криком:

— Выпустите меня, немедленно выпустите меня!

Бандит с пистолетом преградил ей дорогу, а женщина в истерике стала молотить его грудь своими маленькими кулачками.

— Вот видите, — сказал сердитый мужчина старику, — так поступают настоящие патриоты. А вам должно быть стыдно.

Старик фыркнул и отвернулся к окну.

Женщина скоро поняла, что так она ничего не добьется, и сразу успокоилась.

— Ну пожалуйста, — улыбнулась она бандиту, — отпустите меня на десять минут. Я без дочки никуда не поеду. Она тут рядом, в музыкальной школе. Я быстро. Только туда и обратно.

— Отпусти женщину, не будь зверем, — сказал водитель, не поворачивая голову от руля.

— Может, и правда подождем? Нечего девочке сиротой оставаться при живой матери.

— Ладно, — согласился бандит, — даю пять минут. — И засекаю время.

Трамвай зазвенел, остановился и открыл дверь. Женщина выскочила на улицу и побежала за угол.

— Может, и я выйду? — попросил дядя со скамейки для инвалидов и детей. — Я только за женой сбегаяю.

— В Париж со своей женой? — съязвил сердитый мужчина, и все засмеялись. Улыбнулся даже тип с гранатой. А дядя замолчал и покраснел.

— А ты чего зубы скалишь, патриот? Тоже хочешь идти? Не держим, — и парень показал гранатой на дверцу.

— Я, пожалуй, останусь, — неуверенно сказал сердитый мужчина.

— Вы же советский человек, — это уже съязвил старик у окна.

— Да, но такой случай ведь не каждый день представляется, — стал объяснять мужчина. Но его никто не слушал.

Вернулась женщина с девочкой лет двенадцати.

— Я не опоздала? — женщина запыхалась.

— Поехали, — коротко сказал парень с пистолетом.

— Куда торопишься, хозяин? Принимай груз. — Два здоровенных грузчика втащили в салон трамвая старое немецкое пианино.

— Куда едете? — спросил один из грузчиков просто из вежливости.

— В Париж, — сказала женщина, проверяя, все ли клавиши на месте.

— В Париж? — оба грузчика почесали затылки. — Ну так мы тебе его там и сгрузим, — сказал второй, и они уселись на свободную скамейку.

Девочка села за пианино и заиграла «Парижское танго».

— С музыкой едем, — сказал водитель. Трамвай дернулся и поехал дальше.

— Стой! — закричал вдруг бандит с гранатой, прыгнул в середину салона, выдернул кольцо и бросил гранату на пол.

Люди втянули головы в плечи, закрыли глаза и вцепились в спинки скамеек. А «бандит» рассмеялся:

— Граната ведь не настоящая!

— Пистолет тоже, — подключился второй парень и несколько раз нажал на курок. — Мы просто пошутили.

— Вы что, серьезно думаете уехать на трамвае в Париж? Какие-то ненормальные!

Пассажиры помрачнели. А водитель встал со своего места и вышел в салон.

— А ну, катитесь отсюда, хулиганы. Вы кому голову морочите?

— Так по рельсам же... — начал было один из парней, но окончить фразу не успел. Два грузчика привычно подняли парней в воздух и с традиционным «эх-ма!» выкинули на рельсы.

А трамвай шел дальше по кольцевому маршруту: от Зеленых Ворот к Старому Рынку. Последний старенький трамвай веселого канареечного цвета, который должны были скоро снимать. Он дошел до заправочной сифонов, на секунду остановился, как будто подумал о чем-то, вздохнул, присвистнул, сошел со сво-

их привычных рельсов, свернул в переулок и медленно поехал в Париж.

\* \* \*

*Валентину Катаеву*

...не роман, не повесть, не рассказ, даже не соло для фагота с оркестром.

...что-то непонятное, туманное, длинное, полуправдивое, с трудом извлеченное из глухих закоулков и тупиков моей памяти.

Как-то дома у нахлебника мы пили его вино, ели его хлеб с брауншвейгской колбасой, и все наперебой восхищались стихами, которые только что услышали.

Стихи были мои.

Кроме меня тут собрался весь свет литературы: пятикантроп, шпингалет, косой и даже фрукт. Позже пришел один молодой литератор (назовем его с маленькой буквы подонок), выпил лишнего, осмелел и начал говорить что-то декадентское и не очень уважительное о стихах. Конечно, только потому, что не знал, что они мои.

Тогда к нему подошел пятикантроп и со свойственными ему силой таланта и размахом (а он и тогда считался великим поэтом) ударил подонка в ухо.

«Уши зеркало души», — любил говорить фрукт. Я и сейчас часто подхожу к зеркалу и смотрю на свои уши. За все эти годы только они не изменились и, красивые хищные волчьи, напоминают мне о бессонных ночах моей юности.

Подонка мои друзья спустили с лестницы.

Он грохотал, как ведро.

Потом они все бросились мне на шею, стали обнимать, и я почувствовал, как в шее что-то хрустнуло.

Видимо, сломалась какая-то кость.

Сейчас я понимаю, что связывало их всех, таких хороших и разных: фрукта, шпингалета, пятикантропа и других.

Их связывала большая любовь ко мне.

Ай да Валя, ай да сукин сын!

Однажды в полночь я услышал стук в дверь. На пороге стоял косой, перед которым блекли тогда почти все поэтические звезды. Он умолял меня послушать его стихи.

У меня как раз было назначено любовное свидание с одной таракуцкой, и поэтому я предложил отложить нашу встречу. Но знаменитый косой бросился мне в ноги, и я уже не мог ему отказать.

Бедная таракуцка.

Впрочем, мне стала изменять память. Может быть, это я прибежал к великому косому в полночь читать свои стихи, а он не хотел меня выслушать, и мне пришлось читать их какой-то пьяной таракуцке. Ей очень понравилось.

Она была пьяна, как «пьяный Дельвиг на пиру».

Для меня пространство и время уже не существуют.

...неужели это был я?

В международном спальном вагоне типа люкс с позолоченными умывальниками я встретил человека. Я его сразу узнал по каштановым волосам.

— Вы автор «Гамлета»? — спросил я его.

— А вы автор алмазного вашего венца? — узнал он меня тоже.

Мы вышли в тамбур, всю ночь читали друг другу стихи, плакали и смеялись.

На прощанье он подарил мне глобус.

То, что вы читаете, — это мовизм. Мовизм придумал я. Это очень просто, это могут все: пиши, что в голову взбредет. Но у других не напечатают. Говорят, что-то подобное было не то у Гомера, не то у Виля

Липатова. Но разве можно сравнить то, что пишу я, с тем, что писал Гомер?

Утром мне предстояла встреча с моими друзьями — студентами оксфордского университета. Жена открыла шкаф, где в пыли покоились сотни любимых мною кепок.

— Какую дать тебе сегодня? — спросила она. Я скромно ответил:

— Алмазный мой венец.

В алмазном венце моей памяти мое «мовэ» сияет самым ярким алмазом.

А может, это просто серый булыжник?

Борис БРИКЕР и Анатолий ВИШЕВСКИЙ — родились оба в 1954 году. Оба закончили в 1976 году Черновицкий университет. По образованию филологи. До эмиграции из СССР (в начале 1980 года) жили в Черновцах. Приблизительно с 1974 года с короткими рассказами выступали на страницах юмора «Лит. газеты», журналов «Юность», «Аврора», «Театр», в коллективных сборниках и болгарских периодических изданиях. Сейчас Борис Брикер продолжает свое образование в аспирантуре кафедры славистики университета Альберты (Эдмонтон, Канада), а А. Вишевский — на такой же кафедре в Канзасском университете (Лоренс, США).

Это — первая публикация на Западе.

## ПЕЙЗАЖ С АНГЕЛОМ

От времени, времён и полувремени  
Остался час на долгую прогулку  
По узкому сквозному переулку  
Между домов, пригнувшихся под бременем

Ушедших лет, состаривших хозяек,  
Присыпав пылью их густые косы,  
Сменявших зимы, вёсны, ссоры чаек,  
Пожары, пьянки, снежные заносы.

Случайно сохранившийся пустырь,  
Ещё щедрее наделённый пылью,  
Как шубой с плеч соскучившихся лет —  
Давно забыл сиянье эполет,  
Стрельбу, кокарды, патрули, посты...  
А ты принёс сюда сиянье крыльев.

Как гонит пыль... Прикрой глаза рукой,  
Сними с крыла травинку пустотелую.  
Здесь до сих пор горят «за упокой»  
Все свечи на ладонях тополей,  
И к пальцам льнёт зелёный вязкий клей...  
Ах, юнкера, надежда наша белая,  
Недолгий цвет на наготе полей!

Так значит, час. И то, тебя знобит.  
Уже недолго, день клонится к полдню.  
Ты здесь родился, или был убит,  
Прости меня, за давностью не помню.

В тот самый год, в те первые, далёкие  
Бои — беспечно, чуть не веселясь —

Вы все уйти успели, наши лёгкие,  
И только нам предъявят векселя.

Припомнить бы, как начиналось... Словно  
Вода... Река... Конечно, берег пуст...  
И время? — Третий год правленья Кира.  
И там слетело клятвой с чьих-то уст  
И тяжело упало, как секира,  
На нас одно неслыханное слово,

Полвремени нам бросило в забаву,  
А что-то между тем стряслось с душой.  
Мы переняли — по живому телу,  
По головокружительному праву!  
Ликуй, мудрец полуденных пределов:  
Предание, как никогда, свежо.

Мы переняли, но напев стал хлёсток —  
По нашим зимам и такой хорош! —  
В метель колдунья шла на перекрёсток,  
Полой шубейки обтирая нож.

Дойдя, швыряла в клуб летящей вьюги —  
Ты знаешь вьюги в наших-то краях!  
Услышав стон, тянула к снегу руки,  
И сталь была в крови по рукоять.

.....

Четыре ветра встретились над водами,  
Четыре зверя встали из воды  
И получили сердце человечье.  
Мы опоздали: там решилась вечность,  
К концу полувремён легли следы,  
Да с неба, за ненастными погодками,

Не разглядеть, как по лесам вдали —  
Обманки, змеи, еретички, Лесбии —

Жгут огоньки и чертят круг хранительный,  
След вырезают припасённым лезвием  
И пришивают шёлковыми нитями  
Навечно души на подол земли.

А мы б и так вернулись в эти странные  
Просторы волчьи, к искрам на золе.  
Послов на небо не пошлешь, сестра моя,  
Спросить, что приключилось на земле.

А и дошли бы — нашему послу ни царь,  
Ни Бог не скажет, кто из нас правей.  
Но что тебе, что мне с того, ослушница  
Славянских расточительных кровей!

Ведь мы ещё не разочлись погонями.  
В дурной крови, и злобе, и болях  
Придём, как были, пешие и конные,  
У всех у нас один разбитый шлях...  
Но этот мальчик с первыми погонами —  
Зачем он здесь, на обмерших полях?

Иль уж сошлось — смиренными молитвами,  
Да свежей кровью ведьмы-оборотенки,  
Да что, сестра, про чёрный день хранила?  
Да белыми, без примеси, палитрами,  
Да поминальным плачем матери-родины,  
Да несусветным бредом Даниила

Все вместе мы завязаны, запроданы,  
Твои, ворожка, хвастайся уловом.  
А не иначе, зелье приворотное  
Ты заклинала тем бесовским словом!

Давно ли им и ангелы грешили,  
А маги приручали бесов юрких —

Что отречься, все ему служили,  
И даже ты, и даже ты, мой юнкер.

.....  
Однако, на пространствах пустыря —  
Ах, мы забылись, ангел, мы забылись,  
И к лучшему: болотные русалки  
Нам предлагают только память — были  
И посильнее заговоры прежде,  
Ворожки их обходят — и не зря.

И если вспомнить, их лишь раз писала  
В пиршественной палате Валтасара  
Рука — не мужа ли в льняной одежде? —  
И перевёл их Даниил. А впрочем,  
Тогда он звался именем царя,  
Которому бесславию пророчил

И царство, отошедшее чужим.  
Не будем повторяться, Саломея.  
Что нам с тобой делить в моей глуши,  
Где все мы родились под знаком Змея,

Где всем однажды снился Назарет  
И по власам стекающее мирро.  
Как жить, сестра, прикажешь в этом мире,  
Где больше мы не сможем умереть?

Что посулишь — ведь цел ещё сосуд,  
Тот, с узким горлышком, для благовоний,  
И помню я, как купол пел и камни  
В малиновом плывущем перезвоне...  
Но ты права: мы не пойдем на суд  
К Христу со стен капеллы в Ватикане.

Нам дом забыть и жить в земле любой,  
Вместо берёз глядеть на кипарисы,

И никогда не слушать литургию,  
И положиться на твои капризы  
Всё легче, чем увидеть над собой  
Всю в розовом, изящную Марию.

Но можно ль доверяться мастерам,  
А их созданьям — упаси нас, Боже,  
Уж потому хотя б, что их игра  
С Твоею так пленительно несхожа.

А нам, донесшим до слепых снегов  
Жуть и восторг: ах, как она плясала! —  
Чему нам верить? Менее всего  
Посланьям обратившегося Савла.

Но им, её собратьям, играцам,  
На наши страхи отвечавшим смехом,  
И не выдавшим Твоего лица,  
Лишь знавшим, что скитался голос Твой  
Улыбчивым, неуловимым эхом  
В лесах, пожалуй, где-то под Москвой —

Нет, кажется, в провинции, под Римом,  
Флоренцией, где до сих пор в окне  
Тот, кто писал Марию на стене  
Забытой Богом, проклятой капеллы,  
Достойной быть пристанищем сибиллы,  
Где обретали плоть неповторимо

И так непоправимо обрели  
Шесть дней творенья, книга Бытия  
И люд, пришедший от краёв земли  
В какие-то престранные края...

И подивись, как точно рассчитал —  
Ах, как он лгал, он чувствовал, безбожник,

Что там, в Литве, непризнанный художник  
Всю жизнь потом о Риме промечтал, —

Им верим. Да случилось и со мной  
Два раза или три — во сне, в болезни  
И помнится немного: спешись,  
Сухое небо, душно, ни души  
На всём пути... пруды, ступени лестниц  
И всё шаги как будто за спиной,

Не более, не боле, ангел мой.  
И то мне странно: что мне Галилея,  
Пески, Ершалаимские пруды?  
А в северной Венеции сады  
И ночи, ночи крыл твоих белее,  
Как снег зимой, как лёгкий снег зимой.

И ты ведь помнишь, я была не здесь:  
Почти как ты, пожалуй, чуть подальше  
От этих мест, от этих милых мест.  
Мой ангел, я их помнила, и даже

Что небо там — подобие слюды,  
Что сон Невы насторожён и чуток,  
Ещё двух сфинксов — царскую причуду  
И между них ступени до воды.

Ещё дожди, которым не отмыть  
Египетской, пропахшей солнцем пыли,  
Ещё друзей, с которыми любили  
Сюда прийти до наступленья тьмы.  
Здесь, на ступенях, времена почили —  
Полувремен коснулись только мы.

Здесь место нам, и разве мы не скрыли,  
Как близко нам случилось быть к концу,  
Как падал снег до всех краёв земли,

И что в руках по небу пронесли  
Две женщины — и ветер бил в их крылья,  
И волосы хлестали по лицу...

Мы здесь почти не жили. Не спеши,  
И сам пришёл сюда ты не за тем ли?  
Вот лист летит, и вот другой лежит,  
Листья шуршат, в них тонет свет и земли.

Пик листопада, день всегда прошедший,  
Пропущенный, поскольку — выше сил,  
Как тот, второй из датских сумасшедших,  
Нас безрассудно прошлым оделил,

Мы не уйдём. Если уйдём — вернемся,  
Мы здесь почти не жили. У воды,  
Как ты, сложив ненужные крыла,  
Увидим — по реке плывут листья  
И у ступеней, где вода светла,  
Свои увидим лица. Мы вернёмся.

И снова заторопимся — скорей —  
Опять уйти, или ещё стареть  
С теми, кто плачет — или с тем, кто платит  
За белый снег, за белый шёлк знамён,  
Не всё ль равно — и до конца времён  
Всегда нам полувремени не хватит.

Теперь прощай. Октябрьские дожди —  
Не лучшие свидетели беседы,  
И этот вот надолго зарядил,  
Дай Бог, чтоб завтра кончился к рассвету,

А в вышине — всё, что нас так влекло  
До слова, до начала мира — воды.

И ангелы ложатся на крыло  
Там, в небе, уходя от непогоды.

18/XI—1979

БЛИЗНЕЦОВА Ина — родилась в 1958 году в г. Оренбурге, училась в ЛГУ, математик. Покинула Россию в 1978 году, в настоящее время живет в Соединенных Штатах.

Первая публикация стихов.

Единственная ежедневная русская газета  
за рубежом

## «НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

выходит в Нью-Йорке, США

Главный редактор **Андрей Седых**

71-й год издания

«Новое русское слово» регулярно печатает документы самиздата, протесты из СССР, произведения лучших эмигрантских писателей, публицистику и прочее.

Подписная цена 70 долларов в год,  
35 дол. — 6 месяцев

Воскресное издание — только 35 дол. в год

Годовая подписка воздушной почтой  
(пачками по 6 номеров) — 150 долларов в год

Подписку с платой направлять по адресу:

243 West 56 St., New York, N. Y., 10019 USA.  
NOVOE RUSSKOYE SLOVO

## ЛИК — ЛИЦО — ЛИЧИНА

Новые главы из одноименной книги

*МОСХ (Московское отделение Союза художников)*

Партбюро МОСХа. Почти все они калеки. Ансамбль хромых, косых, глухих, конечно, косноязычных. Эти дефекты — не трагический результат войны. Они таковы с детства. Еще в утробе их обидела неосторожная мать или не подчинившаяся Лысенко генетика. Кому ушко прижала, кому ножку защемила, третьего талантика да и умишка лишила. А этот, хоть и выглядит почти нормальным, но по выгибу хребта, по чрезмерной важности видно, что где-то, не то спереди, не то сзади в штанах хранит он навсегда уязвившую его тайну. Почти невозможно представить себе где-либо увидеть такое количество некрасивых, убогих, плохо одетых людей, собравшихся вместе. Это люди разных национальностей: русские, украинцы, евреи, татары, армяне. Но национальные черты стерты. И не в том смысле, когда культура сглаживает наиболее вульгарные, низкие национальные проявления. Нет. Природная убогость, серость, антиперсональность — сделала их одинаковыми и собрала в этой организации. В центральный ресторан, где бывают туристы, швейцар их всех вместе не пустит, потому что они неопрятны и выглядят, будто ханурики от пивной или спекулянты-старички с толкучки. Но они власть; от них зависит почти всё. Как же так получилось, что в среде художников, людей, как правило, одаренных и в массе физически полноценных и даже красивых, эти провинциальные уродцы, каждый из которых не только не умен, но даже не хитер, эти

---

Продолжение публикации, начатой в № 21.

люди, которых в России называли рванью, эти самые неспособные и самые неудачливые, есть наиболее зловещая власть? Неужели величайшие умы истории, благородные и прекрасные люди шли в тюрьмы и на виселицы, революционно взбудораженные массы самоотверженно гибли только для того, чтобы эти издержки статистики от полноценно рожденных стали властью? Как так получилось, что из домов для калек, с папертей, из пивных — их, лишившихся единственного достоинства таких персонажей, смирения, жизнь привела к власти?

В таких областях, как философия, идеология, наука, производство, при относительно высокой организованности и полной включенности людей в структуру государства, продвижение по лестнице карьеры без формального присутствия в партийной организации невозможно. Поэтому в партию вступают все, претендующие на активную научно-административную роль. По причине же большого количества относительных «свобод» или, вернее, случайностей, ради заработка художнику вступать в партию не совсем обязательно. Если человек самонадеян, а нормальные художники в юности почти все гении, то связывать себя пока с партбюро не хочется. Во всяком случае, до поры, до времени. Наиболее циничные, считающие себя сильными, думают: никогда не поздно. Для них это действительно так. Юные же неудачники рано поняли возможность компенсировать всё, все свои недостатки: отсутствие таланта, блеска, личного обаяния, отсутствие любви женщин, уважения товарищей или просто, что изо рта плохо пахнет, — приобщением к тайне власти. Комично и страшно смотреть на эту шеренгу ничтожеств, с важным и таинственным видом заговорщиков ковыляющих на закрытое заседание, в партийную комнату, в комнату Партии, где они минимум четыре часа будут сплетничать, сводить счета и выработать способы защиты от конкурен-

ции более талантливых, ярких и хитрых коллег или выслушивать тайные письма и циркуляры вышестоящих инстанций, которые через двадцать минут после самого наизакрытейшего партсобраниа становятся общеизвестными. Потому что приобщенные к тайне власти — тщеславны и болтливы. В большинстве случаев они боятся своих жен, как огня, и поэтому компенсируют свои неудачи на семейном фронте, посвящая их для пушей важности и поднятия собственного престижа в партийные тайны.

Наиболее квалифицированные карьеристы, более пробивные из них, уже заседают в такой же партийной организации — Академии художеств. Там тоже не очень высокие стандарты, тоже не очень высокие типажы, но все же там их отмыли и приодели. Каждый в отдельности из них достоин жалости, но вместе они страшная и неодолимая сила.

В творческих союзах, как нигде, карикатурно проявляется отбор на худшее, даже из самих членов партии. Что это — пренебрежение властей? Думаю, что нет. Сознательно или подсознательно власти именно в искусстве видят опасность, таинственность, неуправляемость. Сложившийся веками тип художника, при всей его социальной униженности, всегда враждебен и опасен любой власти. Но власти, стремящейся к тотальному управлению, художник смертельно опасен именно тем, что он, по сути своей, неуправляем. Поэтому партбюро, за самым редким исключением, не подпускает к себе даже сколько-то одаренных художников-членов партии. Поэтому оно — сточная яма для неудачников в искусстве. Но именно из этой ямы фильтруются они в руководители, в законодатели; идут дальше и выше. Именно из этой ямы поползут они, чтобы весь мир организовать в огромный Союз художников; чтобы иметь возможность длинноволосых мальчиков сделать лысыми, шумных — тихими, темпераментных — сонными, поющих — заиками, строй-

ных — горбатыми, молодых — старыми; прикажут умным прикинуться или стать глупыми, чтобы был порядок, чтобы всё, чего не могут придурки, уродцы или старички, считалось плохим, чтобы никто и ничто не оскорбило их, хитрожопых. Уже ясно, что после завоевания Космоса они проползут и туда, чтобы выяснить: не находится ли там что-либо их оскорбляющее. А если найдут, то заорганизуют, укоротят, превратят в контру. Они не могут ждать милости от природы. Она уже их обделила. Поэтому переделать ее — их задача. Ибо они вши, претендующие на роль Бога, и хотят перекрыть мир и человека по своему образу и подобию.

### ПОРТРЕТИКИ

Корочки их парткнижиц одинаковы, но если заглянуть внутрь — не всем это можно, мне удавалось, — мы увидим разные номера и даже имена, что свидетельствует о нелишенности их пока до конца некоторых признаков личного начала. Это-то и не дает нам права отмахнуться от рассмотрения, как это ни противно, их портретиков. А поскольку они абсолютно одинаковы и рознятся только дефектами, то скажем так: портретиков-дефектиков.

Я закрываю глаза и вспоминаю их. Вот они чинно и важно ползут в полуоткрытую дверь парткомнаты. Я сижу у дверей и терпеливо жду своей участи, я осознаю смертельное ничтожество и скуку происходящего. Но сквозь полудремотную тяготию ожидания из-за дверей комнаты партбюро слышится

стук стук костыли  
коси нога коси нога  
клак клак вставной клык  
хи-хи-хи-хи  
и что-то булькает булькает  
вжиг вжиг

скрипит скрипит  
шорохи  
пауза бр...  
неприличный звук  
и опять булькает булькает

Сама, как заколдованная, открывается дверь, и внезапно все стихает. Ниже дверной ручки высовывается человеческий носик и внимательно обнюхивает меня. Тихо-тихо, как заколдованная, дверь сама закрывается. И тут же снова что-то булькает, булькает.

О Боже! Что это такое? Кто там? Что там? И, чтобы стряхнуть наваждение, я вспоминаю их, и передо мной возникают портретики-крохи моих судей, вершителей моей судьбы, моих властителей. Это они могут благосклонно сказать: «Ну, что же, живешь — живи, мы не возражаем!» Это самое лучшее, что до конца дней со мной под их водительством может быть. А худшее, бр-р-р, не хочу даже лучшего. Кто же все-таки они?

\* \* \*

Вот этот — театрально опирающийся на палку. Очень важная персона. Героический апокриф его жизни повествует, что он потерял пальцы правой ноги в Ленинградскую блокаду. Его маме нечем было согреть ему ножки, и нежные детские пальчики отмерзли... Отмерзли они очень кстати. И культя попала в хорошие руки.

Потрясая своей героической культей, он выбил из Союза художников такое количество разнообразных благ, что никакому инвалиду-герою войны и не снилось. Но те, кто его знает с детства, утверждают, что он родился таким. Я тоже склоняюсь к этому. Сын хирурга да еще сам инвалид войны, насмотревшись в армейских госпиталях различных ампутаций, я не очень-

то верю в его, без единого шрама, гладкую, как задница, культу. Я не верю, что она свидетельство его младенческого патриотизма в героическом Ленинграде. Но именно влекомый ею, он прямо из люльки попал в вожди. Сперва в пионерские, потом в комсомольские, потом в партийные. Культура вела его все дальше и дальше, все выше и выше. Он только попевал за ней. И, видимо, эта трижды благословенная культура скоро приведет его туда, куда самому быстроногому спринтеру карьеры никогда не добежать...

\* \* \*

А вот и другой. У него один глаз. Но, в отличие от глаза циклопа, он расположен не над носом, а как у всех остальных простых смертных. Но это удивительный глаз. Клеветники, не знакомые лично с хозяином этого глаза и исходя только из изучения его скульптуры, утверждают, что он якобы вообще слеп. Да не только слеп, но и осязания лишен. Мы-то, столкнувшиеся с ним на узкой дорожке, знаем, что его единственный глаз уникален. Он видит сразу во всех измерениях, как глаз стрекозы. Кроме того, его глаз проникает сквозь стены, видит в темноте и как раз то, что от него стараются скрыть. Но именно этот талант делает его весьма приятным. Его зрячий глаз светится неподдельным весельем. Это веселье я встречал и у двуглазых такой породы. Нет-нет, да и столкнешься, то ли в гостях, то ли на улице или на каком-нибудь приеме, с бесконечно веселым взором, обращенным на тебя. Взор, излучающий радость узнавания, снисходительность, — взгляд любви, как бы говорящий: я о тебе всё, всё знаю... Но этот взгляд одновременно содержит тонкую иронию, так как ты об обладателе ласкового взгляда ничего не знаешь. А он-то о тебе — всё. О незабвенный взор стукача!..

А этот — просто глухой, никаких талантов. Глух — и всё тут. Ничего не слышит. И даже не прикидывается, что слышит. Бросил, надоело, устал. Устал. Трудно. И карьеру, по-моему, делать не хочет. Тоже устал. Всё время все говорят, говорят, особенно на партийных собраниях. А он ничего не слышит. И страшно из-за этого расстроен. Вдруг о нем? И вид у него от этого, как у мужичка из робких, который сам о себе в частушке поет:

Меня на танцы приглашали,  
А я чтой-то не пошел,  
Пиджачишко на мне рваный,  
Да и членик небольшой.

Но наш-то, хоть и помимо своей воли, ходит на партийные танцы и все танцует и танцует, хоть и не слышит музыки. И уже какой год... В чем же дело? Почему его, бедненького, всё переизбирают и переизбирают в партбюро? Тайна? Да нет! Когда кого-нибудь прорабатывают или пытаются, он время от времени прикладывает руку к уху и робко просит: «Ничего не слышу... Погромче, пожалуйста... Что?.. Чего?.. Ась?.. Не слышу...» Сами понимаете, человек волнуется. И так трудно. С одной стороны, как рентген, светится глаз, с другой стороны героическая культа жмет; ленинский зародыш угрожающе пишет; спаситель интеллигенций задумчиво вздыхает; трипперный Жорик твоей семьей озабочен; у дрожащего еврея появляется выражение фокстерьера — вот-вот укусит. А тут еще ори, как зарезанный. Ну вот, видимо, за это нашему глухонькому время от времени партбюро заказы подкидывает. Впрочем, какие там заказы? Крошечки, так, с барского стола, чтобы с голоду не помер, бедненький.

Не знаю, понимает ли он, за что его благодетельствуют. Думаю, что нет. Ведь он же совершенно глухой...

\* \* \*

Этот в другом роде. Ему не обязательно быть уродцем, чтобы чувствовать себя таковым. Он изуродован самим фактом своего рождения. Грустный нос, толстые хрящеватые ушки, животик, не глуп, ну, конечно, не так, как Лион Фейхтвангер (автор и «Москва, 1937» и «Еврея Зюсса»), и не так, как Александр Чаковский (соавтор «Малой земли» и «Возрождения»), но все же респектабельный, отец семейства. Сын, конечно, вундеркинд, а дочь умница и красавица, вроде бы все в порядке. Только, если внимательно присмотреться, то видно, что дрожит.

Дрожит не переставая. Дрожит, видимо, в ожидании неминуемого погрома. Напуганный раз и навсегда, решил спрятаться подальше. Вот и окопался в партбюро. До этого, как говорят, двенадцать лет окапывался в КГБ, но и там спокойствия не обрел. И даже наоборот. Видимо, узнал конечную, страшную тайну. И дрожит, дрожит, дрожит. Просто вибратор какой-то, перпетуум-мобиле. Нашелся бы ученый, чтобы это дрожание перевести в нужную стране энергию. Впрочем, зачем? Именно это дрожание делает его незамеченным. Хоть он и дрожит, суетится и заискивает перед всеми, даже перед беспартийными, даже передо мной, но если начальство скажет «Ату!» — вцепится мертвой хваткой в горло. Будет дрожать, вилять хвостом перед тобой же по привычке, но тебя же кромсать и душить. А сквозь сжатые на твоей глотке зубы жаловаться на свою горькую судьбу, которая довела его до жизни такой. И от тебя же требовать сочувствия.

\* \* \*

Красавец Жора действительно высок, статен и красив, но на лице его широком постоянно видна зло-

ба и смятение. Жора исключительно бездарен и неудачлив. Это-то его и толкнуло в партию в самое развеселое время, во время борьбы стареющего Сталина со своими врачами. Юному Жорику трудно давались изобразительные искусства и науки. Несмотря на внешнюю ладность, у него все валялось из рук. И не только с похмелья. То, что средний студент делал в час, Жора, изнемогая, производил в 8 или 10. Уже в этом Жоре виделся некий подвох и заговор.

В те времена, когда любой признак незаурядности рассматривался с позиций: «Ха, незауряден, уж не космополит ли?», Жоре был прямой резон вступать в партию. Жора решил не учиться, а учить. Кроме того, Жора, как и Сталин, не любил врачей и подозревал их в кознях. Дело в том, что эти евреи никак не могли вылечить его от запущенного триппера. В данном случае Жора был несправедлив к врачам, так как современной науке известно: триппер возбуждается от водки. А поскольку Жора не просыхал, то и триппер не высыхал. Но и партийный билет не защитил Жору от надоевших ему трипперов и увечий, получаемых по пьянке. Жоре явно и тотально не везло. Как-то с одним евреем он взял на пару проститутку. Жора вообще-то евреев терпеть не мог, но в данном случае выхода не было. У этого еврея были деньги, хотя бы на одну, а у Жоры их никак не могло быть. И надо же, Жора, русак, хозяин страны, от нее заболел сифилисом, а обрезанный, безродный — нет. Это окончательно добило Жору. Еще больше укрепило в ненависти к космополитам и навсегда бесповоротно сблизило с вождем всех времен и народов Иосифом Виссарионовичем Сталиным.

Через много-много лет после смерти любимого вождя постоянный член партбюро МОСХа Жора, заняв нужную сумму у одного беспартийного большевика, взял проститутку. Утром он начал выгонять ее, не

заплатив денег, даже побил. За то, что, как он утверждал, она недостаточно обеспечила ему прилив крови к главной из конечностей.

Отчаянная и озверевшая от побоев баба, пользуясь тем, что он был изрядно пьян, вытащила у него партибилет и сдала в милицию, где все рассказала, аргументируя тем, что пусть ее накажут как блядь, но таких грязных блядей она в своей практике еще не встречала. Ее просто выгнали. Видимо, работники милиции были связаны с милым Жорой. Он был членом группы содействия милиции и, естественно, их собутыльником. Так или иначе, милиция не составила протокола и не дала знать вышестоящим инстанциям, а передала документы и обстоятельства в партийную организацию МОСХа, членом которой являлся неудачливый партийный Дон Жуан. Историю — по каким-то внутренним партийным соображениям и, вероятно, по идее глобальной безопасности, а также сохранения и упрочения мира во всем мире — замяли. Жора отделался легким испугом. Но именно с этого момента фортуна повернулась к нему лицом, и он начал делать активную карьеру. Его бурсацкая лихость импонировала менее притким партсотоварищам. Его профессией при рассмотрении характеристик для поездки за границу стала нравственность. Он стал почти непререкаемым авторитетом в этой тонкой области. Весь беспартийный МОСХ недоумевал: что это — наглость, вызов? Возможно. Не пугайте нас, мы сами кого хошь напугаем. Им плюнь в глаза — всё Божья роса. Может быть, поэтому Жора и запроцветал. Я помню, что именно он пытал всех подозреваемых в безнравственности. Именно ему поручали читать лекции о коммунистической морали. Именно он страшно бдительно следил и выпытывал о семейных взаимоотношениях, о любовных связях претендентов на заграничную поездку. Именно он, обычно полупьяный, с распахнутой ширинкой, с немытой шеей поучал пре-

лестных молодых художников: учиться, учиться, учиться, как сказал Ленин.

Видимо, ему действительно открылась большая карьера. Если все сложится, как надо, он со временем будет направлен в Америку, учить несколько подрастившихся детей пуритан нравственности. Абсурд? Нет, эта запрограммированная циническая рациональность несет в себе практический элемент: в обществе, формально проповедующем коммунистическую мораль, не удивительно, если сухой коммунист, аскет поучает тебя нравственности. Пусть он ограничен, пусть он несимпатичен, но он не сможет внушить такого ужаса, как пьяный, разнузданный подонок, безнаказанно измывающийся.

Внешне все может выглядеть случайностью. Но не зря начальство попустительствует Жоре, создавая обморочную атмосферу полной безнадежности, и этим по-настоящему пугает и повергает в ужас. Больше, чем самыми грозными приказами о послушании. Потому что с таким бесцветным, но беспредельным, все разъедающим цинизмом бороться нельзя.

---

Что за планида такая? Ну, пусть бы тиранил тиран, властвовал властитель, тонуть — так в крови, но не в моче. Нестерпимо стыдно. Хромой, глухой, слепой, дрожащий, трипперный коллектив — Крошка Цахес — мой хозяин. Противно и просто. Просто? А все-таки что там, за дверьми парткомнаты, булькает, булькает, булькает?

### *ХЕПС*

Иногда мои друзья, находившиеся на различных уровнях партийно-государственной иерархической лестницы, пытались мне помочь. Но никогда у них ничего

не получалось. Временные успехи только подчеркивали общее безобразие моей ситуации. Существовала физиологическая несовместимость между мной и окружающей меня действительностью, и она была непреодолима. Как бы ни пытались меня иногда заглотить в официальное искусство — а такие попытки были, — с отвращением отрыгивали. Я не переваривался в этом желудке.

Бывало, я сам, подначитавшись Макиавелли и призывая на помощь исторические аналогии — история же искусств красочно повествует о сговорчивости разного рода талантов с вельможными ничтожествами всех времен и народов, — пытался изменить себе и шел на сближение, понимая, что скульптор — не поэт, не свободный философ и, увы, зависит от государства. Будучи монументалистом, я не хотел всю жизнь просидеть в подвале, не хотел быть генералом без армии. Соображения побеждали отвращение — я сам тащил себя за шиворот. Но при личной встрече с современными Медичами забывались практические аргументы. Кто-то, кто был сильнее меня, превращал претендента на роль государственного скульптора, советского Скопоса, в разнузданного анархиста. Как будто внутри моего взрослого тела, одетого во взрослый, подчеркнуто респектабельный на такие случаи пиджак (пиджак имени ЦК — прозвали его мои друзья), находился некто, некое существо, скорее всего мальчишка, который не хотел, не хотел, просто не хотел быть ни у кого на поводе. А почему? Да нипочему. Просто так — я такой! Пусть нехороший, но это я.

Как-то раз мои друзья-аппаратчики пришли к выводу, что меня нужно познакомить с человеком, который у Косыгина ворочает культурой. Мы долго готовились. Меня учили, как с ним разговаривать, мне объясняли, что он не очень далек, но зато склонен меценатствовать. Мне говорили, что я должен говорить и чего говорить не должен. В общем, был боль-

шой тренаж. Он же приезжал тихонечко и таинственно. Потому что не очень-то гоже ему в ресторане встречаться с неофициальным художником, да еще с таким. В то же время он, видимо, умирал от любопытства, так как обо мне в этой среде ходила масса взаимоисключающих слухов и легенд.

Итак, в ресторане «Арбат» мы сняли в кабинете столик. Я тогда уже имел много денег. Поэтому стол ломился от яств: балыков, черной икры, от разных вин, коньяков, от всего, что только можно было купить. Первая половина вечера началась превосходно. Я ему рассказывал о своем патриотизме, о войне, о том, как был добровольцем в армии. Я говорил, что хочу служить родине, хоть моя форма в искусстве и отличается от общепринятой. Он знал, что Косыгин, его шеф, подарил мою работу Кекконену, и, значит, в какой-то степени понимал мою проблему. Друзья упивались моими успехами и гордились мной. Они переглядывались и посматривали на этого человека, кличка которого была Хепс, словно говоря ему: «Ты видишь, видишь, он же свой, свой! Он наш! Мы же тебе говорили...» И я изо всех сил старался быть своим.

Желание служить, желание приобщиться делает нас снисходительными. Я старался найти в нем симпатичные черты. И находил. Доброе лицо, несколько близорукие глаза, смешные десять-пятнадцать волосков, торчащие клоком на лысине. Нормальный человек. Чего же еще надо нам, чтобы терпеть начальство? Мало надо. В тайниках души мы так презираем власть, что если ее представитель не сразу укусит, пернет или хрюкнет — уже хорошо. Ведь и Косыгина уважают за то, что он нормально, то есть среднеграмотно говорит. Единственный из всех руководителей своего поколения. Но, Боже мой, мой сосед — жалкий инженеришко — говорит лучше и литературнее Косыгина. А его-то никто не уважает за это. И ясно, почему. Он не власть. Итак, я пытался заува-

жать человека из аппарата нормально говорящего Косыгина. Я не только устно и мимически демонстрировал ему, что я свой, — я пытался слушать его, что, правду говоря, было трудно.

Он обладал вязкостью сознания, все время спотыкался на несущественных деталях, увязал в них. Внешний, предметный мир уводил его от сюжета рассказа. Он помнил, что, где, когда съел на протяжении многих лет, кто в чем был одет, кто кому что подарил, сколько что стоило и так далее и тому подобное. Если же ему казалось, что он что-то спутал, как то: у французского посла лет этак 25 тому назад он ел говядину или телятину?.. — он прерывал рассказ, накрывал голову ленинским жестом руки и долго и упорно думал. На это время мы все затихали, чтобы не мешать титанической работе его мозга. Наконец, он радостно вспоминал: «Да, это была говядина!» Но сюжету мешало еще то, что он никак не мог вспомнить: из какой части Франции добыт этот скот. И снова ленинский жест, лысый лоб покрывается испариной, и почти слышно, как в мозгу шелестит картотека. В чем-чем, но в стремлении к точности деталей ему отказать было нельзя.

А вот выжимки из его беседы:

— Моя жена, — (сообщаются все анкетные данные: происхождение, возраст, не судима, образование; конечно, включая рост, цвет волос, глаз и другие физические признаки), — не верила, что я сделаю карьеру. — (Из анкетной части рассказа видно, что она из более интеллигентной семьи, чем Хепс.) — И несколько презирала мою рабочую косточку. Но как приятно иногда доказать. Вдруг звонок... — (Сообщается, как ему вне очереди поставили телефон. Как в таких случаях ставятся телефоны вообще. Какой формы и цвета у него телефон. И чем его телефон лучше других.) — Тебя вызывают... — К кому бы вы думали? К Молотову! — (Тут никаких комментариев. Только сияние чела Хепса и вставшие по стойке смирно десять волосков

на заблестевшей от восторга лысине. Долгая пауза.) — К самому Молотову! А жена — я замечаю — недоуменно смотрит из-за занавески... — (Сведения об этой занавеске и занавесках вообще.) — Черная машина рычит у подъезда. — (Естественно, всё о машинах и табель о рангах: то есть кому, в каких случаях и какая положена.) — И по белой линии, без знаков движения: у-у-у... Знай наших! — (Действительно, какой русский не любит быстрой езды...)

Но торопился он зря, так как его просили подождать и, если он не успел позавтракать (а он не успел), откусать в столовой Совмина. (Подробнейшее и необычайно квалифицированное изложение: как и что он в этой святейшей из святых кормушек кушал.)

— И вдруг репродуктор: «Такого-то, к Вячеславу Михайловичу, к Молотову!» Я хватаю папочку, — (отступление о папочках, о тесемочках, застёжечках, цвете и размере; важности папочек вообще, а его в особенности), — все на меня смотрят: кто таков? К Молотову?! К самому Молотову! Приятно. У-у-у, как приятно! Видела бы жена! Вводят в кабинет. — (Длинное описание всех предметов, находящихся в кабинете.) — Товарищ Молотов в сером костюме и в таком оранжевом галстуке. Нет, нет, простите, он был в сером костюме и в коричневом галстуке. В оранжеватом он был в другой раз. Я потом расскажу о том, что было, когда он был в оранжеватом галстуке... Я прошу у него прощения: извините, товарищ Молотов! Я кушал...

(Тут нужно объяснить. Хепс не сидел в приемной, а сидел в столовой. И поэтому был вызван по радио, и это его смущало: не рассердился ли Молотов.)

— А Вячеслав Михайлович, как сейчас помню, мне говорит: «Кушать у нас в Совете министров, а также в ЦК, не возбраняется». Понимаете, мне, мне, прямо так простецки говорит: «Кушать не возбраняется!» —

И в интонации Хепса прозвучало что-то надмирное. На мгновение, как мне показалось, чело его озарилось ореолом. Расплывчатое, добродушное лицо приобрело значительное выражение, всё превратившись в свиной пятак, из дырок которого, как из священных репродукторѳв, неслись слова новой религии: кушать, кушать, ку... И я вдруг увидел горы и небеса, моря и луга, на которых гигантскими буквами начертано: КУШАТЬ НЕ ВОЗБРАНЯЕТСЯ! Хепс же, опустившись на землю, широким жестом пригласил меня разделить его восторг. Закис от радостного смеха и, подавившись черной икрой, запил армянским коньяком, но никак не мог успокоиться, все время хихикая и повторяя многозначительно: «Вот так-то, Эрнст. Кушать не возбраняется! Понял, Эрнст, не возбраняется!» И поднимал беленький пальчик, чтобы подчеркнуть важность и ритуальный смысл: КУШАТЬ, КУШАТЬ, КУШАТЬ! А поскольку не возбраняется, он и кушал. Пил и кушал. Кушал и пил. И рассказывал, и рассказывал. А так как мы слушали, он был убежден, что мы упиваемся содержательностью его рассказов и радуемся вместе с ним всем разудалым радостям чиновничьего бытия-жития. И кушанию. И, конечно, он говорил о семье, и, конечно, как все они, когда подопьют:

— Для меня семья — всё. Но с вами, и между нами, ах, художники, эх, натурщицы, эх, цыганочки... тра-тра-тру-ля-ля... Мастерскую тебе отгрохаю, построю хорошую. Мастерскую за государственный счет. Построил же я Кобелю. Мы здесь все свои... Но тебе, но тебе поэтому скажу без балды. Тебе — другую. У нас же ты не такой официальный. Тебе мастерскую с интимными уголками. Как говорят французы, гран мэрси. А один уголок мастерской — и для меня. Знаешь, почему я люблю большую манду... Между нами... В ней можно найти свой интимный уголочек. Хи-хи-хи...

Всё бы ничего. И не такого я за свою жизнь наслушался. Но он как-то незаметно перешел на ты. В его интонациях появилось нечто дружески поощрительное, но с начальственным оттенком. Вообще-то в неофициальном протоколе, если начальство переходит с подчиненным на ты, то есть начальство говорит подчиненному «ты», подчиненный же начальству «вы» — до особого разрешения, — это уже поощрение со стороны начальства. Это уже выделение тебя из стада, это уже некое приобщение. Я никогда не терпел такого рода панибратства. Оно действовало всегда на меня, как красная тряпка на быка. Может быть, не тыкай мне Хепс, я бы стерпел его занудность и безобразие. Но тут уже было выше моих сил. И меня понесло:

— Вы что мне тыкаете. Я с вами свиней не пас...

Много я ему сообщил. И что у моего деда дворник был культурнее начальничка косыгинской культуры, и что я таких сявок, как он, у параша на четыре кости ставил. Много, ох, много было высказано ему на сочном и отборном слэнге. Почему в напряженные моменты, при общении с хулиганами, бандитами, милиционерами, функционерами я переходил на уголовный язык? Выросший в весьма интеллигентной семье, я, естественно, грамотно и, как многие считают, культурно говорю на литературном русском. Но жизнь взрастила меня не только в литературных интеллектуальных салонах. И я скоро понял, что на строительной площадке, в армии, в милиции или даже у начальства в определенных обстоятельствах слэнг звучит как язык силы. А интеллигентный русский — как признак слабости. И при встречах с Хрущевым, возможно, умение нахамить Шелепину на слэнге частично защитило меня. Литературный русский сегодня — это иностранный язык. Нормальный же язык — это смесь заблатненного языка с канцелярскими клише. И так, выпоров «феней» ни в чем неповинного Хепса, я бро-

сил официантам пачку денег и ушел, в основном, недовольный собой, проклиная и кляня себя за подхалимаж, хамство и несдержанность.

Но эта история кончилась совершенно неожиданно. Естественно, мои друзья очень обиделись на меня. Один из них мне позвонил на следующий день:

— Эрнст, ты не был настолько пьян, чтобы тебя простить. А если даже ты был и пьян, это все равно непростительно. Мы сделали для тебя большое дело. Если тебе на него плевать, не надо было встречаться. А если ты встретился, то хотя бы не о себе, ты должен был подумать о нас, нам с ним работать.

Я сказал:

— Ребята, я приношу извинения. Больше никогда ничего подобного для меня не делайте. Потому что я понял себя. Я могу поддерживать взаимоотношения с человеком, который мне даже если и полезен, то одновременно должен быть и приятен. Тогда хоть что-то получится. Если же он только полезен и отвратителен, у меня ничегошеньки не выйдет.

— Ну это твое дело. Мы тебя простить не можем, потому что ты себя повел не по-мужски.

Они были правы, и я очень, очень переживал.

Неожиданно, примерно через неделю, мне снова позвонил мой друг:

— Эрнст, я не разделяю веру в твой гений. Но во всяком случае, гений интуиции у тебя есть, это точно.

— В чем дело?

— Хепс от тебя без ума. Каким-то образом он съел твое хамство. Он хочет, чтобы ты перед ним извинился, и хочет снова встретиться. Поверь, Эрнст, это делает ему честь, и не задирайся снова.

— Ребята, только я очень не хочу... Я не могу с ним поддерживать отношения.

— Ради нас.

— Ну, только ради вас.

Я позвонил Хепсу:

— Я приношу вам извинения. Я был патологически пьян. Я инвалид Отечественной войны. На меня водка действует ужасно. Приношу вам извинения. Я очень часто в таком состоянии разговариваю с людьми неправильно...

Он очень сухо ответил:

— Ну, хорошо, хорошо, я это понимаю. Но я хотел бы с вами увидеться.

— Зачем?

— Когда мы увидимся, я объясню вам, зачем.

Дело в том, что ребята попросили меня подарить ему какой-нибудь рисунок или какую-нибудь гравюру, чтобы сгладить инцидент. Испытывая горячее чувство вины, я на это пошел. Мы с ним встретились у ворот Кремля, где он работал, в его обеденный перерыв.

— Вот вам рисунок. Здесь я вам сделал дарственную надпись.

Он смягчился и пожелал меня пригласить домой, что было уже, с точки зрения протокола, высшей честью. А если учесть, что он встретился со мной, пожертвовав обедом, то надо считать, что он меня больше чем простил. И вот у него дома я снова хлебнул горюшка. Но, слава Богу, это была последняя наша встреча. И с гордостью могу сказать, что в этот раз я был сдержаннее, никого не оскорбил и ничего не сломал. Описывать его дом, забитый роскошью, нет сил. Кроме мебели всех сортов и стилей, всюду тяжеленные бронзовые скульптуры, совершенно не для домашнего пользования: огромнейшие марксы и энгельсы, стыдливо носом в угол повернут бюст Сталина в маршальской форме. Различные герои, сеющие разумное, доброе, вечное, кующие что-то железное: не то мечи на орала, не то орала на мечи, знакомые мне натурщики и натурщицы в балетных позах, устремленные в космос — к мирам иным, — чтобы доказать, что и там нет Бога. Ясно, что это взятки-подарки от

опекаемых им скульпторов. А вот и парадный гипсовый бюст самого хозяина.

— Пока еще не переведен в вечный материал, — сообщил мне таинственно Хепс, указывая на монумент, расположенный на хрупкой чайной горке, набитой бездарнейшим немецким трофейным фарфором времен Гитлера: томные купальщицы, кокетливые национал-социалистические младенцы-супермены, порочная Гретхен, танцующие крестьяне и крестьянки, собачки, кошечки в бантиках и просто розочки и бантики из фарфора. И над всем этим героический бюст Хепса, взглядом устремленный в светлое коммунистическое будущее, где будет что кушать. Он во всех орденах, а их у него, оказывается, немало, и даже десять волосков есть, но только они не торчат, а заботливо выложены скульптором на римской плечи Хепса. И каждый любовно выделен, отполирован и значителен сам по себе. А над его челом по стенам расположены головы различных животных: с рогами и без рогов, с клыками и без клыков. Возможно, трофеи его лихой охоты, возможно, подарки. Но ясно, что это тотемы, символы того, что вышеперечисленные животные действительно были убиты и скушаны. Между мордами с укоризной смотрящих на плешь Хепса зверей расположены дары всех стран и народов, покоренных Хепсом: вымпелы, кокосовые орехи с революционными надписями, сделанные золотом, пейзажи далекой Индонезии, написанные лаком, цветные полотенца, грузинская чеканка, изображающая «Витязя в тигровой шкуре», болгарские сценки из социалистического быта деревни, набранные в драгоценных сортах дерева. Естественно, гербы, серпы, молоты, звезды, Эйфелева башня, пальмы, значки олимпиад и конгрессов, арабские мечети и верблюды, бочоночки и открывалки для бутылок и, конечно, ленины, ленины — всех национальностей и рас; ленины всех континентов и широт; ленины черные и желтые, красные

и белые, раскосые и большеглазые, курносые, прямоносые и горбоносые; ленины скуластые и удлиненные; ленины с большими лбами и маленькими; ленины, выполненные во всех материалах, которые породила земля и химия: ленины из бронзы и ракушек, ленины из нержавеющей стали и пенопласта, ленины из пивных пробок и слоновой кости, ленины из различных пород дерева и из смолы. И среди всего этого хлама, как окошко в другой мир, цветы, прекрасные цветы, вышитые его женой. А под этим всем великолепием паркетный пол, натертый его женой. Каждая паркетина занятно блестит. Потому что его жена, по приказу Хепса, одну паркетину трет справа налево, а другую слева направо, о чем с гордостью нам сообщил Хепс. В отличие от большинства советских чиновников, которые, в основном, под башмаком жен, Хепс властвует. И, возможно, мстит за ее интеллигентное прошлое и недоверие к его способностям. Так или иначе, она только раз выглянула из-за занавески, знакомой нам уже по предыдущим рассказам, чтобы дать нам выпить.

Когда я был в капелле Медичи, я понял многое. Я понял, почему гении Возрождения так преклонялись перед Медичи. В атмосфере искусства, которую он создал, мог жить только Медичи. Потребность концентрировать различные шедевры с такой силой мог именно только гений. Гений Медичи своей любовью к искусству и потребностью в нем стал равным его создавшим. Да, Медичи равен Микеланджело, Рафаэлю и другим. То же и Хепс. Он абсолютно адекватен художникам, набившим его капеллу своим хламом. Если бы я мог привезти его квартиру сюда в Америку, крупнейшие галереи дрались бы, чтобы экспонировать ее. Это самый китч из китчей в мире. Уважаемое товарищ правительство, умоляю сохранить эту квартиру как музей. Ах, да, я не указал адреса. Ну, пошукайте, таких квартир не одна. Но делать вам это надо ско-

рее, так как волна либерализма и тлетворное влияние Запада скоро размоет такие кварталы-заповедники. Прошу прощения за отступление... Видимо, воспоминание о Хепсе заразило меня тоже вязкостью мысли.

Итак, жена дала нам выпить. Довольно жалкой водочки и закуски. Обидно нам было хлебать эту теплую водочку, так как в квартире стояло несколько стеклянных шкафов, набитых различными коньяками. Боже мой, я и не подозревал, что в мире так много различных сортов коньяка. И как вкусно выглядит. Но на шкафах были суровые надписи: что пить это нельзя, так как сие — коллекция. И мы пили водку, как говорят, вприглядку, жадно поглядывая на недоступную роскошь.

— Таких коллекционеров убивать мало, — шепнул на ухо мой партийный друг.

— Вот ты и созрел и понял меня, — ехидно шепнул я ему в ответ.

Хепс немножко подвыпил водки и снова начал нудить. Но в этот раз он не хамил и еще больше раскрылся. И нам стала ясна причина его желания общаться со мной. Оказывается, в один период своей карьеры он был помощником Ворошилова.

— Эх, Эрнст, Эрнст, вы человек крупного помола. Такие сейчас перевелись. Вы мне очень напоминаете Ворошилова. Он тоже был вспыльчив, но отходчив...

Видимо, он решил, что мое хамство есть право. И раз я такой хам по отношению к нему, то я и есть природное начальство. Кроме того, он, похоже, подозревал, что я имею естественное право на это хамство еще и потому, что у меня есть какая-то рука повыше его. У него была рабья натура. Он остался рабом. И, работая у сухого Косыгина, который не склонен топтать никого ногами, он, наверно, скучал о мате Ворошилова и о прежних счастливых временах. И во мне он увидел хозяина, свою молодость. Самое

интересное, что в связи с этим Хепсом я вспомнил другую историю. Я вспомнил его более молодым, но не менее противным.

### МЕРКУРОВ

Приехав в Москву поступать в институт, не имея ни жилья, ни денег, я обратился к Меркурову, одному из трех ведущих в то время скульпторов страны, с просьбой взять меня на работу. Меркуров во время войны был в эвакуации в городе, где я родился, — в Свердловске. Там он близко познакомился с моей мамой, которая тогда была оргсекретарем Союза писателей Урала. И вот теперь, хоть я еще не был скульптором, он, видимо, из-за знакомства с мамой, взял меня на роль «мальчика за всё». То есть я должен был делать всё, что прикажут: от подметания полов и беганья за водкой до помощи в лепке и в рубке камня.

Огромный, бородатый, красивый и громкий Меркуров сразу понравился мне. Его театральная импозантность, его шикарность, размах и красочность жеста импонировали моему романтическому сознанию. Возможно, родился я во времена Шаляпина, во времена купеческих загулов моего деда, мне бы все это показалось мишурой. Но на фоне серых будней, серой, как солдатская шинель, действительности, он был яркой фигурой. Жил он барином. За стол садилось иной раз до шестидесяти человек. Скульптор он был бесспорно талантливый. Его дореволюционные работы явно говорят об этом. Его гранитный Достоевский, Толстой, да и Тимирязев, вырубленные в молодости, конечно, выше всего того, что он потом делал при советской власти. Он был бесконечно циничен и даже как бы гордился этим. Я подозреваю, что в тайниках души он был трагичен и сломлен. Внутренне он уже был выдрессирован советской властью, но внешне —

прекрасен, как свободное животное на фоне всеобщей запуганности.

Поражала воображение скульптура голого Ленина. Модель фигуры, которая должна была венчать Дворец Советов, спроектированный архитектором Иофаном (кстати сказать, единственным моим родственником, сумевшим завоевать любовь тов. Сталина). Голый Ленин!? Но Иофан в том, что Ленин остался даже без кальсон, нисколько не виноват. Меркуров как серьезный профессионал штудировал ленинскую плоть и вживался в анатомический образ Геня. Ильича пришлось, в конце концов, приодеть в портки и пиджак.

Но совсем становилось жутковато, когда Сергей Дмитриевич торжественно сообщал, что в голове тов. Ленина будет кабинет тов. Сталина. И что, когда этот монумент увенчает Дворец Советов, тов. Сталин, комфортабельно расположившийся в плечи тов. Ленина, воспарит над облаками.

Пошучивал он и такие шутки. Когда к нему приезжало все политбюро, он театрально говорил:

— Ну, друзья-господа, вот там, — широкий жест с показом за ворота, — кончается советская власть. А здесь начинается Запорожская Сечь...

(Сечь. Где огромная армия каменщиков высекала бесконечные серии фигур Сталина. Своеобразный комбинат, мануфактура. Сталинская Сечь.)

Господа только улыбались. А господа-то всего только Берия, Маленков, Каганович, Ворошилов. Но ему было можно. Он был в те времена любим Сталиным. Но и он все-таки заигрался. На 70-летие Сталина он преподнес ему в подарок гранитную скульптуру, изображающую группу скорбных людей, несущих на плечах тело Ленина, под названием «Похороны вождя». И имел бестактность в дарственном письме указать ее стоимость. Ответ Сталина был кра-

ток: «Такой дорогой подарок принять не могу!» С этого начался его закат.

Но в то время Меркуров был на коне и резвился. И его двор для него, не для нас, конечно, был вольницей и Запорожской Сечью.

Я вместе с рабочими рублю камень во дворе. Вдруг женский вопль. Из дома выскакивает в полуразодранном платье известнейшая балерина страны. Женщина-кумир. Женщина-монумент. А за ней, лауреаткой Сталинских премий, Народной артисткой СССР, обладательницей огромной коллекции многих званий и орденов, несется тоже лауреат Сталинских премий, Народный художник СССР, член президиума Академии СССР, обладатель огромной коллекции многих званий и орденов товарищ Меркуров Сергей Дмитриевич. Голый, огромный, волосатый, гориллообразный, с дымящимся от возбуждения членом. А за ним его жена с чем-то тяжелым в руках. Как в ускоренном кинофильме, они пролетают мимо привыкшей к подобным сценам бригады каменщиков. Мы все целомудренно опускаем очи долу. Группа исчезает, и только слышен истошный крик члена президиума Академии художеств СССР:

— В моем доме, да и всласть пое...ся не дадут!..

Но это так, пустячок, милая семейная сценка. Что они делали с Алексеем Толстым, закрывшись с бабами в деревенской баньке, нам неизвестно, но по количеству сожранного и выпитого можно было судить о гигантской и энергичной работе, проделанной там. Он любил вспоминать, что он грек. Возможно. Другие говорили, что он армянин. А сам-то он враль был отменный. Так или иначе, темперамент у него был. И в этом плане ни греков, ни армян он не подвел и не опозорил. Кроме того, обе эти нации отличаются, как принято думать в Одессе, торговой сметкой. Отличался ею и Меркуров. В Свердловске мне рассказывали, что, эвакуировавшись на Урал во время войны, Меркуров снял — конечно, за счет государства — для

своего коллектива гостиницу «Большой Урал». Но, поскольку номеров было гораздо больше, чем нужно, лишние он сдавал различным приезжим, а деньги клал себе в карман, по существу на время превратив государственную гостиницу в свою собственность. Таких купеческих проделок числилось за Меркуровым много. Но он не был скуп, и мы, работавшие у него, это знали. Он хорошо понимал характер русского мастерового и поэтому действовал в традиционной русско-купеческой манере. Об этой традиции я много слышал от своего деда — богатого уральского купца. За самую малую провинность мог выпороть. А то вдруг, увидев, что рабочий приуныл, спросит:

— Что морда кислая?

— Да корова у меня подохла, Сергей Дмитриевич.

Всё понятно, корова — главная кормилица в пригородном хозяйстве каменщика, у которого детей и внуков целая рота.

Отчитав за кислую рожу матом и обозвав всех дармоедами, на следующее утро Сергей Дмитриевич дарит мужику корову. А корова по тем временам стоила целое состояние. Драл он с государства и с рабочих три шкуры, но всё и тратил. А когда помер — оказалось, что действительно ничего не скопил и, кроме долгов и заказов, ничего не оставил. Кстати, он организовал такой скульптурный комбинат и имел такого талантливого менеджера, что и после его смерти коллектив, созданный им, продолжал выпускать продукцию от его имени без него. Да, впрочем, и при жизни многое уже делалось без него.

В один прекрасный день Сергей Дмитриевич сказал, что он уезжает отдохнуть на юг и что к такому-то числу должен быть готов портрет Кутузова, по моему, две с половиной натурой или три. Он дал своим помощникам в качестве модели абсолютно невразумительную лепешечку, в которой было еле видно, что это голова человека и какие-то погоны. Зачем эта мо-

дель была сделана — непонятно. Лучше бы кукиш показал в виде модели.

— Ну, вы знаете, как и что делать, ребята. Задание не хитрое, но кровь из носу, чтобы было готово и блестело, как яйца у кота, к такому-то числу... — потом наклонился и заговорщически сказал: — Клим придет принимать. Так что для Клима сделайте. Как говорят советские мастеровые-скульптора, в нашем деле брака не бывает. Сказано — сделано.

В день сдачи заказа стоял на подставке готовый и новенький, как сапог, бюст: гладок, одноглаз, в орденках, в эполетах — всё в порядке. Соцреалистический фельдмаршал Кутузов готов был к сдаче соцреалистическому маршалу Ворошилову. А вот и шеф. Прямо с самолета. Веселый, загорелый, пыша здоровьем и дыша вином и барашком, даже и не взглянул почти на результаты собственных творческих усилий. Махнул большой рукой, дескать, знаю, сойдет, и побежал на кухню, потому что надо было принимать большого гостя. «Путь к сердцу солдата лежит через желудок», — кажется, сказал Наполеон. А Ворошилов хоть и маршал, но в смысле сердца и желудка остался, естественно, солдатом.

И забегали холуи — как их называет советская знать, обслуга. Засуетились все, нося, принося, унося снедь. Забулькало, зашипело на кухне. Закрутилось всё. А из кухни доносились фантастически вкусные запахи. И зычный голос хозяина:

— Да сациви, в сациви орешков, да чесночку побольше... Где Хванчкара?.. Мясо, дураки, от плиты уберите, а то перепреет... Это что? Персик? Яйца это твои, мудака, а не персик! Настоящий персик с кулак должен быть...

И вдруг среди этого рева, робкий голос кухарки:

— Сергей Дмитриевич, а маршал супцу не едят-с. В прошлый раз, я помню, ни граммочку не откушали...

— Не твоего ума дело, старая! Может, у него живот тогда болел. Сказано делать харчо и делай... А ты как сыр режешь, скотина?.. Что это ты мне, греку, о сыре говоришь?!

Наконец, затихло всё. Только от возбуждения подвывают многочисленные дворовые собаки, сбжавшиеся на упоительный запах кухни. (Были и мы — в стране царил голод.) Приближалось время, когда должен был приехать величайший партийный меценат.

Вышел раскрасневшийся от жара кухни Меркуров. Я в это время подметал пол в мастерской и стоял со шлангом. Дело в том, что в моих обязанностях было следующее: при появлении высокопоставленных гостей у дверей должен был стоять форматор Зюбанин, который впоследствии работал и у меня форматором. Как только появлялся гость, он махал мне рукой, и я обрызгивал скульптуру водой. Это всегда входило в мои обязанности, потому что Меркуров точно знал вкус советского начальства: то, что не блестит, не блестяще. Меркуров посмотрел на меня, а он ко мне хорошо относился и доверял:

— Слушай, тебе надо быть скульптором. Ты же все-таки не всю жизнь будешь здесь подметалой. А ведь самое важное в нашей ситуации — не как лепить, а как сдавать... Так вот, польешь и брысь за занавеску... Оттуда будешь выглядывать. Я кое-что тебе покажу...

Так и поступили мы с Зюбаниным. Зюбанин, стоявший у дверей, махнул рукой, я быстро обрызгал водой бюст Кутузова, бросил шланг, закрыл кран, и мы спрятались за занавеску. Едва мы успели задернуть ее, выглядывая из-за щели, как увидели, что появился кривоногий меценат, поразивший меня невзрачностью своего вида. Человек-Легенда, о котором слагались песни, Человек-Монумент оказался небольшого ростика, довольно спортивным, с лицом пуговкой и чаплинскими усиками человечком. Так что мой Хепс,

который плелся за ним в качестве помощника, вполне был на месте. Да и вкусы у них, как я потом выяснил, были абсолютно одинаковые. Что у героя-монумента Ворошилова, то и у чиновника Хепса. И так, вошли эти люди. А за ними следовали еще, но было видно, что это не люди, а так, охрана. Из другой двери синхронно вышел громадный барственный Меркуров. Но что это? Вся голова его от макушки до шеи забинтована. Трагический вид. Только из-под повязки торчит веселый пиратский глаз, нос и клочок бороды. Тут уж не до Кутузова. Ворошилов и не смотрит на него. Эх, зря я поливал...

— Сергей Дмитриевич, да что с вами?..

— Ох-хо-хо, — отвечает болезненный Сергей Дмитриевич. — Вот, Климент Ефремович, некоторые непонимающие говорят, что нам, скульпторам, много платят. А нам надо бы еще и на молочко подбросить за вредность производства. Знаете, сколько нервов да сил тратишь?! Вот я, лепил этого Кутузова, а он — одноглазый... А то, что он одноглазый, создает определенную мимику, определенное выражение лица. Надо было вжиться в образ. Вот я и шурился. Я морщился. Представлял себя одноглазым. Ночами вскакиваю — не спится... А тут еще сверхзадача, как говорит Станиславский, хоть Кутузов и одноглаз, он символ — с воинским зрением орла. Как совместить конкретную правду с исторической?! Вот, Климент Ефремович, соцреалистическая задача!.. Что-то сейчас болею, всё лицо свело. Всё лицо, и глаз не смотрит, резь.

Естественно, сердобольному маршалу здесь уж не до Кутузова. Он так, бросил взгляд — уже принято.

— Сергей Дмитриевич, да что же это такое? Что с вами? Вы должны себя беречь, неугомный. Вы нам нужны... — скупые мужские объятия.

И пошли пить Хванчку — любимое вино Сталина — и кушать сациви. Мы выползли из-за занавес-

ки, переглянувшись. В общем-то всё было понятно. Непонятно мне было тогда одно: зачем Меркуров разыграл комедию? Ведь и так было бы принято. Сейчас я это понимаю. Он презирал этих людей. Он всё-таки работал с Лениным и с Дзержинским. Поэтому новые партийные вожди-нувориши вызывали у него только отвращение, и он иногда разрешал себе покуражиться, побезобразничать, хоть так компенсировав свое положение: высокооплачиваемого государственного раба.

Прошло некоторое довольно длительное время. Мы сидели и ждали дальнейших приказов.

А... маршал кушал, кушал, и Хепс кушал, кушал. Накушавшись, высокопоставленные гости уехали. Вышел веселый и пьяный Меркуров. Указал на повязку и сказал:

— Вот блядь, — так иногда он любовно называл свою жену, — замотала, так замотала... Слава Богу, едальную щель хоть оставила. А ну, разматывай меня, ребята...

И мы сняли с его глаза повязку, в этот момент поняв, что и глаз-то был забинтован не тот, который надо было шурить, чтобы вжиться в образ Кутузова.

Да это и не важно. До подробностей ли тут? Такие частности не имеют отношения к истории советского искусства, в которой мы, возможно, когда-нибудь прочтем, что серия бюстов одноглазых полководцев: Моше Даяна и Кутузова, Нельсона и Голенищева работы скульптора Меркурова Степана Даниловича являются вершиной соцреалистического портрета. Именно потому их автор удостоен всех возможных государственных премий и отличий за не им вылепленную работу, но им проведенную интермедию. Верно сказал мне через много лет менее талантливый, но не менее циничный Вучетич, сменивший Меркурова на посту государственного любимца. Он показал мне на Сталина, которого я лепил для него, и изрек:

— Неважно, как ты мне его вылепишь. Важно, как я ему его сдам...

Закордонне представництво  
Української Гельсінської групи

## ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАЇНІ

«Вестник репрессий на Украине» собирает и систематизирует текущую информацию о преследованиях на Украине. Основные разделы «Вестника»: «Хроника репрессий», «Новости о заключенных», «Архив самиздата», «Пресса о преследованиях на Украине». В приложении к вып. 7 редакция публикует «Документы Украинского патриотического движения 1980 г.», намереваясь и в дальнейшем печатать важнейшие документы украинского самиздата.

«Вестник» выходит двумя параллельными изданиями — на украинском и английском языках. Подписная цена на год — 20 долларов. Одновременная подписка на украинское и английское издание — 30 долларов. Подписную плату адресовать:

Ukrainian Helsinki Group (1561)  
P. O. Box 770  
Cooper Station  
New York, N. Y. 10003

Информация и переписка — по адресу:

Nadia Svitlychna  
97 Mt. Vernon P1  
Newark, N. J.

# СТИХИ

Игорь Бурихин

**В ВЕТЕР В ВЕНЕ.** Фантазия  
на крик голубей и шепот сфинксов.

1

Я испугаюсь мест, где я бывал,  
когда трамвай — с его походкой шаткой —  
уронит взгляд на стадион с решеткой  
сквозь нежилой, утрилловский бульвар...

Теперь трамвай кончает в Бельведер  
из-за тебя начавшуюся пляску.  
В виду холмов к чужой леплюсь в бедре  
барочной, будто сон, белиберде.  
А Летний сад тебя скрывает, плаксу...

На голову героя голубь сел.  
Ты слышишь ли города гул и гам?  
Близкое — это еще не всё —  
близится по углам!..

2

Что ж ты гневаешься, милый,  
на версту?..  
Не слышал еще гневливей  
птицу ту

с убегающим под львицу  
животом,  
подымающим девицу  
над плодом!..

— Жалкий путник,  
ты мою потрогай грудь.  
Что твой прутик —  
я тебя могу проткнуть!..

В поцелуе  
разрывается бутон.  
В УГУГУЕ  
шелест крыльев и ГРИФОН —

то ли символом О ГОСПОДА ХРИСТА,  
то ли сыном СИВОЛАПОГО ГРЕХА,

попирающий  
тебя, как Сфинкса с ней,  
под пугающее  
УУГУ голубей:

3

УУГУ-ГУ-УГУ!..  
Ужо тебе, ГРИФОН.  
Я пожалуюсь монаху на АФОН  
А на этот на египетский на ФЁН  
африканский наш встает пусть АПОЛЛОН!..

Зябкой негой водит память по спине  
В ВЕТЕР В ВЕНЕ, как в горячей простыне,  
как не может — не по чьей-нибудь вине,  
а по Божеску заказу — на Неве.

И расходится кругами до холмов.  
И разносится орлами без голов.  
В ВЕТЕР В ВЕНЕ!.. В ВЕТЕР В ВЕНЕ,  
охламон,  
расклюет тебя та птица  
Г А М А Ю Н

Вена — Обербергишес ланд,  
24 авг. 79

*НА ЖЕЛАНИЕ ПОСТА В ПАСХУ*

Синеет вечер, по верхам деревьев  
проходит теплой полосой заката  
путь от руки. И ветром тех касаний  
живет прохлада и звезда трепещет.  
Прямому взгляду не хватает пищи.  
Блуждает смерть раскосыми глазами.  
Блуждает Бог, покинутый доверьем.  
Блуждает ночь по телу, языкаката...

Все кошки черны и священны твари,  
что отдают трепещущее тело  
со страстью веры путникам при храмах.  
Одна Мария «и к тому же плакса».  
Родимая идет чужая Пасха.  
А Тот, чей шаг выравнивал и хромых,  
забыт в гробу. И на святом базаре  
ее зовут «отступница» и «стерва»...

И все это проходит сквозь меня.  
Я называю впроходь имена.  
Светает католическая Пасха.  
Отрогом Рима подымает Кельн  
свои два уха бурого собора.

А там, в России — Вербное. И скоро  
в столицу на осляти въедет Он.  
И чукча молвит: «Предъявите паспорт»...

Я так хотел попасть в Иерусалим.  
Я так хотел назвать его своим,  
что, кажется, нисколько не жалею  
о проволочке, как и о желаньи  
Поста Великого, что в самый пост терплю —  
как смерть имущий, смерть свою коплю,  
чтоб испытать, увы, то жало пресно  
как раз, когда ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!..  
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!..  
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!..

Апрель - 27 августа 79

\* \* \*

В преддверии небесной чистоты  
взгляд за окно перемежая мыслью  
то о тебе, верней, о том, что ты  
так далеко, что лишь в угоду смыслу

текучих слов я повторю: люблю, —  
то о дожде с его интимным скрипом  
стекла в прикосновении ко лбу —  
и охлаждает. Да и что тут с криком?

Что им возьмешь? Пространства на версту,  
чтоб состязаться с новым геометром  
и сладость крика ощутить во рту,  
когда его уже уносит ветром...

Не облегченья требует внутри  
зверь, стерегущий бабочкой стоокой,  
чтобы, делясь, все умножать на три,  
разорванное даже и в глубоком

сознаны сна: как ты и я — вдвоем  
есть третье, то, что и в разрыве свято.  
Хотя бы и украденное, в дом  
привнесено — и никогда отнято!..

Не облегченья требует душа,  
но ощущенья будущего в сумме  
со всем, с чем я, еще не дорожа,  
уже простился — не родившись, умер, —

всей тяжести, чтобы нести ее,  
испытывая узы оставленья  
и на пути сквозь полное ничто.  
И в полноте твое восстановленье.

О, Родина! я лучше б сам рожал...  
Но так же соткан — из дождя и света,  
я лишь твои объятия разжал,  
тебя собою повторяя слепо.

*Памяти покатоого Петербурга*  
М. К.

В какой мороз я вспоминаю жар  
в тебе ярчайших луковиц, Исаакий,  
расплавленных, разбавленных... А жаль  
их в шелухе, в их сизости. На всякий

— все так же — взмах пера занесена  
(в какие стогна? над какой лягушкой —  
китом для Павла и Петра) игла...  
Теперь ищи, какой там новый Пушкин

топтал гранит: Пади, Ваал, пади!..  
Куда же падать? чем нам объяснится,  
что ночь за ночью ангел проходил,  
молчала валаамова ослица...

Кто с ним потом боролся?.. Из крестов  
в громады зданий усмехалась муза.  
И корабли, что славили хлыстов,  
пошли на дно небратского Союза.

Чем объяснится Слово? Из могил  
ячейки сетей, расходились бредни.  
И потемнел Архангел Михаил,  
топчась в твоей серебряной передней.

И вновь Нева идет на град Петра,  
что иже с Павлом, мутна и речиста.  
И мне смешно с твои святыя Ра  
мешать еще мычанье публициста.

Какой поэт! как разменялся на  
— коварство слов— любовный монастырь. О-о,  
кто ж эту глину мял да не домял?!..  
И как «любовь, любовь» звучит настырно!

\* \* \*

*Поднял крыло ли, плавник  
ангел на парусе свода.  
Крепок апрельский ледник  
восьмидесятого года.*

1.

...Этот довесок зимы,  
снег в середине апреля,  
призрак пятнистый тюрьмы  
вместо стакана с похмелья  
и черноклювый галдёж.

Ёжишься и унимаешь  
рук рябоватую дрожь,  
— чёрт побери, понимаешь!  
ветхий крепя ремешок  
тусклых часов на запястье  
и залезая в мешок  
демисезонного счастья.

Город багров от цитат.  
Жалобны почки бульвара.  
И подпирает Арбат  
с тылу сивушная тара.

Жизнь мою, что впереди,  
на перекрученной нити  
с тёплым крестом на груди,  
хочется — нате, берите.

2.

Ты — а чуть дальше — апрель,  
больше на полнос похожий.  
То закрубится метель,  
то на ледок толстокожий  
сядет до времени грач,  
поторопившись маленько.  
Даром, что я бородач,  
а всё равно холодненько.

... Серые складки нежны  
американского платья.  
Цепкую нежность руки  
снова мечтал бы узнать я.

Но почему-то, мой друг,  
за темнотой занавесок  
всё мне мерещится вдруг  
аэродромный подлесок,  
где у последней черты  
прыгает боинг на кочках.  
Скоро уедешь и ты  
в сером с серёжками в мочках.

Жизнь мою, что впереди,  
на перекрученной нити  
с тёплым крестом на груди,  
хочется — нате, берите.

## У ЭВКСИНСКОГО ПОНТА

*Тут и Феодосия-голубка  
гулит соль из прибрежных чаш.  
И на ощупь твёрдая Алупка.  
И предатель Родины Сиваш.*

### I.

Весь воспаряющий над Черноморьем Крым  
в заплатах дымчато-лиловых:  
и дамы смуглые, берущие калым  
с любовников бритоголовых,  
и честно пашущий кораблик вдалеке,  
что уподоблен блёсткой точке,  
где мака дикого на черепе-скале  
оранжевые лоскуточки,  
и камни пегие подобно тушкам птиц,  
и пляж с пьянчугой-красноярцем,  
и пышных сосен мех длиннее игл и спиц  
над белой осыпью и кварцем.

Здесь снова испытать улыбчивый испуг  
на циклопической ступени  
тропой сыпучею — стопа в стопу  
придут однажды наши тени.

### II.

Монархически-женственный лоск  
кипарисов и пальм Симеиза.  
Ливадийский бочоночный воск  
опечатал врата Парадиза.  
И от йодистой знойной воды  
манит тенью татарская арка.  
Как обветрились у бороды  
и в подглазьях морщины монарха!

Заломил, задробил соловей,  
заглушая зазывное: «Никки!»  
относимое ветром левей  
всей социалистической клики.

... Незадаром дарует Господь —  
и на кортике крабью чеканку,  
и лозу, и любезную плоть,  
и у белого мола стоянку,  
и грузинской дороги пенал,  
и казачью Украину воловью,  
и Тобольск, и свинцовый Урал  
с голубою емелькиной кровью.

### III.

В цепких гирляндах глициний  
бел ливадийский дворец.  
Особи лавров и пиний  
возле татарских крылец  
словно забыли с владельцем  
свой погребальный союз.  
Лишь студенистые тельца  
прямо на гальку медуз  
понта Эвксинского качка  
бросила в йодистый зной.

Это темна, как болячка  
на локотке у родной,  
роза в скорлупчатой чаше,  
стриженной по окаём...  
И августейшее — слаще  
в смертном обличье своём.

#### IV.

Пенистый малахит  
в скальной оправе понта  
больно глаза слепит  
блестками горизонта.  
Перебегая в тень,  
стала от зноя слаше  
вянущая сирень  
в дикой приморской чаше,  
что от татарских дуг  
сонных манила новью  
и обернулась вдруг  
белогвардейской кровью.

Конские черепа  
скал высоки, отвесны.  
В осыпь ведёт тропа  
прямо по краю бездны.  
Вижу на глубину  
срез изумруднопенный.  
Только тебя одну  
выберу во вселенной.  
Резче бросай! — вдали  
под перелётом чайки  
по водяной пыли  
скачут лепёшки гальки.

V.

*В новосветской хибарке, дотоль  
нежилой ещё в этом сезоне,  
под дождем, барабнящим в толь,  
с паучком-паникёром в ладони...*

Сосен пушистых стая  
сгрудилась над отвесной,  
свечи в ветвях качая,  
— тайно манящей бездной.

Что если прыгнув сходу,  
плавно на камни ляжешь,  
перемогнув природу...  
Что мне на это скажешь

ты, заслонясь враждою  
к Новому Свету — раю?  
Что за моей спиною  
мне припасли, не знаю:

пайку ли на затравку  
с проволокой на заборе,  
или в ночи удавку,  
или иное море...

Жертвенное нетленно.  
Вещее многогласно.  
Гибельное мгновенно,  
ласково, безопасно.

## VI.

*Милая по руке  
хлоп! — как когда б отравлено.  
За полдень в погребке  
много чего оставлено.*

Большому кургану сродни Митридат.  
Коптится и вялится Керчь.  
Товарок её контрабандный наряд  
и ныне способен зажечь.  
А там — за проливом невестится в рань,  
вечёр золотистогрязна  
над тусклобутылочной гладью Тамань,  
притон, арсенал и казна.  
А Кафа бела на зелёной горе,  
где тёмен изменчивый понт  
иль дымнопрозрачен, когда на заре  
маняще открыт горизонт.

Что выберет знающий дело Гольдштейн,  
играя купюрами вновь:  
набыченный нагазированный Рейн  
иль крымский почти византийский портвейн,  
густой, как античная кровь?

До третьего неба поднимет волна  
и Кафу, и Керчь, и Тамань.  
И встанет под клеймами в виде челна  
державная Тьмутаракань!

Май, 1980

ИЗ ЦИКЛА «ПОЗЖЕ, ЧЕМ ПОЛНОЧЬ»

*ИЗ ФЕОФАНА ГРЕКА*

Страшный лик Серафима  
отразился и вымер.  
Только бледное пятнышко  
на стекле  
да узор на столе,  
и душа в серебре,  
как луна на реке,  
и кресты на земле:  
и в тебе и во мне —  
Вот, что осталось от серафима,  
который в чем-то отразился  
и куда-то вымер.

1962 г.

Когда в отчаяньи, что смертен,  
Проветрит сердце боль сквозная,  
То грусть о принесенных в жертву  
Бежит, имен не называя.

И в достижении покоя  
Виновны солнце и трава,  
Улыбка, жест, и с перепоя,  
Казалось, умная строка.

И балансируя на ветке  
В шутовском чине человека  
Все чаще хочется пометкой  
Стать в книгах латинян и греков.

1964 г.

*В ДОНСКОМ МОНАСТЫРЕ*

Остановившись у стены  
Со слепками античности,  
Мы были в солнечном плену  
Порочной симметричности.

1971 г.

Я вновь в Донском монастыре,  
Могилы те же, листья те же,  
Но отдается боль во мне  
С минутой каждой реже.

Когда последний час бродил  
Я здесь с бесценным другом,  
Валежник яростно дымил  
И голова шла кругом.

Мы говорили о любви,  
О вечности и Боге,  
И проступали нам стихи  
Тут же, на дороге.

Их авторы давно молчат  
И нового не пишут,  
Эпиграфом кресты торчат  
И травы камень лижут...

Вкус расставанья проникал,  
Как сырость, сквозь одежду,  
Горбун-садовник поливал  
Последнюю надежду.

1971 г.

На грани запаха  
Твое прикосновенье,  
В полете бабочки  
Избыток вдохновенья,  
Дорога через лес  
Как будто беспредельна,  
Природа, как душа,  
И вместе, и отдельно.

1975 г.

*Александр Сумеркину*

в моей теплой пустынной комнате  
живет кактус, на зверька похожий;  
розовеет к вечеру,  
пасмурным утром — бледнеет...  
он о двух крохотных головах,  
но таких молчаливых

1979 г.

ПЕТРУНИС Сергей — родился в 1944 году в Москве. В 1974 г. закончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова по специальности русский язык и литература. Работал мастером по лифтам, библиотекарем, литературным и фото-редактором. Стихи пишет с 1960 г. На родине не печатался. В 1978 г. эмигрировал и живет в Нью-Йорке. Работает редактором в нью-йоркском издательстве «РУССИКА». Публиковался в журнале «Эхо» и газете «Новое Русское Слово».

## **Журнал «БЪДЕЩЕ»**

(«Будущее»)

на болгарском языке, ежемесячник,  
издающийся в Париже

*Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.*

Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,  
75017 Paris, Tel. 380-57-64

Годовая подписка: 120 Fr. (70 DM, 30 \$  
Par avion: 50 \$)

## П. И. ВЕСЕЛОВ

5 декабря 1980 г. в Стокгольме после тяжелой операции на 69-м году жизни скончался Павел Иванович Веселов. Его настоящее имя — Петр Иванович Боляхов, родился он 21 октября 1911 г. в Нижнем Новгороде (Горьком), в старообрядческой семье.

В 1931 г. за религиозные убеждения он был арестован и пробыл полтора года в тюрьме, затем был лишен прописки в родном городе, скитался, часто менял работу. Служил конторщиком, бухгалтером и лишь впоследствии ему удалось стать юристом. А еще через какое-то время — прописаться в Горьком. Там он проработал до самой войны юристом крупного пищевого комбината и был известен тем, что для своего предприятия не проиграл ни одного дела.

В начале войны был призван в рабочий батальон и попал в плен к финнам. Осенью 1944 г., когда финны выдавали военнопленных, П. Веселов и еще 5 человек пропилили обломком пилы крышу теплушки и выпрыгнули на ходу — за четверть часа до того, как состав пересек границу СССР. Не найдя выпрыгнувших с ним друзей, Павел Иванович, полураздетый, не зная языка, почти без пищи, около месяца бродил по лесам и болотам, пока не был подобран доброй шведско-финской семьей. В ночь с 11 на 12 декабря он перешел в Швецию, где затем прожил 36 лет.

П. Веселов был творчески разносторонним человеком, но главным делом своей жизни считал философию. Один из его трудов — «Вечна ли природа?» — был опубликован изд. «Посев». В течение 15 лет он работал над романом о жизни Христа и о городе Александрии I в. по Р. Х. Но широко известен он стал как общественный деятель, борец против творимых советскими властями беззаконий.

В Балтийском море после мировой войны начали бесследно исчезать целые экипажи с небольших шведских рыболовецких и грузовых судов. По имени жены одного из пропавших моряков был создан «Фонд Мэри Юханссон», поручивший П. Веселову розыски моряков. Ему удалось собрать множество данных о том, что пропавшие моряки находятся в советских тюрьмах и лагерях.

Впоследствии, благодаря детальному знакомству с советским законодательством, глубокому знанию психологии советских властей, а главное — поразительной интуиции, П. Веселов стал единственным в своем роде ходатаем по делам воссоединения семей бывших граждан социалистических стран, в том числе невозвращенцев. За последние 20 лет ему удалось добиться выезда для 17 человек из СССР, 4-х из Польши, 2-х из Чехословакии и 1 из ГДР. До успешного завершения последнего, 24-го, выигранного им дела, П. Веселов не дождался: жена поляка-невозвращенца, за выезд которой велась борьба в течение 8 месяцев, прибыла в Швецию уже после кончины Павла Ивановича.

П. Веселов никогда не брал денег со своих клиентов, кроме как на почтовые, телефонные и разъездные расходы. Если же клиент не имел возможности покрыть и эти расходы, то Павел Иванович сам доставал нужные средства. Павел Иванович постоянно поддерживал дружеские и рабочие контакты с НТС.

После него не осталось никакого имущества, кроме книг и рукописей. Остались также многочисленные друзья, почитатели и ученики. Многие из них предложили свою материальную помощь для достойных похорон и для создания фонда имени Веселова.

*Друзья*

# Россия и действительность

Михаил Хейфец

## РУССКИЙ ПАТРИОТ ВЛАДИМИР ОСИПОВ

*Предисловие и примечания Эдуарда Кузнецова*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Первую книгу Михаила Хейфеца — «Время и место» — я прочел с интересом, но в то же время и с пониманием, что это интерес к каше, в которой сам варился, постороннему вовсе не обязательный. И за чтение рукописи об Осипове (вторая глава второй лагерной книги Хейфеца) взялся без особого энтузиазма. Ан нет — прелюбопытно многое, даже и не очень профессиональные рассуждения о национализме. Да и исторический интерес наличествует.

В рукописи есть кое-какие фактологические погрешности, их было бы легко устранить, но тогда память автора (а рукопись написана в лагере по горячим следам разговоров, пропала и по памяти восстановлена) выглядела бы еще более фантастической, чем она есть на самом деле. Мы с Хейфецем, посоветовавшись, решили их оставить и дать мне возможность их исправить, тем логически обеспечивая естественное пространство для ненавязчивого внесения некоторых оценочных корректив. Полагаю, что жанр это позволяет: это ведь не фиксация сиюминутного, когда через годы корректирующая рука поневоле искажает сам воздух вещи, — думаю, что характер рукописи, сделанной в лагере (о чем следует напоминать читателю), сохранится за счет исправления на глазах у читателя упомянутых погрешностей.

*Э. Кузнецов*

---

Глава из второй книги, написанной в лагере. Печатается в сокращении.

По делу № 15 Ленуправления КГБ в 1974 году первоначально предполагалось привлечь следующих лиц: Эткинда Е. Г., профессора, литературоведа и переводчика; Марамзина В. Р., писателя; Хейфеца М. Р., писателя; Горячева П. М., Бочеварова Г. Н., Конкина В. Е. и жителя города Александрова Владимирской области Осипова В. Н. — сотрудников нелегального журнала «Вече».

Эткинда и Марамзина я знал лично. Существование всех остальных обнаружил через три недели после ареста, когда следователь познакомил с постановлением: дела четырех лиц, обвиняемых в изготовлении, хранении и распространении журнала «Вече», изымались из моего дела и передавались по месту жительства обвиняемого Осипова — во Владимирское облуправление ГБ.

### *1. ТРАДИЦИОННЫЙ ТИП ПОДПОЛЬЩИКА*

Прошел с ареста год: получил я срок, проскочил этап, прибыл в зону № 17-а Дубровлага (Мордовия). Первое, о чем спросил товарищей в первый вечер, за чаем:

— Что с Осиповым?

— Их группу не взяли. И, видимо, не будут брать, — сообщил Зорян Попадюк, юный руководитель молодежной организации во Львове «Украинский Национально-Освободительный фронт»: в зоне, как я понял, тоже следили за делом «Вече».

За этот год обвиняемый № 1 профессор Эткинд «отделался» исключениями, увольнением, лишением всех ученых степеней и званий, а также членства в Союзе Писателей. Марамзин был арестован, но вырвал себе «условный» срок. Вот почему я без колебаний поверил сообщению, что для Осипова и его людей следствие кончилось благополучно. Человек я злопа-

мятный, и потому читатель поймет мою радость: ведь, кроме понятного сочувствия неизвестным друзьям, я думал тогда, что «Дело № 15» продолжает проваливаться и в своих филиальных ответвлениях, значит, мой родной ленинградский следотдел терпит афронт. Приятно...

Но месяцев через восемь на 17-ю зону пришло сообщение: в 19-й лагерь привезли Осипова. «А как же остальные 'подельники' — Горячев? Конкин?» — «Никого. Прошел по делу один»...

Потом Осипова увезли с 19-й на зону № 3/5 — чтобы там он поцапался с неукротимым украинцем Чорновилом. Вместо этого оба плечом к плечу обрушились на администрацию. Тогда Осипова вернули обратно на 19-ю, куда в это время попал и я. Впервые встретил его в феврале, полгода назад: перед столовой в группе эков стоял невысокий сероглазый круглолицый русак, внешне похожий на маршала Жукова (может быть, не только внешне?). Запомнилось, что первое время он обращался ко мне на «вы» (обычно-то я со всеми диссидентами быстро переходил на «ты»). Мне даже казалось, что Владимир только такое обращение и признаёт, но после начала Битвы за Статус (стодневной забастовки протеста мордовских зон) он незаметно оттаял — и мы перешли на «ты». Но осмотрительная настороженность и осаживание малознакомых людей — первая черта, которая бросилась в глаза.

Осипов, по-моему, национальный тип русского характера. Сила его часто не в глубине, тонкости или логичности, она — в страстности, в отчаянности поисков Духа, иногда вопреки Разуму. Осипов, по-моему, далеко не всегда прав, но он честен. Когда он заблуждается, он заблуждается как глубоко верующий человек, не как хитрый демагог. Конечно, честность его — это честность политика, то есть предполагает выдержку, расчет, компромиссы и умолчания (когда ему гово-

ритель невыгодно). Но, повторяю, он честен. Может путаться и путать, может противоречить себе. Но это — путаница в поиске, а не путаница трусливого стремления обмануть себя, чтобы тем вернее обманывать других.

Еще одно. Он недоверчив ко всяческим внушениям и поучениям со стороны (слишком уж часто обманывали его близкие «ученые» друзья), но зорок и хваток ко всякой проходящей мимо мысли, которая покажется ему верной. Такая мысль не проскочит — не пропадет: он схватит ее, незаметно обработает и вставит в систему своей политики.

Осипов — из породы тех организаторов по натуре, про которых я читал в старинных материалах и рукописях о подпольщиках, — из породы Георгия Натансона, Александра Михайлова, Иннокентия Дубровинского... Он знает и помнит всё про человека, который его интересует: на ком женат, с кем связан, на что способен. Иногда эта мелочная тщательность даже раздражает.

Исторически люди, подобные Владимиру Осипову, всегда занимали *вторые* места в руководстве подпольных организаций. Им всегда нужен был на первом месте трибун, идеолог, мыслитель, рядом с которым они могли привычно и неумолимо сплести сеть организованного аппарата и заставлять ее целеустремленно работать по «задумкам» вождя партии. Интересно, что такие люди всегда уступали с видимой охотой первое место другому (это ясно в тех случаях, когда волею судьбы они временно становились вождями; как только рядом появлялся какой-нибудь трибун или литератор, ему сразу отдавали первое место, хотя, имея в руках организационные связи, они практически являлись непобедимыми в борьбе за власть). Так, Михайлов уступил место лидера партии Желябову, Гоц — Чернову, Штрассер — Гитлеру... Зная Осипова, не сомневаюсь, что он при первой возможности поступил

бы так же. Историческая его трагедия, по-моему, заключалась в том, что рядом с ним не оказалось достойного и порядочного идеолога, что ему — в его время — одному приходилось тащить воз своей «партии» и быть предаваемым и продаваемым некоторыми из тех, кто считался «идеологами». Эти мысли, кажется, бродят и в тайниках его души. Однажды вырвалось: «'Вече'? Может, я был недостойн возглавлять такое дело. Может быть, оно выше меня, моих способностей. Но что было делать, если, кроме меня, не нашлось никого...»

## *2. НАЧАЛО ИНТЕРВЬЮ: КОРНИ*

— Я родился в деревне Чижиково Псковской области, — начал он свой рассказ. — Дед мой, крестьянин, дружил с местным помещиком-либералом и от него набрался, по семейным рассказам, социал-демократического духа. Деда забрали в армию, и он без вести пропал в первую мировую войну. Всю семью, уже при советской власти, ставила на ноги бабка. Хорошая, верующая была крестьянка, но гены деда остались в потомстве: дети его в числе первых сделались молодежными «активистами». По селу ходила о них дурная слава — «безбожные люди»... Все получили образование, довольно большое для той поры; мать моя стала учительницей. На каких-то учительских сборищах познакомилась с учителем Осиповым, вышла за него замуж. Потом появился я.

Началась вторая мировая война, отца забрали в армию, мы уехали от немцев в... (я забыл, какое именно место назвал Владимир). Там был примечательный случай. Я тяжело заболел, врачи приговорили к смерти. Мама была готова испробовать, что угодно, и бабка настояла, чтоб крестили: пусть хоть умрет крещенным. После крещения наступил мгновенный пере-

лом в болезни, прошел кризис, как тогда говорили, и я выздоровел.

Отец воевал под Ленинградом, остался жив, но завел себе на фронте другую семью и к нам не вернулся. Уже после моего первого срока, совсем взрослым, я разыскал его — было интересно посмотреть: всё же отец. Он объяснял, как-то не очень убедительно, мол, война была, казалось — всему конец, жизни конец, о будущем не думалось совсем. Хотелось пожить настоящим, сиюминутным. Несчастный какой-то, потерянный...

В конце войны мы переехали в город Сланцы. Мать продолжала учительствовать в начальной школе. Дома у нас всегда стояла масса методической литературы. Я стал читать мамины книжки, и через несколько лет наткнулся на статью о воспитании атеизма у школьников. Было это, наверно, уже классе в седьмом. Я среди сверстников давно считался заводилой. В любых делах и играх уважали меня, уважали и за то, что верил в Бога. Не по-настоящему, конечно, а по-мальчишески: есть, говорил, нечто непознаваемое и страшное, все вокруг этого не знают, а я — узнал... И это мое *знание* давало авторитет. А тут прочел в маминой книжке, что верующие дети — самые темные, малограмотные, трусливые, всего боятся, потому и веруют. Хорошо помню, как это разозлило меня: значит так — взрослые про себя, в *своих* книжках считают нас темными и трусливыми?! Вот *не буду* верить в Бога! И перестал. От самолюбия перестал.

### 3. «АБСОЛЮТНО КОМСОМОЛЕЦ»

В школе я интересовался историей и литературой и без колебаний поступал на исторический факультет Московского университета. Конкурс оказался приличный, но я прошел. Был абсолютно советским, абсо-

лютно комсомольцем, вертелся вокруг всех общественных комсомольских дел на факультете, дважды ездил с ребятами добровольцем на целину — убирать урожай и дважды получил почетные значки целинника. Помню, в одном вагоне с нами ехала однокурсница — дочка Сулова, с женихом, в отдельном купе (мы-то, остальные, ехали вместе вповалку). Жених тоже был из «кругов» (Владимир, как ему и полагается, точно его помнил и точно назвал, а я, как мне полагается, тут же забыл). Мы всё подшучивали над ней: «А что мама скажет насчет твоего купе с парнем вдвоем?» Но даже шутливо мы смели затрагивать только маму — папа Сулов был вне сферы того, о чем можно вслух говорить, не то что шутить...

#### *4. КРАСНОПЕВЦЕВ, СКУРАТОВ, КОМБЕДЫ...*

Когда я слушал рассказ Осипова о студенческих годах, меня поражало сходство нашего духовного развития, сходство до мелочей. Оба начинали с комсомольского активизма, вдохновлялись хрущевской целиной, оба с торжественно-благоговейной верой в будущее «очищение» прослушали хрущевский доклад на XX съезде. Для обоих вторжение советских войск в Венгрию в 1956 году не стало сколько-нибудь серьезным событием во внутренней жизни: насилия и анархия венгерских повстанцев, их стихийность и неорганизованность — всё это не привлекало нас. Так было.

— ...Зато огромным событием стала казнь Имре Надя, — рассказывал Володя. — Кажется, его казнили года через два. А я хорошо помнил речи Яноша Кадара, прежде защищавшего Надя, клявшегося публично, что Надя не виноват в анархии и насилиях, — и вдруг эта звериная жестокость Хрущева, бессмысленная в политическом отношении, — разве что как месть...

Долгое время Надя служил мне идеалом Героя и Мученика...

(И это похоже на меня. Венгерскую трагедию я осознал только после убийства Надя и Лошонци «либеральным» Хрущевым.)

Как я понял, серьезное воздействие на изменение жизненной позиции Осипова сыграл разгром группы Краснопевцева-Ренделя в Московском университете в 1957 году.

Краснопевцев считался восходящей звездой молодого поколения советской исторической науки. Блестательный аспирант, руководитель университетской комсомольской организации, он был постоянным примером для студентов-историков. Краснопевцев станет большим ученым — об этом твердили им профессора. А какой он был идейный, какой лидер ленинской молодежи!

И вот оказалось, что этот комсомольский рулевой стоял во главе подпольной организации историков Университета. Они разработали программу — по словам Осипова, то была смесь большевизма, меньшевизма и троцкизма. Забавное, должно быть, получилось произведение! Вообще, по моим наблюдениям, вплоть до процесса Галанкова и Гинзбурга в Москве идеологическое движение в СССР не сходило с позиций марксизма (или экономического материализма) в истории. Марксизм являлся единственной духовной пищей, которую мы впитывали с детства, и любые новые поиски оказывались возможными только под марксистским гарниром<sup>1\*</sup>. Худо ли, хорошо ли, но марксизм стоял на фундаменте предшествовавшей ему науки и в этом смысле казался убедительным тем, кто не подозревал, что с XIX века наука довольно-таки сильно ушла вперед... До поры, до времени явные разногласия марксистской теории с практикой СССР

\* Примечания Э. Кузнецова см. в конце текста. Сноски в тексте принадлежат автору. — Р е д.

прикрывались все новыми *истолкованиями* старых идеологических постулатов.

Расхождение теории Маркса и Ленина с практикой советского общества в середине 50-х годов стало настолько явным для всякого исследователя, интересовавшегося не за зарплату социальной теорией, что возникла необходимость вернуться к «истокам» — подобно тому, как после костров инквизиции христианские мыслители стали задумываться не о существовании Христа, а о возврате к идеалам раннего христианства. В сущности, даже КПСС тогда провозгласила лозунг «назад к Ленину!» — в трудах и сочинениях Основоположника стали искать идейную опору для робких реформ хрущевской поры... Оппозиция пошла дальше, хотя сидела в той же купели. Краснопевцев и его друзья, студенты и аспиранты, воскресили наряду с Лениным еще Мартова с Троцким — весь спектр социал-демократической российской мысли. Они даже занялись первичным, зачаточным установлением связей с границей: во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году нашли контакты с польскими оппозиционерами-студентами, группировавшимися вокруг журнала «По просту». Тогда же, летом 1957 года, они совершили первое открытое выступление: распространили в Москве листовки с протестом против решений июльского, 1957 года, пленума ЦК, снявшего с постов Маленкова, Кагановича, Молотова, Сабурова, Первухина (а затем и Булганина с Ворошиловым) — подавляющее большинство членов Политбюро. Подпольщики вряд ли сочувствовали старым сталинским бонзам, потерпевшим поражение, но защищали их, как я понял из рассказа Осипова, исходя из принципиальных марксистских положений: они расценивали итоги пленума как чистой воды государственный переворот.

К осени с группой Краснопевцева было кончено: когда Осипов и его однокурсники вернулись с целины,

на факультете шепотом рассказывали про аресты, потом суд... Их судили по знаменитой сталинской статье 58-10 (ныне переименованной в 70-ю) и дали по десять лет<sup>2</sup>.

Одновременно или чуть позже была разгромлена в Университете и вторая подпольная группа, состоявшая из студентов-юристов. Ее возглавлял Юрий Машков. Душой группы стала Валентина Цехмистер. После оглашения им приговора участники процесса по предложению Валентины трижды прокричали: «Позор кремлевским бандитам!» Это была группа «югославского направления», рассматривавшая «титоизм», или самоуправляющийся социализм как наиболее верное практическое воплощение идей Маркса-Ленина.

Но существовала и третья группа. Она сформировалась вокруг студента Иванова (ныне более известного под литературным псевдонимом «Скуратов»). Как я понял, взгляды Иванова оказались теоретической помесью из идей Троцкого и Ницше — в эпоху левацких насильников это сочетание не выглядит таким уж странным. В группу Иванова-«Скуратова» входили не только универсанты, но и студенты других институтов, в их числе выпускник Московского энергетического института Виктор Авдеев, а из историков — Владимир Осипов.

В оппозицию его толкнул интерес к истории и социологии. Никаких *личных* несчастий в его жизни не имелось, считаю нужным это отметить. Напротив, именно в это время успешно развивался роман с его будущей женой. Но Осипов страстно занимался социальными дисциплинами, преподаваемыми на факультете, — и эти дисциплины толкали его в подпольную работу. Со страниц ленинских «первоисточников», в особенности со страниц «Государства и революции» и «Очередных задач советской власти», буквально вопияли обличения самых основ современной *практики* ленинского государства: достаточно напомнить хотя

бы общеизвестное ленинское требование, чтобы зарплата самого высокого чиновника не превышала среднюю зарплату рабочего. А возмущенные возгласы: «Верх позора и безобразия: партия у власти использует эту власть, чтобы вырывать из-под суда *своих* мерзавцев»?.. А призывы к выборности всего управляющего аппарата сверху донизу?.. Я далек от мысли идеализировать эти утопические фразы кремлевского фантазера — он сам нарушал их ежеминутно, и не в силу беспринципности, а подчиняясь неумолимой логике практической государственной работы. Недаром его соратник Луначарский назвал своего вождя «великим оппортунистом»... По мне, так справедливость была скорее у советского государства, чем у Ленина. Но на студентов пятидесятых годов ленинские постулаты и громовые стрелы революции производили огромное впечатление. Марксизм-ленинизм заставил их встать против Советского государства.

...Кстати, способности и упорство Осипова заметили его преподаватели. Владимир рассказывал, что профессор-историк, бывший крупный партийный босс, попавший в опалу и, соответственно, в профессора (кажется, из-за какого-то аморального скандала — Никита Сергеевич слегка подтягивал тогда вожди), заметил студента Осипова, обещал ему свою поддержку при зачислении в аспирантуру и уже обсуждал с ним тему возможной диссертации. Так что к личным успехам присоединялись и заманчивые профессиональные перспективы. Осипов выбрал другой научный путь.

В декабре 1957 года он прочитал на студенческом семинаре доклад, заголовок которого дает представление о содержании: «Комитеты бедноты в 1918 году как орудие борьбы коммунистической партии с русским крестьянством». С этой даты Осипов отсчитывает начало своей общественной деятельности.

— ...Помню, собирались группой у Иванова, об-

суждали, как подготовить доклад, протолкнуть его. В общем, это стало первым делом группы...

Владимир ухитрился вручить доклад руководителю буквально перед самым семинаром, когда отменять что-либо стало поздно (или профессор не успел догадаться, что семинар можно отменить?).

— Как ты выбрал такую тему?

— Случайно. Мне попал в руки сборник документов о комбедах, я прочитал его и остолбенел: и *это* они печатают о самих себе?! Мой доклад был построен исключительно на документах, официально опубликованных в Союзе...

Началось «поедание» дерзкого докладчика. Мерой пресечения наметили исключение из комсомола (которое автоматически влекло за собой исключение из университета). Созвали комсомольское собрание. Могу представить, как клокотали страсти насчет «бдительности» и «отпора враждебным проискам» на факультете, где всего полгода назад арестовали Краснопевцева и К°. Обсуждали двоих: Владимира и кого-то из его однокашников по факультету, я забыл его фамилию и его дело (кажется, он бросил какую-то листовку на факультете — Владимир же помнил все обстоятельства, причем с присущей ему въедливостью во все детали). Помню только, что этот парень был калекой — не то безногий, не то горбатый, хилый, жалкий... На собрании впервые проявилось тактическое дарование Осипова: он явился туда с двумя целинными значками на лацкане и вместо того, чтобы каяться или наоборот защищать свою позицию, что было бы одинаково губительно, изобразил недоумение: а что, собственно, случилось? Да, изучал документы, пришел к таким-то и таким-то выводам. Неправ? Но почему профессор не поправил? Ведь семинар потому и называется семинаром, что на нем *обсуждают* доклад, *поправляют* докладчика... Прочел документы — может, их неправильно понял, так на то есть руководи-

тель и товарищи, чтобы разяснить... Внезапно выступил один из всегдашних оппонентов Владимира на курсе, студент истово коммунистических убеждений, споривший с Осиповым по всякому поводу: «Он прав. Мы должны объяснять ему, а не изгонять...» Я не раз замечал, что любые заранее предрешенные и подготовленные решения на собрании рушатся, если находится *один* человек, который дерзнет сказать «нет», и вдруг выясняется, что втайне всем хочется сказать «нет», и, как ни удивительно, само начальство, оказывается, не очень-то настаивало на «да», скорее по инерции, а раз «нет», пусть будет «нет»... Недаром наиболее важные и принципиальные для него решения начальство как раз через собрания и не пускает... После выступления Володиного оппонента его оставили в комсомоле и институте («свой парень, мы же его знаем, вместе на целину ездили»), а неизмеримо менее виновного и более несчастного калеку с воем выгнали с факультета — он не казался своим здоровому комсомольскому народу.

##### 5. «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» ИВАНОВУ

Так Осипов остался в Университете — не надолго. Группа Иванова затаилась, но была обречена. Один из ее членов, энергетик Виктор Авдеев, окончив институт, уехал по распределению, кажется, на Урал. Он переписывался с Ивановым, который позволял в частной переписке крамольные высказывания. С этими письмами произошла история, выпукло характеризующая нравы сталинского поколения. В отсутствие Авдеева письмо Иванова вскрыла его мать, прочла, ужаснулась и сообщила в ГБ. Женщина, видимо, планировала, что пострадает только отправитель, но «голубые соколы» начали с ее сына. Они произвели на квартире обыск, нашли несколько стихотворений тогдаш-

него самиздата (вскоре они или им подобные были напечатаны в «Правде» по распоряжению Хрущева) и несколько переводных статей (Осипов характеризовал их так: «Сейчас такие печатает «За рубежом». Ну, разве чуть-чуть их подредактирует»). Всего этого вполне хватило, чтобы сына идейной доносчицы арестовали, привезли в Москву и осудили, если не ошибаюсь, лет на семь<sup>3</sup>, по-тогдашнему мягко, ибо их *группу* ГБ не обнаружило. Тогда-то впервые проявился характер Осипова: он посмел явиться на суд. Времена были патриархальные, без игры в «разрядку», «права человека» и прочие новинки: хотя в КГБ уже не избивали арестованных, но до таких новшеств, как открытый суд над «политиками», Союз еще не созрел. В зал суда никого не пустили, но Осипов увидел Авдеева в коридоре суда и простился с ним. «Во время заседания из зала в коридор вышли двое заседателей, — рассказывал Владимир. — Одна была женщина, сравнительно молодая, по внешности из активисток, входящих в парткомы низовых организаций. Я услышал, как она говорила соседке: «Выпороть бы его! Выпороть!» И несмотря на садистскую оболочку этой фразы, я почувствовал в ней другое: зачем судить, выпороть надо и отпустить — такое мещанское, но, в общем, втайне доброе отношение. Жалко ей было отправлять молодого парня в лагерь...»

Вслед за Авдеевым арестовали отправителя писем — Иванова (Скуратова). В скором времени он был признан психически больным и помещен в Ленинградскую спецпсихбольницу (откуда вышел года через два).

Арест Иванова стал переломным событием в жизни Владимира Осипова.

— Я не мог молчать, — рассказывал он. — Взяли товарища, и я ничего не сделаю, ничего даже не скажу?... Ну, и решился. Сначала пошел к Аиде, она уже была моей невестой, — рассказал, что задумал. Она

одобрила. Произошло все на лекции. Боялся очень: помню, колени от испуга подгибались, и я специально сел в первом ряду аудитории — боялся, если буду сидеть где-то сзади, пока пройду дорогу до кафедры, не выдержу, испугаюсь и вернусь. Хотел сделать всё перед лекцией — не хватило духу, дождался перерыва. И тут рванулся вперед. Выскочил рядом с кафедрой и на всю аудиторию крикнул, что арестован наш товарищ Иванов, сейчас он сидит в тюрьме КГБ, сейчас, может быть, в эти часы его пытаются, и я призываю всех, кто знал его, каждого, кто как может, выразить свой протест... — Кричал в аудиторию, а видел, кажется, одного профессора: он стоял около кафедры и смотрел на меня с такой жалостью, будто вот меня на его глазах засыпают, живого, могильным прахом...

На этот раз настигла дерзкого кара: из комсомола его исключили, кажется, в тот же день, часа через два, уже не на собрании, а на бюро. Настроение было единодушно обиженное:

— Они были как бы оскорблены, что вот оказали мне такое доверие, год назад не исключили, а я принялся за старое...

А еще через несколько дней он был исключен из университета, «Альма матер» имени Ломоносова. Повод для исключения найден был, разумеется, академический (кажется, срыв лекции, той самой, на которой он выступил, или пропуск занятий — он после выступления ушел домой, точно не помню). Научное учреждение не захотело себя замарать таким позорным фактом, как зафиксированное выступление студента в защиту арестованного друга.

Как раз в это время его родители переехали в Москву: прописаться на их площади у студента, исключенного за «политику», не было ни единого шанса. Но он не стал бездомным. Аида Топешкина стала Аидой Осиповой. Он мог прописаться у жены, где-то в подмосковном пригороде.

Жили они, как я понял, на редкость безоблачно и счастливо. Он жену любил сильно, доверял ей безгранично. Через год появился ребенок — дочка Катя.

Надо было думать о работе и учебе. Работал сначала завклубом, «крутил танцы» по вечерам. Потом пошел на «повышение» — стал директором маленького местного кинотеатра. Одновременно попробовал продолжать учение. Летом, сразу после исключения, поступил на первый курс истфака Московского пединститута. При поступлении не указал в анкете, что учился в МГУ и оттуда исключен. Поэтому, сдав экзамены на «отлично» — самое легкое из того, что надо было сделать, — с успехом смог проскочить конкурс и снова стал студентом. Но государство бдило. Осенью Владимира вызвали на очередную проверку в военкомат, и он имел глупость указать в воинской анкете, что заочно учится в педвузе. Через две недели получил повестку — вызов из педагогического учебного заведения: его оттуда исключили «за сокрытие сведений при поступлении».

— Вызвал меня декан — объясняться. Никаких объяснений не было, всё уже решено, он просто захотел покрасоваться властью. Был такой высоченный, грузный мужчина, а я тогда — худой, щуплый, небольшого роста, — и он на меня орал, стоя, свысока: «Мы с вами будем беспощадно бороться!» Так это было обидно и нелепо...

Через месяц или два Осипов случайно обнаружил еще одну учебную контору: Московский заочный пединститут. То была какая-то шарашка, без своего здания, без серьезного курса лекций — нечто вроде самообразования для уже работающих, но малограмотных учителей. Тут его выручила «академическая причина», указанная в документах об исключении из университета. Молодая женщина, проверявшая документы при зачислении, конечно, не поверила, что отличника исключили за пропуск одной лекции, но заметила

другое: парень-то молодой, а уже женат, и есть ребенок. Всё ясно: «аморалка». Исключили и тем заставили жениться. История обычная... Заочный пединститут это обстоятельство не волновало: видимо, женился, покрыл грех — ну, пусть учится... Он сдавал экзамены ускоренным темпом, наверстал пропущенный год и получил диплом учителя истории одновременно со своими однокурсниками по МГУ\*.

Кончилось постыдное директорство, началась школа. И одновременно началась площадь Маяковского.

#### 6. ЗАВОДИЛЫ НА ТРИУМФАЛЬНОЙ...

Историю площади Маяковского Осипов излагал так.

Памятник Маяковскому в Москве ожидали давно. По-своему молодёжь Маяковского уважала: «истинно марксистский», «истинно ленинский» поэт оказался созвучен эпохе первичного пробуждения общественного сознания (как Евтушенко с его тогдашней декларацией: «Считайте меня коммунистом!»). Поэтому, когда скульптуру наконец поставили (через три десятилетия), у ее постамента возникли стихийные сборища молодежи: начинающие советско-комсомольские поэ-

---

\* В жизни Осипова был такой эпизод. Однажды пришел в военкомат на очередную отметку, а учреждение как раз переезжало в соседнее (через переход) помещение. Осипова какая-то девушка из делопроизводителей попросила помочь отнести туда папки с бумагами. Среди них оказалось его «Дело». К обложке прикреплена записка: «Звонил уполномоченный КГБ, Осипов исключен из университета за принадлежность к антисоветской группе». Володя отодрал листок и выбросил его в урну... Я спросил его, узнав об этом: «А откуда ГБ знало о существовании группы?» Он промолчал. «Может быть, Иванов что-нибудь выболтал на следствии — не для протокола, а так, для контакта со следствием?» Володя хмуро сказал: «Не надо про это. Доказательств нет — и не надо».

ты с этой эстрады стали читать стихи случайной публике.

Сначала властям, особенно комсомольским, это нравилось; новая форма идейного воспитания молодежи была разрешена. Но скоро сборища на площади вырвались из-под комсомольского контроля.

Владимир так анализировал ситуацию:

— Советский человек живет в норе: в своей работе и в своей квартире. Он не может вырваться из этой норы: клубы у него производственные, то есть связанные с той же работой, или при домоуправлениях, то есть при твоём доме; все общественные организации: комсомол, ДОСААФ и так далее — тоже связаны либо с производством, либо с жилищем. Близких по духу людей, особенно в большом городе, он физически просто не может встретить, если с ними не работает или не содействует. А тут возникла самодеятельная площадка, где встречались любители поэзии со всей Москвы, независимо от института, завода или домоуправления. Стенки нор сломались.

К этому объективному фактору стоит добавить фактор субъективный: на площади Маяковского появились люди с большим организаторским талантом, и их сразу заметили.

— Три человека стояли у начала этого движения, — вспоминал потом Краснов-Левитин, церковный писатель-диссидент, лагерник, выдворенный, в конце концов, из СССР. — Эдуард Кузнецов, Юрий Галансков, Владимир Осипов.

Имена эти сейчас всемирно известны как имена литераторов (Кузнецов и Осипов стали членами ПЕН-Клуба), но по своему природному призванию их носители, несомненно, были крупными организаторами общественных сил. Мало того: на площадь Маяковского приходил еще молодой Александр Гинзбург, именно там он задумал и составил первый за десятилетия в СССР нелегальный журнал «Синтаксис», где

печатались почти никому не известные тогда Б. Ахмадулина, Б. Окуджава и другие. С Эдуардом Кузнецовым появился рядом неразлучный его друг Виктор Хаустов, впоследствии герой двух политических процессов, — это был, кажется, первый советский диссидент, публично на суде отвергнувший марксизм-ленинизм (недавно в лагерь пришло письмо: Василь Стус встретил Хаустова на этапе из лагеря в ссылку. «Он теперь того же направления, что и Володя Осипов, — писал Василь, — но мы встретились по-джентльменски и по-дружески расстались»). Группу десятиклассников, почтительно окружавших полувзрослых заводил, возглавлял признанный вожак Володя Буковский. Наконец, яркой фигурой в этом созвездии был Илья Бокштейн, горбатый философ с миссионерским взором, впоследствии политзэк и политэмигрант. Кажется, не найти знаменитого диссидента из молодых, прогремевшего в конце 60-х — первой половине 70-х, который не появлялся тогда на площади Маяковского, не провел там своей юности. Именно на площади Владимир Осипов почувствовал, что ему, наконец, есть где приложить свой организаторский дар.

Видимо, возможность проявить природные способности оказалась настолько важной для него, что даже первая личная трагедия — развод с женой — прошла почти не замеченной. «Наш брак был безоблачен, и вдруг она мне сказала, что любит другого. Неделю я лежал в постели, не в силах двинуться с места, но, видно, организм был силен: через неделю встал и ушел в работу».

Работой стала площадь Маяковского.

Осипов любил поэзию (даже Аиду он вспоминает только как «молодую поэтессу»). Продолжая замысел Гинзбурга, он выпустил свой стихотворный журнал «Бумеранг». Впрочем, скоро «Бумеранг» прекратился, и материалы, подготовленные для очередного номера (как и для «Синтаксиса», прекратившегося после пер-

вого ареста А. Гинзбурга), унаследовал знаменитый впоследствии журнал Юрия Галанскова «Феникс».

По словам Осипова, молодые люди замотались — у них не хватало часов в сутках, чтобы организовывать всё новые и новые мероприятия. Только что подготовили выставку абстрактного искусства, естественно, подпольную, и уже надо слушать стихи вновь открытого поэта или идти на нелегальный философский семинар (некоторые из этих семинаров проводил малоизвестный еще Г. Померанц, и спустя несколько лет следователи приезжали к Осипову в лагерь за свидетельскими показаниями против него — готовилось дело. Показаний они не получили, и всё заглохло). Занимались юноши и крупными, оставшимися в истории делами тогдашней «культурной оппозиции» (так окрестил ее А. Амальрик), и мелочью. Осипов с юмором рассказывал, как выручали от «посадки» какого-то из молодых участников сборищ на площади, на которого писали жалобы и доносы кляузные соседи. Пошли втроем — Галансков, Осипов и один из их товарищей (кажется, однофамилец Иванова-«Скуратова»)⁴, представились соседям внештатными сотрудниками милиции, записали их показания и при этом выпытали такие компрометирующие жалобщиков подробности (при «своих» те не стеснялись говорить откровенно), что, когда эти записи оказались представленными в суд, он оправдал обвиняемого...

Поначалу сборища на площади Маяковского носили исключительно «культурно-оппозиционный» характер — политики они не касались. Исключение составлял Илья Бокштейн, который едва ли не сразу перешел к политике и делал это с дерзостью, смущавшей даже его не слишком осторожных товарищей. Он, как древнерусский юродивый, слонялся возле памятника и заговаривал на самые острые политические темы с первым встречным, кто появлялся; более того, когда обеспокоенные комсомол и милиция стали присылать

на площадь дежурных дружинников, Илья Бокштейн стал проповедовать и среди них тоже. С кем он только ни говорил! Когда впоследствии активистов с площади Маяковского судили втроем, то «у нас с Кузнецовым, — заметил Осипов, — почти не было свидетелей обвинения, зато весь процесс заняли показания свидетелей Бокштейна».

Интересно, что в то время национальный вопрос вообще не занимал какого-то места в сознании молодежи с площади Маяковского, и единственным, кто заразился национальным вирусом, оказался Бокштейн — причем вирусом великорусским!

— У него сильно звучала струна великорусского messiанизма, — говорил Осипов, — это мне запомнилось, как нечто совершенно чужое. И он первым стал обращаться к слушателям со старинным обращением: «Господа!» Тоже казалось удивительным: какие же мы господа, мы — товарищи друг другу, это власти — господа!

В общем, когда Бокштейна всё же забрали<sup>5</sup> — это не произвело особенно сильного впечатления на его товарищей. Если человек, несмотря на дружеские предостережения, лезет в тюрьму, что с ним делать?

Кульминацией «культурно-оппозиционного» движения, видимо, стал поэтический митинг в апреле 61-го года. Политические страсти разгорались, хотя пока еще держались в формальных рамках искусства. Организаторы собраний возле памятника Маяковскому дирижировали публикой всё увереннее и вели ее всё определеннее в сторону политической оппозиции. Поэтический вечер, намеченный на апрель, составили из сатирических и агитационных стихов. Но в этот момент — исторический рубеж в истории Земли: 12 апреля в космос взлетел первый человек, и он оказался соотечественником, по типу подобранным русским пареньком — Юрием Гагариным. В дни массового искренне-патриотического психоза группа молодежи

провела митинг в центре ликующей Москвы, где открыто заявила, что она против системы, пославшей корабль в космос!

В начале организаторы, правда, решили отменить митинг, подготовленный задолго до 12 апреля<sup>6</sup>, — вернее, отодвинуть его на другую дату. Но связи работали с большими разрывами, и на площадь пришло много людей, не предупрежденных о том, что ничего не будет. Организаторы, проверявшие «место», вдруг обнаружили, что, вопреки отбою, собрался народ. И с решимостью молодости скомандовали: «Давай!»

Не помню из рассказа Владимира, кто выступал первым. Вначале этот человек сказал, что Юра Гагарин ему нравится, а многие порядки в стране — нет. Толпа засвистела, зашумела, возмущалась. Потом поэт Щукин читал сатирические стихи, еще больше накалившие обстановку. Слушатели стали пробираться к памятнику, чтобы стащить Щукина и сдать «куда следует». Осипов дал команду, и его товарищи цепью встали вокруг пьедестала, защищая поэта. Щукина сменил Юрий Галансков (а, может, порядок был обратный?). Спустя шестнадцать лет, в апреле 1977 года, рассказывал мне Осипов о его стихах — это был немолодой уже вожак, почти сорокалетний человек, отбывший в концлагерях десять лет и ждавший впереди конца срока еще через пять, познавший и прошедший через славу и измену, любовь и подлость, — и голос его, как у юноши, наполнялся пафосом и восторгом, когда вспоминал Галанскова, читающего стихи. Проектор подсвечивал поэта на пьедестале, он согнулся над толпой, как птица за миг до полета, и бросал в толпу строки: «Не нужно мне вашего хлеба, замешанного на слезах...»

— В какой-то миг они не выдержали, заревели, бросились на нас и прорвали цепь!

...Осипов рассказывал мне про Галанскова в пасхальное утро 1977 года. На зоне праздник. Под вечер

я гулял по кругу с украинскими политзаключенными — Николаем Кончаковским, бандеровским контрразведчиком, начавшим в лагере свой двадцать шестой год заключения, и Кузьмой Дасивом, украинским диссидентом, схваченным в 1973 году на улице Львова с пачкой листовок в руках и осужденным на двенадцать лет (семь лагеря плюс пять ссылки). Неожиданно нить разговора с ними повернула к Юрию Галанскову: украинцы рассказали мне, как умирал Юрий в лагерьной больнице. Тут они назвали фамилию ээка, лагерного библиотекаря, свидетеля его кончины, от которого они услышали все подробности:

— Самое неудачное время для операции было: в пятницу во второй половине дня. Вырезали хирурги язву желудка и оставили в палате, где лежали умирающие, а сами ушли. Суббота, воскресенье — в больнице врачей не бывает никого. Может, кому и положено дежурить, только никого из врачей в эти дни библиотекарь не видел. В выходные дни медицина пьет. А санитар Репа\*, сволочь, тоже ушел. Что ему до живого — мертвого подавай, — он после трупа его имущество себе заховает. Галансков лежал, а библиотекарь — с ним рядом. Галансков пить просил: «Пить, пить». Библиотекарь рассказывал: «Я бы рад помочь, да у самого сил нет, сам умираю. И никого вокруг». Галансков сначала кричал: «Пить, пить», а потом только стонал: «Мама, мама»... А под утро выдохся, затих и умер\*\*.

...Когда в апреле 1961 года толпа воинственных советских патриотов прорвала цепь молодежи, «активисты» схватили Юрия Галанскова. Он спасся: кто-то

---

\* Санитары в больнице подбираются из заключенных, которых начальство «поощряет».

\*\* Библиотекарь, чью фамилию я забыл (из фашистских сотрудников), тоже умер, но перед смертью был этапирован в зону (передать библиотеку другому ээку) и успел рассказать про смерть Юрия Галанскова.

из друзей вдруг вышел из-за угла, властно протянул руку и распорядился: «Этого забираю я». Его приняли за гебиста и передали поэта из рук в руки: тот увел Галанскова с собой... Кто-то кричал, указывая на Осипова: «Этого брат! Этого! Он у них главный!» Осипов прикрывал Щукина. Их схватили обоих и повели в милицию, несмотря на протесты и сопротивление... Так впервые в жизни Владимир оказался в участке. «А у меня в кармане нелегальная книга, — рассказывал он. — Я же не собирался на митинг, он отменен был. По дороге к памятнику встретил знакомого, раздобыл у него книгу, потом пошел поглядеть, что там на площади, и — влип в милицию. Думал, обыщут — конец». Но милиционеры переписали с паспортов данные и отпустили обоих...

Когда вспоминаю об эпизоде у памятника Маяковскому, в мозгу по странной ассоциации сразу возникает бесконечно презрительное отношение Осипова к Ленину. Мне кажется, что причина такого презрения даже не идеологическая, вернее, совсем не идеологическая, — а этическая. Ленин и Осипов — это как бы два противоположных типа вожаков: у обоих большие цели, честолюбие, внутренняя уверенность в своем праве вести людей (может, оно и называется властолюбием?)... Разница, кажется, в следующем: в Ленине необычайно развито чувство *личной* опасности. Он оберегал прежде всего собственную жизнь и свободу, а уже «из прекрасного далека» решался на безумно смелые проекты, смертельно опасные для маленьких людей, окружавших «великого вождя» и веривших в него. Я пишу это вовсе не в осуждение Ленина — может быть, настоящий вождь, чувствующий в себе выражение воли истории и ответственность за ее судьбы, именно по-ленински должен поступать... Но для Осипова такое поведение абсолютно неприемлемо. Для него вождь<sup>7</sup> — это тот, кто возьмет *на себя* самое опасное дело, кто рискует головой больше всех, кто

получил право посылать людей на смерть не потому, что имеет «кресло» или даже владеет истиной, требующей жертв, а потому, что он первым идет на риск и на смерть и имеет право требовать *такого же* риска от второго, от того, кто идет за ним следом. Ленин командовал бы перед атакой: «Вперед!», Осипов — «За мной!» Возможно, что сравнительно легкий, незаметный разрыв Осипова со стадией «неоленинизма» («Назад к Ленину»), которую прошло почти все его поколение, объясняется именно личной смелостью руководителя... Невозможно выразить, какое презрение выплескивалось из Осипова, когда он изображал, как Владимир Ильич, закрутив для маскировки щеку платком, якобы от зубной боли, и шмыгая в каждую встречную подворотню, пробирался в Смольный по ночному Петербургу, *уже* занятому его же войсками по приказу Троцкого.

...Вскоре после посещения милиции он и Шукин были вызваны в суд и получили соответственно десять и пятнадцать суток «за хулиганство»: первая отсидка! В постановлении стояло стандартное обвинение: «Хулиганил, выражался нецензурными словами» и стандартный срок — 15 суток. Владимир жутко возмутился: «Я — выражался нецензурными словами? Я? Как вам не стыдно? Я в жизни никогда этих слов не произносил!»... Когда он возмущается, голос становится пронзительно-тонким, «бабьим», как говорили в старину. Эта необычная модуляция действует даже на лагерное начальство... Подействовала она и на судью: он вычеркнул «нецензурные слова» и заодно сбавил срок до 10 суток. (Владимир и на самом деле патологически не выносит мата.) ...Отсидеть 10 суток удалось без последствий: директор школы, хотя была депутатом Верховного совета, хорошо относилась к молодому, талантливому учителю истории и без спора отпустила его по каким-то выдуманым «срочным делам», к родным на десять дней. 10 суток, конечно,

немного: власти просто не хотели создавать шумный процесс вокруг антисоветского митинга в центре Москвы в дни чествования первого космонавта. Они были правы. Но срок — первый настоящий срок — уже надвигался на ребят с площади Маяковского.

### *7. ... И ЕГО ПАСТУХИ*

«Политизация» усиливалась с каждым новым днем. На крайне левом, экстремистском фланге, находился вернувшийся из ленинградского дурдома Иванов-«Скуратов»<sup>8</sup>. Спецпсихбольница вернула его в общество террористом. Он разглагольствовал на всех углах: мол, всё, что здесь делается, — это болтовня; пропаганда в условиях тоталитарного общества — «самосажание», никакая массовая работа невозможна и бесполезна, и единственным методом, способным возбудить общество, потрясти Россию и двинуть ее вперед, должен стать террор. Осипов придерживался более умеренной линии: сам он определяет ее как анархо-синдикалистскую. Двигателем истории — по Марксу — оставался в его толковании рабочий класс, в среде которого интеллигенты должны вести пропагандистскую работу (согласно взглядам Осипова, рабочий класс СССР был пронизан всеобщим недовольством). Историческим образцом для него должна стать Парижская коммуна, орган рабочего самоуправления. Привлекательным в ней казалось прямое народовластие и наличие многопартийной системы: в коммуне Парижа, как известно, были представлены две партии — бланкисты и прудонисты. С этой точки зрения наиболее близко к идеалу по Осипову и К<sup>о</sup> — подходила современная Югославия с ее рабочим самоуправлением, но и она не достигла идеала, ибо не решилась дополнить экономическую ячейку социализма,

— коммуноу, политическим венцом — многопартийной (или хотя бы двухпартийной) системой.

Молодые люди были кем угодно — мечтателями, фантазерами, романтиками, но не болтунами. Раз решив, что их задачей должна стать пропаганда в рабочем классе, они стали изучать рабочее движение. По словам Осипова, конфликты рабочего класса с властями возникали тогда в разных местах. Произошел бунт рабочих в старинном Муроме — я никогда об этом не слышал, а Владимир живописал мне его со всеми подробностями. Ребята с площади Маяковского, оказывается, посылали туда своих людей, собиравших информацию на месте<sup>9</sup>. Только отшумели события в Муроме, начался мятеж в Александрове — в старинной Александровской слободе, столице «опричного царя» Ивана Грозного. Всё это будоражило молодежь, заставляло верить, что рабочий класс недоволен, готов к борьбе, что их анализ советской действительности верен — надо действовать.

А рядом с Осиповым в это время действовал его оруженосец, верный и преданный, студент Сенчагов (кажется, нынче он какой-то специалист по Юго-Восточной Азии).

Как он появился в окружении Осипова? Владимир стал вспоминать об этом только в момент нашего «исповедного разговора». И вспомнил.

Началось так. Когда дружинники напали на молодежь у памятника Маяковского (не в день ли апрельского митинга это случилось?) и волокли кого-то из активистов в участок<sup>10</sup>, на них неожиданно и энергично налетела незнакомая ребятам молодая женщина. «Что вы делаете, мерзавцы, хулиганы, шпана!» Напор женщины оказался таким яростным, что дружинники выпустили свою жертву, и она сбежала — вместе с женщиной... Схема для внедрения, по правде говоря, настолько кинематографическая, что я бы не поверил, что это и есть схема, если бы по опыту не знал, как

шаблонна фантазия оперативного отдела и как, несмотря на шаблон, она успешна — ибо объекты слежки совсем неопытны и наивны. Короче, молодая героиня сразу стала своей в кругу активистов с площади и очень близкой подругой первого среди них, интеллектуального крепыша Эдуарда Кузнецова.

Почему я думаю, что тут действовала схема оперотдела? После второго процесса Осипова к нам в зону приезжал его следователь.

— О чем он с тобой говорил? — спросил я.

— Уговаривал писать помиловку\*. Вы, обещал, уже в этом году можете быть дома. Но упрекал, что я плохо себя веду. Дурно, говорит, отзываемся о свидетелях...

Единственный свидетель, о котором Осипов отзывался «дурно», то есть как об *агенте КГБ*, была та самая молодая женщина — бывшая комсомольская, а уже потом «движенческая» активистка Светлана Мельникова.

...И вот эта-то Светлана Мельникова привела тогда на площадь, как случайно вспомнил Осипов лет шестнадцать спустя, своего юного поклонника — студента Сенчагова. Очень скоро Сенчагов стал пасти Осипова так же внимательно, как Мельникова, видимо, пасла Кузнецова.

#### 8. ХОРОШО БЫ УБИТЬ ХРУЩЕВА!

А молодые люди готовились, наконец, создать политическую организацию анархо-синдикалистского толка. Первое собрание они провели ночью, на берегу какого-то пруда в парке<sup>11</sup>. Осипов зачитал собравшимся проект программы и тут же сжег его в их присут-

---

\* Не знаю, надо ли напоминать, что «помиловка» включает в себя «признание вины» и «раскаяние».

ствии. «В общем, — признавался мне, — суд потом правильно квалифицировал это как попытку создания партии». Позже происходили какие-то ночные собрания в каких-то подвернувшихся квартирах — с путаными спорами, случайными дискуссиями... И всюду присутствовал верный Сенчагов. Готовились издать листовки с информацией о Муромских и Александровских волнениях рабочих — закупили фотобумагу, закрепители и проявители, но тут надвинулись новые замыслы, и фотоматериалы остались лежать — дожидаться следователей.

Внезапно Иванов-Скуратов объявил Осипову, что время для террора пришло. Как раз наступили дни берлинского кризиса — казалось, человечество вползает в третью мировую войну. Не сегодня — завтра очередной агрессивный и неконтролируемый взбрык Хрущева грозил миру ядерным уничтожением. В этой жаркой летней ситуации планы Иванова-Скуратова звучали убедительно и маняще. Спасти человечество решительным действием! Гаврила Принцип своим выстрелом в Сараево вверг мир в катастрофу Первой мировой войны с двадцатью миллионами жертв; они же, как им казалось, одним удачным выстрелом спасут двести миллионов жертв Третьей мировой войны!

У Иванова-Скуратова уже нашелся исполнитель. Это был некто Ременцов, с которым он познакомился и которого завербовал на больничной койке Ленинградской спецпсихбольницы. Но нужны были помощники в деле. Выбор Иванова-Скуратова, естественно, пал на Осипова, товарища еще по университетской нелегальной группе, к тому же один раз пожертвовавшего собой ради него. Осипов сначала возражал. Характерно, как он в разговоре со мной обосновал свои возражения:

— Мне казалось странным и непорядочным: как это кто-то другой будет по нашему приказу стрелять и отправляться потом в тюрьму, а мы останемся в

стороне. Это не по мне. Но Иванов объяснял, что мы — сверхлюди (он ценил Ницше) и что черновая работа не для нас: мы создаем ситуации и условия...

Но одного Осипова было мало. Кого еще привлечь? Выбор остановился на Эдуарде Кузнецове.

— Сейчас смешно вспоминать, — рассказывал Осипов, — а тогда Иванов долго присматривался к Кузнецову: слишком крепкий, слишком спортивный — не кагебист ли?

Кузнецов дал согласие.

С Ременцовым, «исполнителем», ни Осипов, ни Кузнецов не были знакомы: Иванов-Скуратов скрывал его от всех. Задачей «шеф» поставил разузнать маршруты Хрущева и снять квартиру по пути следования болтливого премьера.

Но пока шли разговоры на эту тему, берлинский кризис разрядился, опасность войны отодвинулась, и смысл террористического акта в глазах исполнителей испарился. Вот почему ни маршрут не был выслежен, ни квартиру не достали<sup>12</sup>. В сущности, кроме разговоров на тему: а что, если убить Хрущева, небось, хорошо было бы! — ничего из «террора» не состоялось.

К несчастью, разговоры велись почти открыто. Видимо, сказывалось именно то, что всерьез стрелять не собирались и не приступали к делу<sup>13</sup>. В этих условиях болтовня о несуществующем деле выглядит безопасной. Почему не поговорить, если интересно и романтично? О покушении узнали почти все активисты с площади, знал, конечно, и Сенчагов. Осипов рассказывал какие-то забавные случаи, как Буковский и Галансков, встревоженные разговорами об осиповском терроре, пытались вмешаться и предотвратить покушение. Кажется, Буковский попробовал напоить его и в пьяном виде загипнотизировать, чтобы под гипнозом узнать правду: будет покушение или нет? Когда Осипов понял, что происходит, он жутко возмутился, и у него произошло крупное объяснение с Галанско-

вым, которого он справедливо считал главой анти-террористической фракции. Это был их последний разговор. Через день Осипова арестовали, а когда он с зоны вышел, Галансков уже сидел.

Осипов любил Галанскова... У Владимира есть немного детская черта: он преклоняется перед славой своих знакомых и личных друзей, романтизирует их и возвышает. Но Галанскову все равно принадлежит особая жилка в его сердце. Ибо Галансков был поэтом... И потому Осипову неприятно рассказывать, что их последняя встреча состояла из взаимных упреков. Но тут уже теперь ничего не поправишь.

А потом — через день, кажется, — Осипова взяли гебисты. Он подробно описывал мне, как это случилось: утром, на улице, по дороге в школу — описывал, в каком месте, чертил план, где стояла их машина, сколько их было. Увезли его в милицию, там дожидались официального ордера на арест, и опять ему повезло: отпустили в туалет, и он успел до обыска уничтожить программные записи, находившиеся в кармане. Повезли обыскивать домой, и как раз в это время приехала в его девятиметровую комнату мать, и на ее глазах несколько часов подряд шел обыск, а она плакала, объясняла гебистам, какой у нее хороший сын и как она всем-всем обязана советской власти, которая дала ей образование...

— Володя, моя мама тоже говорила следователю, что только советская власть сделала ее образованной.

— Далось им это образование! — прорычал вполголоса Осипов...

...Потом отвезли в тюрьму: в следственный изолятор на Лубянке, знаменитую тюрьму, описанную Солженицыным в «Круге первом». Осипов оказался одним из ее последних заключенных: при нем она закрылась<sup>14</sup>, и его перевели в прославленное Лефортово... Там же, на Лубянке, прошли его первые допросы. Сначала предъявили показания Сенчагова. Они оказа-

лись составлены следующим образом: «Я, Сенчагов, и т. п., ходил на площадь Маяковского, где встретил молодых людей, среди них много наших, советских парней, которые любят нашу советскую власть, только немножко отклоняются в области литературы и искусства. Это Галансков, Хаустов и другие. Но среди этой, в основном советской молодежи, оказалось несколько негодяев-антисоветчиков, ведущих активную организационную и подрывную работу и готовивших покушение на дорогого вождя Н. С. Хрущева: Осипов, Кузнецов и Иванов. Перед лицом такого чудовищного преступления я не могу молчать...» Осипов яростно отрицал всё, тогда ему стали задавать такие вопросы, что он понял: следствию известно много больше, чем мог знать Сенчагов. Он не выдержал: «Несите показания Иванова». Следователь сладко улыбнулся и предъявил их. Иванов-Скуратов с потрохами заложил всех своих товарищей, вовлеченных им же в дело о терроре. Он назвал, выдал даже Ременцова, о котором никто из них, тем более Сенчагов, ничего не знал. Это было в полном смысле слова «всё как есть, ну, прямо всё как есть». Сопrotивляться было бессмысленно.

— Володя, а как же ты после такого продолжал с ним сотрудничать, как сделал его членом редакции «Вече»? — обалдел я.

— Я из лагеря написал его родителям, упрекал их: я за него же выступал, а он меня предал! Получил от них ответ: Володя, дорогой, как вы можете в чем-то упрекать нашего сына? Вы знаете — он психически больной человек, зачем же вы завели с ним какие-то серьезные дела? Разве можно в делах полагаться на больного человека? И я подумал: а ведь верно, на себя надо сердиться — и прошла злость, годы все-таки это длилось... Остыл.

— Ну, а он сам, когда встретились, что он-то сказал?

— Меня же и обвинил. Ты, говорил, знал, что я — дурак\*, мои показания юридически ничего не стоят, зачем их подтверждал?

Да-а-а... Поразило меня больше всего то, что Володя, *будто оправдываясь*, комментировал атаку Иванова: «Откуда же я знал, что он «дурак»? В первый раз признали дураком, а во второй могли не признать!» Как будто всё дело заключалось в формальной стороне — действительными будут показания для суда или нет?.. В любом случае показания Иванова давали следствию истинную, скрытую от посторонних картину происшедшего, и при любом исходе дела для самого Иванова (будет он признан виновным или сумасшедшим), показания его были бы *тайно* предъявлены судьям и определили их решение...

То, что Осипов возобновил с ним впоследствии отношения, по-своему характерно: я уже упоминал, что люди его типа исторически ищут рядом с собой идеолога и сознательно отдают ему первое место в деле. Иванов, первый человек с оригинальным мировоззрением, встреченный Осиповым в жизни, обладающий хлестким пером, к тому же обязанный Владимиру очень многим (а Осипов благодарен тем, кому сделал добро), на годы оставался для него в деле номером первым — несмотря на предательство. Была в этом «всепрощении», в этой обычно вовсе несвоейственной Осипову моральной снисходительности к Иванову еще одна черта. Черта, свойственная не ему персонально, но социальному направлению, которое он возглавлял и представлял, — русскому монархонационализму. Об этом я вспомню ниже, когда речь пойдет о журнале «Вече».

---

\* Напоминаю, что на лагерном жаргоне «дураками» зовут психически больных людей.

## 9. КОГДА ИЩУТ БОГА?

Следствие для Осипова прошло очень тяжело. Страшно сидеть, ничего не успев совершить и не оставив никакого следа. Страшно сидеть, когда предан другом. Но Осипов вдобавок сидел в дни XXII съезда КПСС, когда, казалось, Хрущев перестал колебаться, как кусок в проруби, между «глуповским либерализмом» и сталинизмом и снова взял курс на разоблачение Сталина. Быть обвиненным в покушении на жизнь деятеля, который ведет нужную и правильную в твоих же глазах политику — тяжело для мыслящего политзаключенного. Это ломало Осипова.

А когда человеку невыносимо тяжело, он ищет опоры в том, что незримо живет в душе и просыпается в часы ухода от суеты, — в Боге. Владимир, воспитанный в советском духе, воспринимал Бога только как воплощение слабости человеческой. И ему, человеку сильному и гордому, невыносимо трудно было признать Бога — все равно что отречься от себя.

— Помню: в камере решил перекреститься. А рука тяжелая, будто двухпудовую гирию держу — не поднимается. Еле поднес ее ко лбу, к плечам и уронил, обессилел.

Так начался его возврат к вере.

Потом настал суд.

— Приговор был зверский, — рассказывал Осипов. — Мне и Кузнецову 7 лет строгого режима, предел по статье (ссылку тогда никому не давали); Бокштейн получил 5 лет. Зверский — потому что судили нас за одни намерения: за намерение создать партию, за намерение выпустить листовки или убить Хрущева. Ничего ведь не сделали — и за это дали максимум срока по статье! После приговора Лена Титова (она потом повесилась в эмиграции, в Париже) прорвалась к нам и вручила каждому по букету цветов. Знаешь, единственное, о чем в своей жизни сожалею, един-

ственное пятно, которого стыжусь, — что, пытаюсь спастись, признал себя виновным...

Почти все свидетели дали против нас «откровенные показания». Тогда такое было на всех процессах. Единственное исключение — Ира<sup>15</sup>...

Тут Володя назвал фамилию свидетельницы — я забыл ее.

— ...девушка, хозяйка одной квартиры, где проводились совещания. Человек, совершенно посторонний в наших делах, случайная в компании, знакомая кого-то из знакомых. Все, кто совещался на ее квартире, дали показания. Ей в случае откровенности ничего не угрожало — она ни в чем не была замешана, — но молчала. Вызывали в ГБ, просили, грозили — нет, и всё! Ничего и никого не видела, ничего не помню. Такое удивительное было тогда явление... Все семь лет первого моего срока первый тост, чаем, мы поднимали за двоих — за декабриста Цебрикова, единственного по делу 14 декабря, кто не дал показаний на товарищей, и за нашу Иру. Я, кончив срок, разыскал ее, хотел поблагодарить: она открыла дверь, сразу узнала — а ведь мы были знакомы один вечер и прошло с него 8 лет, — побелела и сказала: «Я не знаю вас, уходите, пожалуйста». Я ушел.

...Слушая Владимира, я думал, как изменились времена... Всего 15 лет спустя после их процесса уникам стал свидетель, который дает «откровенные» показания, — вроде Петрова-Агатова! В этой детали, может быть, не оцененной самим Осиповым, — мерка медленного, но неотвратимого выздоровления общества от падения и подлостей социалистических времен.

#### *10. РЕЖИМ БЫЛ МЯГЧЕ...*

«Подельники» были отправлены в Мордовию, в «Дубровлаг». Осипов попал на 17-ю зону, где после

него побывали Гинзбург и Даниэль, Ронкин и Галансков, Чорновил и Стус, Болонкин и Дымшиц (и аз, многогрешный)...

В его пору там сидело до тысячи мужчин<sup>16</sup> (а когда она закрывалась, при мне, оставалось всего 38 человек! Остальных перевезли подальше на север, в Пермские лагеря). Да еще напротив находилось женское политическое отделение... Глухих трехметровых заборов со спиральями Бруно еще не существовало, стояли обыкновенные кольца с рядами колючей проволоки. Можно было видеть зазонное пространство, включая линию горизонта, и даже вддали обитателей женской зоны.

— ...вообще тогда режим был много мягче, — сравнивал Осипов. — И с продуктами много легче нынешнего, а в карцер на ночь разрешали брать бушлаты, укрываться. Да и нары имелись, лежали мы не на полу. Никто не карал за политзанятия. Выстояли первый раз, получили свои сутки ШИЗО за прогул политзанятий, всё — теперь мы вроде «в законе», до конца срока имеем право не ходить\*. Одно тогда требовали в зоне всерьез — норму; остальное начальство не трогало. Когда освобождался, все мои бумаги, все конспекты отдали, до листочка — тогда в голову не приходило, что могут не отдать, как сейчас. Да я с зоны мог всё, что хочешь, хоть целую книгу передать — только это казалось ненужным. Попадались среди начальников сволочи, один угрожал: «Вы должны научиться смотреть в землю перед советским человеком» (он так называл надзирателей), но в целом было... ленивее, что ли? Дни шли, недели, месяцы, годы — нас не трогали. Иногда вдруг вроде проснутся, куснут — и опять успокоятся. Сейчас в зонах времени ни на что

---

\* К моменту нашего разговора демократ Сергей Солдатов за отказ посещать политзанятия получил восьмое (!) взыскание подряд, восьмое лишение права закупать продукты в лагерном ларьке (это право возобновляется ежемесячно).

не хватает, каждую минуту выкраиваешь для себя, а тогда, бывало, сидим на скамеечках и рассуждаем: вот годы проходят и пропадают, ничего не делается...

На этап нас повезли втроем, и на потьминской пересылке у Эдика Кузнецова завязался роман «через проволоку» с Аделью Найденович: ему всегда везло на женщин... Адель была красивой, черноглазой, тогда еще студенткой — она получила 5 лет за хранение книги, кажется, Милована Джиласа: выдал товарищ, который дал книгу на хранение<sup>17</sup>. Тяжело ей доставался лагерь. С Эдиком они потом и в зоне ухитрялись переписываться...

Здорово мне помог лагерный друг, Виктор Авлев, помнишь, на суде которого я побывал... Он встретил на вахте и ввел в ритм зоны.

Рассказы Осипова о семи годах, проведенных в зоне, настолько обильны и разнообразны, что здесь я могу привести лишь несколько разрозненных новелл — нет ни времени писать подробно, ни «объема» для переправы: я и так почти исчерпал лимит посылки. Вот первая из отобранных новелл.

### *НОВЕЛЛА О ТОМ, КАК ПЕРЕЛОМИЛАСЬ МОЯ ЖИЗНЬ*

... Первые месяцы в зоне стали временем выучки в национальном вопросе. Раньше я над ним не задумывался. Но в лагере сталкивался постоянно с бестактным расчесыванием национальных язв на виду у всех, с постоянными оскорблениями националов в адрес русского народа. Особенно усердствовали евреи и украинцы. Осмеянию подвергалось всё: наше происхождение, наши традиции, вера, культура, даже наш язык. Спорить с ними было бессмысленно: они не искали истины, они жаждали оскорблений. Теперь я понимаю, что часто они даже не имели намерения оскорблять, просто были бестактными... Я понял это поз-

же, когда однажды услышал от евреев обвинения в антисемитизме «Вече», причем цитировались такие места, где у меня, как у редактора, и мысли не возникало об антисемитизме данного автора. А евреи, оказывается, ощущали это, болезненно чувствительно. И, наверно, были правы они... Но точно так же бестактно некоторые из них вели себя по отношению к нам, русским — тогда, в зоне. Кончилось тем, что русские перестали разговаривать с евреями!

Сейчас совсем другая обстановка, но, скажу честно, если бы моя партия увидела меня в гостях у Пэнсона на еврейскую пасху, меня бы повесили. А уж если бы увидели евреев, которые приходят к нам в гости на христианскую пасху...

Через несколько месяцев после этапа вызвали меня в штаб и прочли новый приговор. Оказывается, по протесту прокурора состоялся пересмотр нашего дела в надзорном порядке...

К моменту моего разговора-интервью с Осиповым я уже знал, что такое «пересмотр дела в надзорном порядке». После окончания суда, после утверждения приговора в «окончательном и не подлежащем изменению виде» советское судопроизводство предусматривает такую процедуру: прокурор требует пересмотра дела «по вновь открывшимся обстоятельствам»<sup>18</sup>. Собирается суд, на котором должна присутствовать лишь *одна* сторона — обвинение, т. е. прокурор. Ни адвоката, ни самого обвиняемого уже нет, и обязательность их присутствия не предусмотрена законом. Более того: ни адвокат, ни обвиняемый могут *ничего не знать* о том, что где-то происходит новый суд взамен происшедшего при открытых дверях. Публика, естественно, на это заседание тоже не допускается. И, согласно советскому закону, в заседании могут вынести новый приговор, причем, в отличие от кассационного суда, этот секретный приговор может *увеличить* меру наказания вплоть до смертной казни! Пре-

делом является только предел наказания за данное преступление согласно статье уголовного кодекса.

Обвиняемому сообщается приговор, когда тот уже вынесен — в качестве совершившегося факта!

— Нам, мне и Кузнецову, сроков не добавили — мы уже и так имели предел по статье. Но что сделал суд — изменил строгий режим на особый...

К сведению читателей: разница между строгим и особым режимом — громадная. Например, на особом режиме заключенный весь день проводит запертым в камере, у него в два раза меньше свиданий и дозволенных писем, в полтора раза меньше продуктов, чем на строгом, — и все это не на месяц, не на год, а на семь и более лет (я не слыхал, чтобы на «спецу» сидели с меньшими сроками).

— Быстро набрал несколько чемоданов продуктов: на этапе конвоиры помогали тащить. Не свое вез, конечно. Литовцы услышали, что есть этап на «спец», и передали продукты для земляков. Много я привез тогда Паулайтису\*.

На спецу голодно было. Помню, кто-то завыл из камеры на часового: «Жрать хочу! Жрать хочу!» — как волк на луну. А тот в ответ: «А я откуда тебе возьму!»

Сблизился я там с одним эстонцем. Твердый был человек... Потом-то он подал помиловку, я сильно удивлялся, мне такое во сне не могло прийти в голову. И с ним произошел разговор, который перевернул всю жизнь.

Рассказывал он про финскую войну — как смотрелась она с той, другой стороны фронта. Описывал с упоением, как гнали русских солдат на финские пулеметы, как раскалялись у финнов стволы, так, что кожа

---

\* Паулайтис Пятрас, литовский богослов и дипломат, отбывающий в Мордовии 33-й год из своего 35-летнего срока за участие в литовском национально-освободительном движении (он был редактором подпольной газеты). [Прим. 1980 г.]

на ладонях у пулеметчиков сгорала, а какой-то идиот всё гнал и гнал русских волнами, и они ложились на снег, пока перед траншеями не выросли холмы из русских трупов. Всю ночь после того рассказа я не спал. Думал — хорошо, все сочувствуют финнам, они — жертвы агрессии, они защищают родину, герои и мученики, ну, а кто же подумает о русских, о тех, кто легли в снег? Ведь они тоже люди, и тоже жертвы, и с ними обращались безжалостнее и беспощаднее, чем с финнами. Плохие они или хорошие, за правое дело или за ложное, они — мой народ! Другого мне Бог не дал! И я буду с ними до конца, я буду защищать своих до конца, всеми силами, которые Бог вложил в мою грудь. Я — русский и буду с русскими и за русских. С той ночи я перестал быть демократом и стал русским патриотом.

...Зачем нас этапировали тогда на «спец»?

Не знаю. Было жаркое, страшное лето, засуха, всё вокруг горело — леса и даже болота, надзиратели непрерывно предупреждали — расстрел, расстрел в случае побега, потом стали в открытую говорить: последние деньки доживаете, скоро весь спец расстреляем. В «Правде» появилась статья «Об усилении борьбы с преступностью», ходили слухи, верные или нет, что в условиях засухи и провала хрущевских планов в сельском хозяйстве возникла идея показать твердую руку, «твердую власть», и начнут эту твердость с массового расстрела лагерей особого режима. Чтобы напугать остальное население. Мы считали, что чья-то услужливая голова приняла решение: такие ужасные террористы, хотевшие убить Хрущева, должны быть расстреляны, и потому-то нас передали на «спец». Говорили и другое, вроде этот расстрел задумали заговорщики, они уже готовили переворот и надеялись, что расстрел заключенных станет новым ударом по авторитету Никиты. Одно сообщали в голос: расстрел отменил лично Хрущев, когда подготовленный доку-

мент уже лежал у него на столе. Если это верно, то после отмены расстрела исчезал всякий смысл в нашем пребывании на спецу, и через 7 месяцев нас вернули на строгий режим.

Формально это произошло так: адвокаты подняли в Москве шум — почему суд вынес нам особый режим? В законе сказано предельно ясно: на особый режим помещаются либо рецидивисты, либо — по первой судимости — только помилованные 15-ю годами смертники. Но мы все были с первой судимостью и не смертники. Суд собрался в третий раз и вынес приговор — третий. Якобы вообще он, суд, имеет право в *особых случаях* отправлять на спец не рецидивистов или смертников, а кого посчитает нужным! Но в данном казусе таких особых обстоятельств у суда нет, и потому следует вернуть нас на строгий режим обратно. То есть «вообще» суд имеет право нарушать закон, но в данном случае в нарушении не возникало нужды, а потому рекомендовано поступать по закону... Так нас и вернули.

*НОВЕЛЛА ВТОРАЯ, РАССКАЗАННАЯ ВЛАДИМИРОМ  
ОСИПОВЫМ В КУРИЛКЕ СБОРОЧНОГО ЦЕХА:  
ОДНОФАМИЛЬЦЫ*

Дважды мне довелось встретить в зоне однофамильцев.

С первым познакомился через лагерную многотиражку. Прочел заметку, где эков призывали трудиться на благо социализма и для строительства коммунизма. Подписано: «Осипов В.» и номер моего отряда. Я написал в редакцию, мне ответили, что вышла ошибка, подписал Осипов, но из другой зоны, из другого отряда, — однофамилец. Потребовал исправления — на меня наорали. Тогда я дождался общелагерного собрания, когда вручали награды и премии за

перевыполнение плана. В президиуме сидела вся сучня и торжественно слушала приказ о своих наградах. И тут я выскочил и закричал, что в газете написана ложь, что я ничего туда не писал, что это подлая провокация и я протестую против использования своего имени в этом подлом листке, что мое имя этим испачкано! Кричу, а сам внутренне ждался: жду — сейчас набросятся менты, закрутят руки, потащат в ПКТ! Ничего похожего: прокричался, сошел, а они с того же места, на котором я их прервал, продолжают бубнить приказ. Будто ничего не случилось! Я в первый раз столкнулся с таким невозмутимым бесстыдством.

А в следующем номере газеты появилась маленькая поправочка, что Осипов В. — из отряда номер такой-то... Не опровержение, а просто справка — другой номер отряда. Я потом этого Осипова встретил на этапе: ничтожный человечиска, присылал после освобождения благодарственное письмо отряднику в зону.

А второй однофамилец, Осипов, оказался учителем из-под Ленинграда. Записывал в дневник разные мысли о политике. Случайно дневник попал в руки кого-то из знакомых, тот донес в ГБ, и Осипов отсидел 10 лет от звонка до звонка за дневник — я сам читал приговор. Вот какие случаи происходили в либеральные хрущевские времена.

*НОВЕЛЛА ТРЕТЬЯ: РАССКАЗАНА ВЛАДИМИРОМ  
НИКОЛАЕВИЧЕМ ОСИПОВЫМ ПОСЛЕ СМЕНЫ НА ГРУДЕ  
ДОСОК ВОЗЛЕ РАСКРОЙНОГО ЦЕХА ЗОНЫ 385/19.  
ФАЙНЕР-ЗАЙЦЕВ*

Сидел у нас в отряде пожилой еврей по фамилии Файнер, который упорно хотел, чтобы его называли русским и Зайцевым. Срывал бирку с кровати, отказывался носить нашивку «Файнер»: «Я — Зайцев!» — насмерть! Ларька его лишали, в ШИЗО сажали: «Я —

Зайцев!» Был он с идеологическими претензиями: однажды гуляли с Бокштейном, он подошел к нам и начал читать составленную им программу восстановления России. И неглупая оказалась программа, я даже удивился, как вдруг подходит он, скажем, к подпункту № 7 пункта № 19 под заглавием: «Положение евреев в России». Помялся он, покряхтел, глядя на Бокштейна, потом решил — прочел. Еврейский план Файнера таков: все евреи России делятся на три категории. Те, кто хочет, уезжают в Израиль. Кто желает ассимилироваться, получают русские паспорта. Кто не хочет ни уезжать, ни ассимилироваться, выселяются в три портовых города: Ленинград, Одессу и Владивосток...

(Тут слушатели Осипова захохотали, и сам он улыбнулся.)

— Не дурак Файнер-Зайцев, — фыркнул Лысенко. — На таких условиях каждый захочет стать евреем.

— Сумасшедший, — махнул узкой ладонью Пэнсон. — Разве нормальный человек захочет стать Зайцевым, когда у него такая красивая фамилия — Файнер...)

... Уже кончил я срок, работаю в александровской пожарке, издаю «Вече». Вдруг на дежурстве говорят: тебя спрашивает кто-то. Выхожу — Файнер-Зайцев! Обшарпанный, голодный, но весь светится.

— Устин Гаврилович, — спрашиваю, — вы ко мне?

(— Ах, он еще и Устин Гаврилович, — ехидно комментирует Пэнсон.)

«...явился, отвечает, в полное ваше распоряжение, Владимир Николаевич! Делайте со мной, что надо — хочу помогать 'Вече'». Мне люди были нужны, я его тут же, в пожарке, оставил ночевать, подкормил, приспособил к делу. Печатал он «Вече». Потом разочаровался. Журнал был культурного направления, а ему хотелось ввязаться в политическое мероприятие.

Всё жаловался: не хватает нам, Владимир Николаевич, боевитости. И ушел куда-то — искать боевитость. Потом дошли слухи, что гебисты упекли его в дурдом. А когда я уже сидел во Владимирском изоляторе, прочитал приложенную к делу справку: свидетель Файнер-Зайцев не дал показаний ввиду внезапной смерти в спецпсихбольнице. Что там случилось — Бог знает. Жалко его. Пожилой, а такой самоотверженный. Смешной, конечно, но ведь себя не жалел нисколько. Я его всегда поминаю добром.

*НОВЕЛЛА ЧЕТВЕРТАЯ: О ДВУХ РЕНЕГАТАХ И ВАЛЕНТИНЕ  
ЦЕХМИСТЕР-МАШКОВОЙ-ОСИПОВОЙ, РАССКАЗАННАЯ  
ВОЗЛЕ СТЕНДА С ГАЗЕТНЫМИ ВЫРЕЗКАМИ*

В выходной день я заметил Осипова возле стенда, где одноногий лагерный библиотечарь прикреплял гвоздиками вырезки «воспитательного характера» из советских газет. Как правило, это отчеты о судебных процессах над военными преступниками. Заметки кончаются по стандарту: «Собравшиеся в зале суда с одобрением встретили смертный приговор». Последние годы «вышки» идут конвейером... По словам военных, такое количество казней приводилось в исполнение только в свежий послевоенный период. Ренессанс смертей «старички» объясняют весьма прозаическими соображениями: «Старые мы стали, на воле нас оставлять — так пенсию платить надо, в зоны сажать — так уж работать не можем, нас и списывают»...

Может, они правильно понимают?

Что мог найти Осипов на таком стенде?

Подхожу. Большие вырезки из нескольких газетных полос — воспоминания некоего Евг. Дивнича: в предисловии сказано, что с довоенных лет Дивнич работал председателем основной партии русской эмиграции — «Национально-трудового Союза» (НТС)...

— ...я знал его по зоне, — кивнул Владимир на стенд.

— Вместе сидели?

— Нет, он освободился раньше. А при мне приезжал с гебистами в зоны ссучивать заключенных. Ходил по зоне свободно, без гебистов, выступал по лагерному радио, интересно выступал, много приличнее обычного гебистского уровня. Запомнился он портфелем — тем удовольствием, с которым его носил. Знаешь, есть люди от природы способные, но всё готовые отдать за портфель — даже не за деньги, а вот именно за возможность ходить с большим портфелем. Помню, как он уговаривал подать помиловку моего тогдашнего друга Славку Репникова — подло уговаривал, даже гебисты не бывают такими низкими людьми. Помню, как прохаживался по зоне с Овчинниковым, и тот вскоре подал помиловку...

Кто Овчинников? А ты не помнишь в 58-м году огромное, чуть не на целую полосу в «Известиях» интервью с бывшим сотрудником вражеских радиостанций Иваном Григорьевичем Овчинниковым? О нем тогда шумели. Фотография — Иван Григорьевич сидит перед микрофонами в центре, среди двух гебистов, с усиками и галстуком. Интервью в Восточном Берлине, всё, что положено по инструкции: как сделал преступную ошибку, бежав на Запад из советских оккупационных войск в Германии, как убедился, что Запад прогнил, и решил вернуться на советскую родину. Снова выбрал свободу — на этот раз настоящую. Стандартный кал! Потом, оказывается, Иван-Григорьяча в почетном купе довели до Бреста, где с поезда сняли, отвезли в камеру местного изолятора и зачитали там смертный приговор, вынесенный заочно и подлежащий исполнению в случае его появления в пределах СССР. Тут-то Иван Григорьевич горько пожалел о своей доверчивости и о гнилом Западе, пронизанном евреями, и после обморока спросил: нельзя

ли что-нибудь сделать для смягчения участи? Объяснили: можно. Дайте самый обширные и искренние показания о тех учреждениях, в которых служили на Западе. Он постарался, и «вышак» ему милостиво заменили 15-ю годами. Отбыл он немного, лет 7 или 8, и после бесед с Дивничем вышел на свободу по помиловке. Я потому так подробно о нем рассказываю, что он сыграл жуткую роль в жизни моей жены Валентины, в девичестве Цехмистер. Помнишь, шла по делу Машкова?

Первый срок она не отсидела полностью. Была такая мини-амнистия в начале 60-х годов: по помиловкам Президиума Верховного Совета, сделанным по инициативе администрации, вышли тогда несколько человек. Пименов, Трофимов, ну и Валентина тоже. Она, кстати, объясняла эту «милость» в какой-то степени своими заявлениями, которыми бомбардировала власти из Владимирской крытки: что вы делаете, у вас сидят молодые люди, которые пошли дорогой XX съезда, и теперь, после XXII съезда, когда КПСС решила продолжить линию антисталинизма, какой же смысл их держать в зоне? Я вполне допускаю, что из этих призывов что-то до кого-то дошло — потому и амнистия... Власти, в общем, оказались правы: большинство освобожденных в зоны не вернулось. Убеждения у них остались, конечно, прежними, но от активной борьбы практически отошли...

Отбыв первые пять лет, Валя вернулась на родину — в станицу на Северном Кавказе. Милосердный директор школы принял ее учительницей: началась деревенская жизнь, с темными вечерами, без единого близкого человека рядом — родители ничего не понимали в духовных поисках дочери. Жизнь без будущего. Вдруг через несколько лет появляется в станице освободившийся из заключения Юрий Машков, руководитель их группы. До этой встречи между ними были чисто товарищеские отношения, но, когда он появился

в деревне, как луч света в темном колодце, очень скоро встал вопрос о браке.

Продолжался этот брак несколько месяцев и, по воспоминаниям Вали, был страшно несчастным — для нее. В зоне Машков из социал-демократа стал русским патриотом, — Владимир Николаевич смущенно улыбнулся. — ...убеждения у него были очень хорошие, а вот употреблял он их ужасно. Валю он буквально терроризировал «Домостроем» — внушал, что это старая русская книга, в которой объясняется, какой должна быть жена — вот и стань такой! Раскроет Валентина томик Гегеля, он вырывает книгу из рук: в «Домострое» не сказано, что жене позволено читать философию. Из таких инцидентов состояла семейная жизнь с утра до вечера. Валентина, бедная, до сих пор с ужасом вспоминает «Домострой»: как-то я при ней похвалил эту книгу, она задрожала, зарыдала: «Господи, неужели опять, снова! Неужели 'Домострой'?» Надо вдобавок знать ее характер — она женщина гордая и самостоятельная, подчиняться способна только в условиях свободы. Мечтала, чтобы муж ее бросил, сама оставить его не могла — на верности, на долге замешана.

Жили они в Подмосковье, у Машкова, и повадилась к ним в гости приятель Машкова по зоне, Иван Григорьевич Овчинников. И в каждый приезд восхвалял европейские прелести, как он там счастливо жил и какой дурень, что оттуда свалил. Загорелся Машков идеей побега — вместе, конечно, с Иван-Григорьичем. Тот, разумеется, всегда готов. Валя согласилась бежать, в дело втащили и двоюродного брата Машкова, молодого парня. Накануне отъезда заводила Иван-Григорьич вдруг отказался: стар и так далее... Втроем они отправились на Дальний Восток. Увидели вдали на рейде японское судно, разделись, запрятали одежду и поплыли. Плыть далеко, брат Машкова вдруг закричал, что ему свело ноги... Машков, не обращая

внимания, упорно плыл к японскому судну. Валентина пожалела родственника, крикнула, что тоже тонет, тогда Машков повернул обратно. Доплыли до берега, нашли одежду, спокойно вернулись в Подмоскowie — никто их на берегу не засек. И снова стал похаживать дорогой друг Иван-Григорьевич и петь дифирамбы той Европе, которую он заливал грязью с известинской полосы. Машков вторично вместе с Валентиной сделал попытку пересечь границу — на этот раз в Финляндии. Их задержал погранпост. На следствии в Ленинграде Валентина, уже беременная, держалась исключительно стойко — отрицала всё. В сущности, у начальства не было никаких доказательств, но раскололся Машков. Причем признал не только факт умысла на переход границы, но и то, что Валя знала об этом. Зачем он ее топил — есть у меня свои соображения... Но и он отрицал политические мотивы перехода границы, т. е. измену родине. В худшем варианте, им грозило по три года лагерей общего режима. Однако у ГБ нашелся свой козырь: в город на Неве, в гостиницу «Астория», украшенный своим милым галстуком — он у Овчинникова все равно, что портфель у Дивнича, — приехал за счет славных питерских чекистов Иван Григорьевич, известный «патриот». Стал похаживать в Большой Дом, рассказал об их первой попытке, на Дальнем Востоке, и привезли в следизолятор нового заключенного — брата Машкова. Потом договорился до того этот опытный зэк, что однажды и сам не вернулся в «Асторию» — переселился в камеру в качестве подельника...

Но у ГБ все еще не было доказательств «антисоветских мотивов» перехода. А без них дело Машковых и К<sup>о</sup> не обещало «навара» следователю. Разница между простым переходом границы (до 3-х лет) и переходом по политическим мотивам (до расстрела) ощутима не только подсудимым, но и следователем: за раскрытие «измены» почти наверняка светит новая

звездочка на погонах. И в одно воскресенье, в выходной для следствия день, разыгралась в кабинете на Литейном 4, трогательная сценка: следователь, пренебрегши законным отдыхом, принялся объяснять Иван-Григорьичу, что он, следователь, стар, это его последнее дело, и теперь от Иван-Григорьича всецело зависит его жизнь. Помогите мне, посочувствуйте, откровенно, Иван Григорьевич, и никакой лжи, одну правду, скажите, что они — антисоветчики, разве я неправ, разве я прошу вас лгать или на кого-то клеветать, и сделаете вы меня, Иван Григорьевич, своим должником на всю жизнь, а уж я найду возможность отблагодарить вас. Дрогнуло отзывчивое сердце Овчинникова, и признал он антисоветские настроения Машкова и его жены Вали. Самое удивительное, что об этом соглашении со следователем он сам рассказал Вале на очной ставке, а когда она пробовала укорять его, он отрезал ей, беременной женщине: вы, Валентина, должны знать свое женское место и не братья рассуждать о том, чего вам, как женщине, не дано от Бога понять!

Приговор им вынесли такой жуткий, что даже кассационная инстанция, которая никогда не снижает сроки по политическим статьям, на этот раз смутилась: Верховный суд срезал сроки почти на треть — Вале с 10 лет до 6. Слишком постарались несчастный следователь и по его совету ленинградский суд, так что даже советский Верховный суд не выдержал... Валентина моя отсидела в два захода 11 лет.

---

К моменту нашего разговора я уже знал продолжение истории Валентины Цехмистер-Машковой: она не смогла простить мужа, дрогнувшего в ГБ, — жизнь с человеком, давшим на нее, мать его ребенка, показания следователю, казалась ей морально недостойной. Отбыв свои 6 лет, она взяла развод и уехала опять на

Северный Кавказ к родителям, которые воспитывали ее «тюремную» дочку. Однажды туда заехал Владимир Осипов — адрес Валентины ему дал кто-то из лагерных друзей как адрес верного человека, который может стать помощником в издании и распространении начинавшегося «Вече»: Владимир Николаевич сколачивал всероссийский журнальный актив... Они полюбили друг друга с первого взгляда, и Осипов как-то признался: «Я ждал ее всю жизнь».

Так этот эпизод был написан в первом варианте рукописи, который читал в зоне Осипов и одобрил его. Но... пока велись переговоры о переправке, в лагерь пришли новые сведения: Юрий Машков окончил срок и оказался на воле... Смущенно запинаясь, Владимир Николаевич однажды попросил меня: «Если будешь это печатать, не ругай Машкова: он сейчас на Западе и ведет себя вполне прилично».

Конечно, я бы выполнил эту просьбу Осипова — кому судить, что из его воспоминаний годится для печати, а что нет, кроме него самого! — если бы... если бы еще раньше он не рассказал мне один случай.

1975 год. Осипов арестован по делу «Вече». И вот на одном из допросов ему показывают поступившее в ГБ заявление из лагеря от Юрия Машкова: «Владимир Осипов арестован! Наконец-то...» — и далее грязные, доносные, подлые строки, характеризующие — пусть ненавистного соперника, но все-таки товарища по убеждениям, единомышленника. Про Валентину ее бывший муж написал в ГБ, что она — психически нездорова в силу своей религиозности. Учитывая психическое здоровье профессора Лунца, это был вполне понятный намек для рыцарей Феликса Дзержинского и Юрия Андропова<sup>19</sup>.

Выше я обещал разъяснить мои соображения, почему Владимир Осипов, человек высокоморальный и высокомужественный, бывает столь снисходителен к аморальности своих товарищей по «партии». Слиш-

ком часто, по-моему, он был вынужден горькими обстоятельствами принимать помощь из рук беспринципных по своей внутренней сути людей, которые по каким-то личным причинам считали нужным рядиться в модную идеологическую одежду — «русский патриотизм».

Приходилось ему пожимать руки людям, которые предавали ранее его самого или других товарищей, — по нужде: ибо лучших *перьев*, лучших литераторов не смог обнаружить в своем войске. Выхода не было — не нашел иных средств, иных сил.

Мне кажется, что здесь проявилась определенная неоформленность, незрелость, непоследовательность идеологии, которая написана на транспарантах «патриотов» и которая допускает в ряды своих приверженцев людей, чуждых вообще честному поиску правды или свободному изъявлению жизненной позиции. Я надеюсь, что национальная идеология русского движения созреет, выстроится в систему, очистится от скверны. Скажу честно, в этих надеждах я пристрастен: будучи большим приверженцем своего народа, я не могу не сочувствовать националистам другого народа, который испытывает угнетение самое страшное и самое скрытное, — как рак! Но в возрождение русской идеологии я поверю только в том случае, если она начнется с размежевания с теми, кто писал в ГБ грязные бумажки на товарищей. Нельзя делать чистое дело руками, запачканными гебистскими грязными рукопожатиями.

Вот почему я не исполнил просьбы Владимира Осипова и написал здесь то, что я написал.

## 11. ЛИТЕРАТУРА ДОЛЖНА СТАТЬ КОЛЕСИКОМ, ВИНТИКОМ...

Много новелл рассказал мне Владимир Осипов о людях, с которыми сидел первый срок. О поэте Соко-

лове, которого считал первым поэтом ГУЛага (цитировал его жутковатые, хотя сильные, выпукло четкие стихи). Об Андрее Синявском — интересно оценивал его Владимир Николаевич. Я уже поминал где-то, что ему свойственно преклоняться перед товарищами, добившимися знаменитости (очень детская и даже какая-то милая черта в политике-ветеране) — и это преклонение распространялось безусловно на Абрама Терца. Но одновременно он испуганно-настороженно оценивал язвительно-беспощадный зрачок автора «Города Любимова»:

— Ух, какие у него страшные стеклышки в глазах, как многое он видит в исковерканном ракурсе...

Кстати, это общее свойство почти всех лагерных политиков — они начисто не понимают автономности искусства от политики, не понимают, что «кошка гуляла сама по себе». Свободе они поклоняются, но литература, она должна стать служанкой партии свободы, она должна стать колесиком, винтиком какого-то, только, конечно, не «пролетарского» дела. Все-таки в чем-то антисоветские политики должны остаться советскими людьми — в такой они колыбели выросли! Заметно, что политики в зоне почти не читают художественной литературы (хотя каждая свободная минута тратится на чтение). Она их не особенно интересует. Поэтому насчет литературы они оставляют в пользовании привычные со школы взгляды, только вместо «пролетарской» называется какая-нибудь другая партия, способная использовать литературу на ролях бонны при невоспитанном народе.

...Планы на волю им задумывались большие. Издание «Вече» — минимум.

— Я не скрывал от товарищей, что буду издавать журнал, — рассказывал он. — Но над этим едва ли не смеялись. Что журнал! Ерунда, игрушки. Особенно двое моих товарищей... Если прочитают, они себя узнают. Я никого не осуждаю, что ушли в част-

ную жизнь, — это их право, но зачем заранее обещать иное? Зачем хвалиться? Ведь такая похвальба может подействовать на других, другие поверят им, и что с ними будет...

В этой фразе: «Зачем обещать, если не сделать» — тоже характер Владимира Николаевича Осипова.

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Очень верно, но лишь относительно студенческой молодежи. Национальные окраины в избытке поставляли националистов всех мастей — без всяких ссылок на марксизм. (Более того — активисты русского национализма по преимуществу вышли из лагерей, поварившись в одном котле с националистами окраин, понабравшись от них кое-чего, услышав впервые многое нелицеприятное и часто несправедливое в адрес русских...) И еще — всегда (всегда!) сидящих за веру было очень много.

2. Судили 9 человек, дали троим по 10 лет, троим по 8, двоим по 6.

3. Авдееву дали 6 лет.

4. Юрист Анатолий Иванов.

5. Бокштейна арестовали не ранее августа 1961 года.

6. Наш митинг был назначен на 14 апреля — если не ошибаюсь, это день самоубийства Маяковского. Именно на 14 же апреля, поскольку это была то ли суббота, то ли воскресенье (скорее суббота), власти наметили и всенародное празднество в связи с полетом Гагарина. В последний момент, когда стало ясно, что наш митинг отменить не удалось, мы выработали — наспех, разумеется, на ходу — лозунг, который должен был явно и неявно стать стержнем нашего поведения на площади Маяковского в этот вечер: «Гагарину — ура! Маяковскому — трижды!» Именно потому меня и схватили (см. далее) дружинники из отряда ООН — созданного и опекаемого КГБ Отряда Особого Назначения для борьбы с антисоветской активностью на площади Маяковского. Возглавлял этот отряд какой-то

комсомольский вожак по имени Эдик, с армянской внешностью и армянской же фамилией, которую я запомнил. Я был схвачен, когда в одной из кучек любопытствующих разглагольствовал на тему, что систему характеризуют не столько космические успехи, сколько самоубийства и убийства поэтов...

7. То или иное, даже самое косвенное, употребление слова «вождь» по отношению к кому-либо из тех, чьим легальным полем активности была пл. Маяковского, — существенное искажение духа явления. Такое понятие применимо лишь по отношению к его (Осипова) «вечеровому» периоду, в начале же 60-х годов можно говорить лишь о лидерстве, даже не столько о «первенстве среди равных», сколько о «равенстве среди первых».

8. «Скуратовым» он стал лишь лет через 12, а тогда он был просто «Новогодним», так как появился в Москве после больницы под Новый 1960 год.

9. В Муром для сбора информации ездили Сенчагов и я, в Александров — Осипов и я.

10. Волокли как раз меня.

11. Днем, в Измайловском парке. Состав: Иванов-Новогодний, Осипов, Хаустов, Сенчагов и аз грешный. Предательство Сенчагова несомненно, а провокаторство под вопросом. Относительно Мельниковой и то, и другое под большим вопросом — если говорить о периоде с 1961 по 1970 год. О последующем десятилетии я судить не берусь, поскольку был далеко от Москвы. Есть масса прямых и косвенных свидетелей ее честности в тот период, когда я ее знал. Не отрицая роли агентов ГБ, не стоит преуменьшать значимость других щелей утечки информации, таких, как собственная неопытность и растяпистость, неизбежность — при вербовке и агитации — общения с множеством случайных людей, не умеющих и не желающих держать язык за зубами... Нет ничего легче, чем списывать все свои провалы на агентуру ГБ — тип сознания, рождающий по тому же принципу монстров: агентов сатаны, всепроникающих сионистов, масонов... Мне представляется безосновательной попытка из взбалмошной, пустоватой С. Мельниковой творить Мату Хару.

12. Не совсем так. Мною и человеком, чье имя я не могу назвать, был исследован один из наиболее часто используемых прави-

тельственными машинами маршрутов (Ленинградский проспект), а также нам удалось найти человека, в доме которого хранилась винтовка, и достичь с ним предварительной договоренности о заимствовании этой винтовки — разумеется, без посвящения его в наши планы.

13. Говорить стали уже после того, как отказались от террористических намерений: старинный спор о нужности и возможности террора. Впрочем, в этих спорах допускались туманные намеки на то, что для кое-кого из нас это не академическая болтовня, а вопрос выбора практического пути...

14. По слухам, следственный отдел перевели окончательно в Лефортово или в самом конце 1962, или в начале 1963 года. Во всяком случае, после нас на Лубянке еще сидели В. Балашов, А. Мурженко и Ю. Федоров.

15. Ира Мотобрицева — за отказ от показаний была исключена из МГУ.

16. Не более 500, но зато одни «болтуны», т. е. осужденные за агитацию. Все остальные «государственные преступники» содержались в мордовских лагерях №№ 1, 3, 7, 10, 11 и 19. В июне 1962 года начальство признало эксперимент неудачным (малый процент стукачей, в отличие от лагерей, где большинство бывших фашистских коллаборантов; массовый отказ от работы; дух сопротивления...), временно ликвидировало лагерь № 17, разбросав его обитателей по другим лагерям.

17. Выдал ее А. Голиков (не путать с А. Голиковым из Ленинграда, осужденным по делу Трофимова), дали ей 4 года.

18. Это было не через несколько месяцев, а почти через полтора года (в июле 1963 г.), что существенно меняет картину, так как прокуратура имеет право на опротестование приговора «в порядке надзора» лишь в течение года с момента оглашения решения кассационного суда.

19. Осипову, как и всем политзаключенным, отлично известно, что Ю. Машков был доносчиком, начиная — по меньшей мере — с 1960 года. Но доносил он — открыто! — на евреев, утверждая,

что это не грех: бороться с мировым еврейским заговором руками ЧК. Ныне проживающие в Израиле Ю. Меклер и Б. Подольский подтверждают отнюдь не платонический характер антисемитизма Машкова, каковой не помешало ему воспользоваться израильской визой для эмиграции в США. [От редакции: Рукопись вместе с примечаниями Кузнецова уже лежала у нас, ожидая, когда будет собран весь материал к номеру. Пришло известие о смерти Юрия Машкова — в разговоре с нами Кузнецов заколебался: надо ли оставлять это примечание? не убрать ли из текста Хейфеца посвященный Машкову фрагмент? Вопрос трудный. И все-таки мы решили не следовать старинному правилу «о мертвых либо хорошо, либо ничего». Во-первых, нами руководит желание сохранить историю в ее конкретных деталях. Во-вторых, уже слышны попытки создать вокруг покойного Машкова ореол «непризнанного героя», затравленного и замолчанного на Западе какими-то неназванными, но явно «темными» силами. Написанное Хейфецем и Кузнецовым не ставило целью опровергнуть этот ореол — когда оно писалось, Машков был жив, и никто не мог предположить, что из него станут создавать мученика. Мы берем на себя ответственность не подвергнуть цензуре эти печальные, обидные, но правдивые высказывания.]

*Э. Кузнецов*

*(Окончание следует)*

ХЕЙФЕЦ Михаил — родился в 1934 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский педагогический институт имени Герцена. Автор нескольких книг и статей по истории революционного движения в России. В апреле 1974 года был арестован за публикацию в самиздате предисловия к собранию сочинений Иосифа Бродского. Приговорен к четырем годам заключения с последующей двухгодичной ссылкой. Отбыв полный срок, эмигрировал. Живет в Израиле.

## Восточноевропейский диалог

Иржи Ледерер

### ПОЧЕМУ МНЕ ВСЕ-ТАКИ ПРИШЛОСЬ ПОКИНУТЬ РОДИНУ

В июле 1969-го, когда я был в последний раз в Мюнхене, один чех, мой близкий друг, просил меня не возвращаться и обещал сделать все возможное, чтобы и Эля, моя жена, ожидавшая тогда ребенка, могла приехать в Мюнхен. Он предостерегал, что на родине меня ожидает только преследование и тюрьма. Мне же и в голову не приходило покинуть Чехословакию. Я был убежден, что мой единственный человеческий и гражданский долг — вернуться туда и, несмотря на весьма ограниченные возможности, продолжать бороться за то, что мы считали справедливым.

Ровно через полгода, день в день, после этого дружеского разговора я был впервые арестован и два месяца провел в тюрьме. Это случилось в январе 1970-го. Двумя годами позже я был вновь арестован — и опять в январе. Тут уж я отсидел год. Прошло еще пять лет, и после провозглашения Хартии-77 я был снова арестован — и тоже в январе. На этот раз я провел по тюрьмам три года. Эти три январских ареста выглядят для меня мстью за январь 1968-го, когда началась серьезная политическая борьба за демократизацию нашей страны, завершившаяся вторжением советских войск в августе того же года.

После последнего ареста я написал жене из тюрьмы письмо о том, что размышляю над выездом из Чехословакии, чтобы ни ей, ни моей дочери Монике, которая тогда училась в первом классе, не переживать

боль и горечь разбитой семьи и чтобы я сам имел возможность написать все те книги, замысел которых был у меня еще до ареста. Это письмо было запущено в качестве зонда: как госбезопасность отреагирует на мое сообщение жене. Одновременно я опасался, что меня насильно вывезут из тюрьмы за пределы Чехословакии. Но они вообще не реагировали. Только несколько раз просили написать жене, чтобы она вела себя спокойнее, менее воинственно, иначе вышлют ее в Польшу (моя жена — полька).

Весной 1978 года президент ЧССР и партийный вождь д-р Гусак посетил Западную Германию. Мне в тюрьме удалось узнать, что лидеры немецких политических партий в разговоре с ним выступили в мою защиту. Через несколько дней после возвращения Гусака в Прагу ко мне, в Оставскую тюрьму, приехали два представителя МВД: Новачек, которого там называли «товарищ начальник», и Чермак, должности которого я не знаю до сих пор. (Не знаю, подлинные ли это их имена, — среди гебистов весьма принято использовать «псевдонимы».) Они вновь и вновь открыто предупреждали меня, что моя жена будет арестована, если немедленно не прекратит подрывную антигосударственную деятельность, а дочку тогда отправят в детский дом. Потом они сообщили, что заинтересованы в моем освобождении, которое могло бы состояться примерно в течение шести недель, если я выполню одно из трех их «пожеланий»:

— либо сделать публичное заявление. Характер заявления следовал из их замечания: «После такого заявления все ваши друзья отвернутся от вас»;

— либо обещать сотрудничать с госбезопасностью и в этом случае сохранить все свои дружеские отношения;

— либо вместе с семьей покинуть Чехословакию.

Все эти унижительные требования я отверг и зая-

вил, что предпочитаю сидеть от звонка до звонка. Мне оставалось еще около 20 месяцев срока.

Представители МВД приезжали еще не раз, и разговоры шли уже только о выезде.

В конце ноября 1978 г. я сказал им, что, в конце-то концов, есть одна страна, куда я согласен выехать. Лица их засияли победно-радостными улыбками. Мы могли бы уехать в Польшу, продолжал я, на родину моей жены, которую и я считаю своей второй родиной. Они приподнято отвечали, что и то уже хорошо, что мы до чего-то договорились, но, конечно, конкретного ответа не могут мне дать, сообщат о моих словах наверху, в министерстве, и вскоре вернутся с ответом. Мне было прямо смешно, как они кинулись на мою внезапную идею, бессмысленную и неприемлемую с точки зрения как их профессии, так и политической власти: вообразима ли политическая эмиграция из одной социалистической страны в другую? Их же забота — заставить эмигрировать куда бы то ни было на Запад. Дней через десять в камеру пришел поручик, мой опер:

— Ледерер, мне поручено вам сообщить, что о Польше и говорить не приходится. Что это значит — я не знаю, передаю то, что мне было сказано.

В декабре 1978-го я предпринял новую попытку во время свидания с женой, сыном и дочерью (я имел право на один час свидания раз в полгода). Я сказал им, что согласен говорить о выезде на Запад, но с некоторыми условиями. Я спросил жену, позволяет ли она мне вести эти переговоры, решающие судьбу всей семьи. Жена ответила, что сообщит мне об этом через несколько дней. Еще до Рождества я получил от нее телеграмму, дающую мне полное право на любые переговоры.

Затем потихоньку начала раскручиваться министерская машина. Была создана группа сотрудников МВД, которые должны были встретиться со мной в первой

половине января 1979-го. Я по-прежнему терпеливо монтировал сифонные пробки — три с половиной тысячи в день, ровно норму. По-прежнему терпеливо штудировал разные книги из тюремной библиотеки и по-прежнему терпеливо записывал все, что над ними продумал. Январь перевалил за середину — никто ко мне не явился. Я был по-настоящему спокоен: оставался уже неполный год тюрьмы. Прошел и февраль, кончился март. Жене я мог писать раз в две недели. В конце марта я написал, что отказываюсь от того, что сказал ей в декабре, поскольку никто не собирается вести со мной переговоры. Письмо это было конфисковано. Разумеется, мне не сказали, что из-за этого сообщения. Придумали, будто я нарушил правила переписки, рассказав жене свой сон, в котором участвовали некоторые официальные лица сегодняшней Чехословакии.

Но тут же следом произошло нечто, достойное внимания. Во вторник после Пасхи меня взяли из камеры и отвели вниз, в канцелярию начальника тюрьмы. Там сидел человек в очках, которого я никогда раньше не видел. Он был один. На столе лежала пачка английских сигарет. Он предложил мне сесть и, обращаясь ко мне «пан Ледерер», объявил, что у него единственный вопрос: собираюсь я или не собираюсь выехать из Чехословакии. Ничего другого, только самый краткий ответ — да или нет. Не подготовленный к этому, я принялся излагать долгую историю проблемы, закончив ее так:

— Если меня освободят до 1 мая, т. е. в течение двух недель, следовательно, если я в этот срок вернусь к жене и дочери, я согласен говорить о нашем выезде.

Он вскочил, сказав, что этого ответа ему достаточно. Что он немедленно информирует свое министерство *иностраннных дел* — и предложил мне английскую сигарету, видимо, чтобы я поверил, что он, действи-

тельно, из МИДа, а не из МВД. Прощаясь со мной, он предложил со всеми проблемами, касающимися выезда, обращаться к начальнику тюрьмы. Когда «мой» поручик отводил меня в мое особое отделение, строго изолированное от всей тюрьмы, я сказал, чтобы он договорился о моей немедленной встрече с начальником, и после обеда уже был на приеме. Начальник предложил изложить ему мое представление об освобождении в форме письма, содержащего все мои требования. Я написал — и снова все затихло. В первом же письме жене после 1 мая, даты моего ультиматума, я сообщил, что тут происходило, и заявил, что больше не согласен вести переговоры с кем бы то ни было, с какими бы предложениями ко мне ни являлись. Так что пусть она спокойно рассчитывает на то, что я остаюсь в тюрьме до последнего дня срока. В конце мая начальник сказал мне в разговоре, что ничего не знает о моем деле и что никто ни о чем его не информировал. Я ответил, что теперь уже все равно, поскольку я потерял всякий интерес к разговорам о выезде.

Короче говоря, попытка выйти из тюрьмы, а потом, уже дома, тянуть игру, ставя трудно выполнимые условия выезда, — не удалась. С другой же стороны, я, конечно, все сильнее осознавал, что у них есть против меня уникальное оружие — польское гражданство моей жены. И что раньше или позже они это оружие пустят в ход, чтобы выставить нас из Чехословакии.

В январе 1980 г. я вернулся домой. Через месяц, вечером, пришли двое полицейских, в форме и при оружии, и приказали мне идти с ними. Я не мог понять, что происходит, но для верности попрощался с женой и дочкой. Обе они вели себя замечательно, не проявили внешне ни печали, ни страха. Но только за мной закрылась дверь, как Моника упала на пол, истерически крича, что больше не хочет здесь жить, что

хочет жить с мамой и с папой вместе, что *их* никогда не хочет видеть, что *их* ненавидит. И безумно рыдала. Произошло то, что уже несколько раз повторялось за эти три года. Когда она бывала на свидании в тюрьме, перед *ними* никогда не показывала, что грустит и безмерно жаждет, чтобы наша семья была вместе. Но стоило ей выйти из тюремных ворот, как она принималась плакать и кричать: «Хочу папу!». А когда мама объясняла ей, что я скоро вернусь и опять будем все втроем, Моника отвечала: «А я хочу папу сейчас, прямо сейчас, как у всех подружек. Я не хочу его только воображать, не хочу с ним разговаривать понарошку, хочу, чтобы он был здесь и чтобы мы с ним смеялись».

Меня отвезли в районный участок, посадили в охраняемом коридоре и велели ждать, пока не вызовут. Ничего другого мне и не оставалось: бежать было некуда. Минут через двадцать пришли трое: знакомые мне по остравским разговорам начальник Новачек и Чермак и третий, представившийся майором Янским (жена мне потом сказала, что хорошо его знает: он у нас делал обыск, когда я был в тюрьме, и допрашивал ее). Майор Янский начал разговор резко: они, мол, внимательно следят за мной весь месяц после освобождения, активность моя такова, что они могли бы немедленно арестовать меня за «подрыв республики», поскольку я развиваю широкую антигосударственную деятельность. Далее, что они меня серьезно предупреждают и что как минимум подвергнут уголовному преследованию за тунеядство, если в самое ближайшее время я не найду «штатное» место (это значило бы, в лучшем случае, идти в чернорабочие). Предупреждение занесли в протокол и хотели, чтобы я подписал, что принимаю его к сведению. Я отказался, сказав, что *не* принимаю предупреждения к сведению, — разве что напишу, что протокол читал. В конце концов, они этим удовлетворились и прибавили, что

это мне не поможет, поскольку их трое, а я один. В заключение произнесли передо мной политическую лекцию: головой, мол, я прочную стенку социализма не пробью, а если бы оставил их в покое, то и сам жил бы спокойно, посвятив себя своей прекрасной семье.

С тех пор пан Чермак являлся ко мне примерно раз в десять дней. В каждом разговоре повторялся один и тот же вопрос, не думаю ли я о выезде из Чехословакии. Я отвечал стереотипно:

— Я, видите ли, обо всем думаю, у меня такая привычка.

Потом он спрашивал, нашел ли я уже работу. Чтобы отвязались, я говорил, что ищу. Даже, мол, уже договариваюсь с одним пражским кладбищем, где, вероятно, буду ухаживать за могилами и поливать цветы. Он отвечал, что это замечательная работа: свежий воздух и полный покой. Я так ни на какую работу и не пошел.

Это продолжалось до июня. Я столкнулся с паном Чермаком на тротуаре перед нашим районным участком. Опять раздался стандартный вопрос и прозвучал мой стандартный ответ. Но тут пан Чермак открыл свой портфель и, вынув оттуда, вручил мне какие-то бумаги. Это, сказал он, анкеты на выезд. Когда я заметил, что не просил об этом, он возразил, что мне следовало бы поразмыслить. Потом пошел разговор о разных вещах, и наконец пан Чермак высказал кульминационный аргумент всех этих долгих разговоров. Мне, сказал он, надо бы не забывать, что моя жена, иностранная подданная, имеет вид на жительство в Чехословакии только до 15 июля сего года. И что, как я хорошо знаю, чехословацкое государство не обязано продлевать ей вид на жительство, тем более, когда речь идет о человеке, враждебно относящемся к режиму. Так что, если до середины июля

я не подам заявления о выезде, жене придется уезжать в Польшу. К этому он прибавил памятные слова:

— Пан Ледерер, социалистическая Чехословакия выполняет все международные соглашения о правах человека, но вы же сами знаете, что, когда семья разлучена, ее воссоединение занимает четыре-пять лет. Этого вам ни на минуту нельзя забывать. У вас ведь маленькая дочка.

Он улыбался мне, словно говоря: «Видите, теперь мы вас зажали в кулак, а отнюдь не наоборот».

Так началась последняя, самая бурная глава нашей жизни в Чехословакии, в стране, которая была и до смерти останется родимой моею родиной.

\* \* \*

Когда я пришел домой с насильно врученными мне анкетами на выезд, сели мы с женой и принялись все взвешивать, в особенности месяцы после моего освобождения, после 13 января. Было начало июня, дочка была в школе. О ней-то мы больше всего и думали.

Моника ходила в четвертый класс, ей шел одиннадцатый год, и за ее короткую жизнь я уже трижды побывал в заключении. В сумме она больше четырех лет прожила только с матерью, без отца. Пережила два обыска — пражской квартиры и деревенского домика, на которые к нам привалило по семь-девять полицейских. Были уже в ее жизни и долгие часы, прожитые без мамы, вызванной на допрос. Полицейские заслоны вокруг деревенского домика вошли для нее в повседневность. Однажды полицейские встретили ее в деревне и спросили, где живут Ледереры. Она ответила: «Не знаю», — и бегом пустилась к маме, чтоб предупредить ее раньше, чем они приедут. В память ей врезались дни и ночи около 21 августа 1978 года, десятой годовщины советского вторжения. Тогда она

вернулась с матерью от друзей в домик, наполненный газами. Через дыру, провернутую в оконной раме, было напущено огромное количество отвратительно вонючего вещества — прошло почти два года, а запах все не выветривался, хотя жена постоянно устраивала сквозняки и несколько раз перекрашивала домик. Вслед за газовой атакой полицейские машины обложили деревушку, где жило-то всего человек 70, в основном — стариков. Днем и ночью машины гоняли по деревенским улочкам с включенными фарами. Одна машина патрулировала возле нашего дома, всю ночь целясь мощными прожекторами в окошки. В один из тех дней полицейские отвезли жену и дочку в областной центр, в Млади Болеслав. Жену допрашивали в участке в присутствии дочки, кричали на нее, угрожали, что посадят за тунеядство и подрывную деятельность. Дорога к Дубравичке (так называлась наша деревушка) была загорожена двумя полицейскими машинами, и каждого, кто подъезжал или подходил, выезжал или выходил, останавливали для проверки документов. В деревню не впускали никого, кто там не жил, боясь, что это гости моей семьи. Дочка знала, что такое тюрьма, несколько раз была на свиданиях со мной, и всегда это было долго не утихавшее переживание. Все это не могло не оставить следов на ее нервах и психике. Конечно, мы знали, что одновременным следствием такого преждевременного жизненного опыта бывает ускоренное умственное развитие.

Об этом мы с женой думали, размышляя над полицейской угрозой высылки жены из Чехословакии, если я не подам на выезд. Мы не имели права недооценивать эту угрозу, а из-за дочки не имели и сил попытаться проверить серьезность ее. Мы знали, что *они* способны на всё. Мы представляли, какой шок это был бы для девочки, если бы она вдруг потеряла маму и осталась бы только со мной. Этим мы рисковать

не могли — это могло бы повести уже к необратимым последствиям для детской психики. Так мы и решились на выезд. Из друзей нас никто не упрекал — наоборот, каждый говорил, что мы должны уезжать. Труднее было — как сказать об этом Монике? Эту задачу взяла на себя жена. Мы были поражены, как легко приняла она это известие. Да вот только ошиблись...

Тут началось многонедельное путешествие по учреждениям, чтобы собрать все документы, которые я должен был приложить к заявлению о выезде. Надо было сфотографироваться, получить выписку из реестра отбытия наказания, на что потребовалось несколько поездок через всю Прагу. Несколько дней я потратил на то, чтобы получить согласие военного управления. Должен был раздобыть подтверждение финансового отдела исполкома о том, что я подписал отказ от всех претензий в отношении чехословацкого государства, — практически это означало отказ от пенсии. Довольно легко было получить подтверждение Чешской государственной сберкассы, что я ничего не должен никакому денежному учреждению. И так же без труда — от Управления имущественных и валютных дел, что оно не имеет ничего против моего выезда; от районного финансового управления, что я уплатил все налоги и подати. И наконец я должен был приложить бумажку жилищного кооператива, что не задолжал квартплаты.

Кроме того, нам надо было продать наш деревенский домишко, а кооперативную квартиру — продать моему сыну Алешу и его жене.

Собрав все документы, я подал заявление о выезде. Это было 17 июля. Мы рассчитывали, что выедем 15 сентября. Эту же дату я назвал в одном разговоре представителю МВД, который ничего на это не возразил. Жена пошла в польское консульство спросить, что она должна делать, чтобы выехать вместе

со мной в Германию. Поляки ответили, что у них ей ничего оформлять не надо, поскольку ее иностранный паспорт действителен для всех стран. Но — пусть зайдет в паспортный отдел чехословацкого МВД. Незадолго до этого ей неожиданно продлили право жительства до июля 1981 года. Правда, пан Чермак при этом сказал мне, что оно в любой момент может быть отнято, чем нас отнюдь не поразил: мы слишком хорошо знаем, что чехословацкие учреждения, особенно полицейские, могут распоряжаться нашими судьбами, как им вздумается. 24 июля жена пошла в паспортный отдел спросить, что должна она оформить, чтобы выехать со мной. Не разобравшаяся сначала чиновница ответила ей длинным перечнем документов, которые надо принести, — практически все то, что я собирал полуторамесячными мытарствами. Жена возмутилась — тут чиновница обнаружила, что перед ней супруга Ледерера. «Минуточку!» — и вышла в соседнюю комнату. Вернувшись, она попросила жену оставить паспорт и подождать в коридоре. Минут через десять жену вызвали и вернули паспорт, в котором аннулировали разрешение на жительство, вложив выездную визу в ФРГ, действительную на три недели, т. е. до 17 августа. Так что пан Чермак оказался прав... Жена получила то, о чем вообще не просила, притом с рекордной скоростью — за 10 минут, при обычном сроке ожидания в несколько недель. Так же точно и ответ на мое заявление о выезде, которого обычно ждут месяца три, был получен через неделю — хотя за два дня до этого я получил от начальника паспортного отдела письмо, где он уведомлял, что просьба моя — дело чересчур сложное, на решение которого уйдет особенно много времени.

Мы с женой знали, что это начало последней атаки на наши нервы. Ясно было, что за три недели мы не сумеем сделать все необходимое для выезда, т. е. собрать все вещи и оформить их вывоз со всеми та-

моженными процедурами. Дней за пять до 17 августа мы пошли в паспортный отдел просить о продлении срока пребывания жены. Полтора часа мы ждали, пока начальник нас примет: видимо, он связывался с министерством, чтоб узнать, как с нами обращаться. Он объяснил нам, что на таможне и в Чехофракте (общество по перевозке движимости) все улажено, так что мы легко можем выехать 17 августа. Я ответил, что это неправда, и доказал это. Он попросил позвонить через два дня. Я позвонил, сказав, что выезд в этот срок невозможен. Мне ответили, что, раз уж мы не выезжаем, пусть придем 18 августа. Восемнадцатого другой начальник дал нам новый срок — 27 августа: якобы на эту дату все улажено и на таможне, и в Чехофракте. И мы с женой день и ночь писали списки всех вещей, которые будем отправлять и брать с собой в Германию. Особенно много труда пришлось на книги. Надо было включить в список каждую книгу: автор, заглавие, год издания. И все это в трех экземплярах. Три раза по семьдесят страниц. Мы должны были составить отдельный список всего, что повезем в автомобиле, вплоть до вещей, которые будут на нас. Каждый носовой платок должен был фигурировать в списке. Успеть все это до 27 августа было не по силам. И снова мы пошли в паспортный отдел просить продления права пребывания для жены — оно уже было недействительно, они его и в прошлый раз не продлили. Не продлили и теперь. Только еще раз сказали, чтоб 27-го мы обязательно выехали.

21 августа, в двенадцатую годовщину советского вторжения, кто-то позвонил в наше парадное. Сняв трубку внутреннего телефона, я узнал, что внизу меня ждет майор ГБ Янский. Я спустился: Янский стоял там еще с одним, по фамилии Бенда. Я тут же на них раскричался: чего они ко мне привязались, я ими сыт по горло. Они вели себя мирно, просили не волноваться, а выслушать. Они пришли сообщить мне оконча-

тельное решение: «Вы должны выехать 27 августа, а не выедете — отправим вашу жену под конвоем на немецкую границу».

На довольно людной улице началась резкая перебранка. Я кричал, что меня вовсе не увлекает этапирование моей жены и что со мной этот номер не пройдет. Майор отвечал, улыбаясь, что они со мной сладят, а на то, что я напишу, им начхать. Я ответил, что все это бесчеловечно, тем более, что у меня больная дочь. Моника, действительно, посреди всего этого сумасшедшего дома заболела, температурила, и врачи ничего не могли понять. Несмотря на жар в 40°, организм ее оставался здоровым, но сбить температуру не удавалось ничем. Врачи беспомощно пожимали плечами и говорили, что, вероятно, тут какие-то нервные причины. Нам-то было ясно: Моника переживала ужас при мысли о маминой высылке и о том, что нас с ней потом оставят тут одних. Майор Янский выслушал мои причитания и ответил, что должен доложить по начальству, а потом еще раз придет сказать мне, что и как.

В понедельник 25 августа пришел один пан Бенда. Сообщил, что решение о 27 августа неизменно и что *наверху* на нем настаивают. Я уже устал от споров, но все-таки взвился и твердо перешел в наступление, заявив, что все это чепуха, что через два дня мы просто не будем готовы и что я остаюсь при первоначальной дате — 15 сентября. Опять произошел резкий обмен мнениями, после которого я сказал, что предлагаю компромисс, что эта изнурительная волокита бессмысленна и что мы уже хотим, чтобы все было позади. Поэтому, сказал я, мы готовы отказаться от первоначальной даты и согласны выехать в понедельник 1 сентября — пусть улаживает это *наверху*. А еще, прибавил я, если вы ко мне не придете, я буду считать, что компромиссный срок принят. Никто не пришел...

Во вторник 26 августа я пошел на таможенню с пачками списков вывозимых вещей. Обычно все вывозимое оценивает судебный эксперт, и это процедура на несколько недель. Но тут таможня получила приказ от госбезопасности сделать все в течение одного дня, так что таможенникам ничего другого не оставалось, как попросить меня самого оценить все вещи. Я прикидывал цену каждой вещи на глазок, но так честно, что таможенники в некоторых случаях сами снижали мою «прикидку». В четверг и пятницу у нас были упаковщики из Чехофрахта. В пятницу все наши вещи были отвезены, и мы, измученные, остались посреди пустой, замусоренной квартиры. В субботу 30 августа мой лучший друг отвез меня в мои родные края под Орлицкими горами — проститься с местами моего рождения и детства. Жена осталась с больной Моникой. Ночь с субботы на воскресенье мы всей семьей в последний раз провели в домике в любимой Дубравичке. Многие жители деревни пришли попрощаться с нами. Утром в воскресенье мы покинули Дубравичку, провожаемые слезами милых нам людей. По пути в Прагу мы заехали проститься с некоторыми дорогими друзьями. Под вечер был прощальный ужин. Двадцать пять самых близких друзей сидели с нами в ресторане, откуда открывался сказочный вид на овеянную традициями столицу Чехии.

И еще друзья провели с нами последний вечер в Чехословакии, а это значило — еще слезы. В понедельник 1 сентября утром мы наконец выехали. Ехали мы на своей машине, но вел ее мой друг, потому что ни у меня, ни у жены уже полгода не было прав: в феврале к нам в дом ворвались полицейские и отобрали права... Так-то вот мы выбрались в последнее путешествие по чешской земле. За нами — три машины с друзьями.

За несколько километров до границы мы натолкнулись на железный шлагбаум со сторожевой будкой

и с неизбежной колючей проволокой по обе стороны. Подъехало нас туда четырнадцать человек — четыре машины. У всех наших друзей забрали документы. Нам приказали проезжать. Открыли мы термос с кофе, выпили все, обнялись: «До свиданья!» (Только мы уехали, кусты зашевелились, из укрытия вышли товарищи в штатском и вооруженные стражи границ и приказали нашим оставшимся немедленно покинуть запретную зону.)

Я сел за руль и без водительских прав повез свою семью к последнему заграждению и к таможене. У Моники ручьем текли слезы, она все спрашивала: «Мы еще в Чехословакии? Еще? Еще?» А потом наступил последний момент — перед зданием таможи, откуда уже видна была страна, которой предстояло стать нашим новым домом. Все вещи из автомобиля мы должны были вынести на скамейки перед зданием. Началась долгая, на два с половиной часа, проверка. Каждую вещь прощупывали, все, что было написанного, отнесли в здание. Сорвали пломбы на сундуках, навешенные пражскими таможенниками, — чтобы затянуть контроль. Наконец нам сказали войти в здание. Сначала завели в отдельную комнату жену и дочку, раздели догола и провели самый детальный обыск. Самый детальный — одиннадцатилетней девочке! Потом обыскали меня.

Когда все было кончено, мы сели в машину — два таможенника и два офицера-пограничника выстроились в шеренгу, отдали честь и сказали «Счастливого пути!» Я поблагодарил... Мы отъезжали молча. С каждым метром приближалась немецкая таможня. Там меня встретил пограничный полицейский, спросил, Ледерер ли я. Поздоровался, шлепнул печати на наши документы, улыбался — все было готово за несколько секунд. Потом сказал, что нас тут ждали наши друзья Пахманы и журналисты. Ждали часов пять — не дождались и уехали. Я был рад, что никого нет: мне

было бы трудно говорить. В Пассау на улице нас ждал Людек Пахман — мы обнялись и заплясали прямо на улице. А потом поехали. Куда? Домой?..

ЛЕДЕРЕР Иржи — родился в чешской деревне Квазины в 1922 году. После войны становится членом социал-демократической партии и работает журналистом в ее печатных органах. В партии принадлежит к левому крылу, защищает тесное сотрудничество с коммунистами, но после февраля 1948 г., став членом КПЧ (с которой социал-демократы были принудительно «объединены»), занимает критическую позицию. Исключенный из Союза журналистов, он до 1954 г. работает фрезеровщиком, затем возвращается в журналистику, становится заведующим отделом культуры в газете «Вечерняя Прага», но в 1958-м уволен за положительную рецензию на официально разруганный роман Йосефа Шкворецкого. На короткое время его берут работать на радио, но после публикации неудобной властям статьи в «Литерарних новинах» он снова оказывается без постоянной работы. В 1968 г. становится редактором журнала «Репортер» — вплоть до закрытия журнала в 1969-м; постоянно сотрудничает в газете «Литерарни Листы». После советского вторжения был одним из самых активных членов Координационного комитета творческих союзов и в январе 1970-го оказался одним из первых арестованных. Вскоре освобожден из следственной тюрьмы, но следствие не прекратилось. Приговоренный в 1972 году к двум годам, Ледерер освобожден через год с пятилетним испытательным сроком. Арестован вновь в январе 1977 г., сразу вслед за провозглашением Хартии-77, отсидел три года, эмигрировал. Живет в ФРГ.

# Запад — Восток

Зигмар Фауст

## ПО ЭТУ СТОРОНУ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

1 сентября 1976 г., в Международный день мира, который празднуют в ГДР, меня неожиданно выкинули на Запад, не дав мне ни как следует попрощаться, ни собрать свою библиотеку, рукописи и личные вещи. К 8-ми часам вечера я прибыл на главный вокзал Франкфурта-на-Майне, впитывая первые впечатления от «капитализма». Полиция направила меня на ночевку в Дом «Каритаса». Швейцар, молодой парень, с привычной легкостью препроводил меня в подвал. Первое, что мне бросилось в глаза в спальном помещении, — то же постельное белье в сине-белую клетку, как в крытке. У меня, видимо, был такой несчастный вид, что один из торчавших там внизу обитателей сразу стал меня утешать:

— Слушай, парень, ну, не начинай сразу ныть! На первый случай у тебя крыша над головой и какая-никакая постель. И десять монет на карманные расходы завтра тоже получишь. Ты что, боишься ребят из соц-обеспечения? Что да — то да, они вечно навязывают человеку работу. Но когда запахнет жареным, можно и смыться.

Вот как, оказывается, обстоят дела, удивленно подумал я. О сети социального обеспечения в Федеративной республике я никогда ничего не слышал. В восточной зоне просто никто бы не поверил, что даже тех, кто ни за что не хочет работать, не только не сажают за «тунеядство» (в ГДР по закону право на труд неразрывно связано с обязанностью трудиться), но,

наоборот, они здесь получают какое-то минимальное обеспечение, и специально обученные социальные работники помогают их адаптации в обществе.

На следующее утро я очутился в кабинете такого социального работника, столь же бородатого, как я, моего возраста. Первое, о чем он, с явным удивлением, спросил меня, это — как меня угораздило покинуть такую передовую в социальном аспекте страну, как ГДР? Скоро я буду иметь случай убедиться, сколь убога здешняя социальная система. Ирония? Нет, этот человек представился мне как социалист, он говорил совершенно серьезно. «Каритас» — разве это не католическая организация?

Боже мой, как далеки нынче все эти первоначальные проблемы! Теперь, через четыре года, я сижу на балконе в Западном Берлине, на Диффенбахштрассе, под утренним солнцем ранней осени. Я не собираюсь состариться на этой улице. Разве я знаю, что мне еще предстоит? Я мог бы рассказать о крошечных деталях моей частной немецкой истории, с моей крошечно-субъективной точки зрения. Вряд ли я рассказал бы что-нибудь новое, даже если бы бесстыдно вывернулся наизнанку. Сегодня уже невозможно изречь что-либо такое, о чем критики сказали бы: «Он написал то, о чем другие даже не смеют подумать».

Во мне ли дело или это у Берлина нет уже никакой отдачи? Или был прав несимпатичный мне редактор «Шпигеля» Метке, когда еще в 1976 г. настоятельно советовал мне уехать из Берлина, ибо у Берлина нет будущего? Я б остался из одного духа противоречия! В этом городе я узнаю все мои собственные хорошие и дурные черты и приветствую сам себя в Западном Берлине. Случайно, как всё на свете, я поселился именно здесь. Тогда, в приемном лагере для переселенцев в Гиссене, я должен был сказать, в какой земле Федеративной республики я хотел бы поселиться. К счастью, ко мне приехал туда мой друг, дрезденский земляк,

обосновавшийся тем временем во Фрайбурге, в Брайзгау. Он дал мне совет пройти все переселенческие процедуры в Берлине, так как берлинские организации лучше прочих понимают наше положение. К тому же, все мы получаем там на много месяцев больничный лист от психиатра д-ра Хампеля, также беженца из восточной зоны.

Итак, даешь Берлин! Из Франкфурта впервые в самолете, да еще над маревом того государства, которое когда-то полностью, со всеми потрохами, владело мной. Когда мы приземлились в Тегеле, то по неопытности я никак не мог отстегнуть ремень. В компенсацию за эту столь уязвившую меня неприятность я поехал в переселенческий лагерь Мариенфельде с шиком, на такси. Все ж таки в Гиссене я уже получил 150 марок на первые расходы.

На долгие дни, ах, на целые месяцы я погряз в бюрократическом болоте, я чувствовал себя как человек, стоящий по шею в воде. Мне трудно было заполнить простейшую анкету. Я не понимал канцелярского языка, и у меня просто не хватало терпения прочесть мелкий шрифт. Меня прошибал пот, когда я читал инструкции о беженцах из советской зоны и должен был указать, где я находился 1 августа 1938 г. Следовало ли мне каждый раз писать, что я родился только в 1944-м? Больничный лист, выписанный мне в заключение д-ром Хампелем, я воспринял как наивысшую справедливость. Меньше всего досаждали мне наблюдательные органы союзников, так как их интересовали, собственно, только военные объекты на Востоке, а поскольку я никогда не служил в армии, меня быстро спрашивали.

В первые вечера я попытался покорить город: одиноко, наивно, по-детски я прокучивал свои гроши. Скоро я оказался на мели. Правда, я все же приобрел джинсовый костюм и пару уцененных ковбойских сапог, так что, наконец, исполнилась долгожданная

мечта всей моей жизни. Поздно исполнившимся мечтам всегда присущ элемент смешного. Теперь-то об этом легко говорить, а тогда, на какой-то уикенд, у меня не осталось даже 80 пфеннигов на электричку, чтобы вернуться с Йоркштрассе в Мариенфельде. Понятно, я попытался проехать зайцем. Я прошел торопливой походкой мимо окошечка кассы, но дама-кассирша не проглядела меня, она крикнула, чтобы я вернулся, я сделал вид, что не слышу, но тогда в длинном туннеле раздался такой пронзительный свист, что я срочно выбежал под проливной дождь. На следующий день я вспомнил о великодушном предложении Гюнтера Грасса, сделанном мне когда-то в Восточном Берлине, на квартире Бирмана. Если я когда-нибудь все-таки окажусь на Западе, сказал он тогда, то пусть появлюсь у него, ведь молодым авторам приходится на Западе чертовски туго, и он мне охотно поспособствует. С колотящимся сердцем, иначе теперь не скажешь, набрал я на занятые монетки его номер.

— Кто? Фауст? Ах, мне ужасно жаль, такси стоит у подъезда, я должен сейчас лететь в Париж, но через неделю я вернусь...

Мой старый друг Вольф Дайнерт, еще до меня освобожденный из каторжной тюрьмы в Коттбусе и осевший в Западном Берлине, как раз в это время находился в фашистской Испании. Когда он затем вернулся, то говорил:

— Если это фашизм, то я не знаю, как назвать то, что мы пережили в ГДР. Во всяком случае я видел там книги Маркса, их открыто продают в книжных лавках.

Дайнерт снова стал студентом. Он пригласил меня обедать в студенческую столовую западногерманского Технического университета. В холле рядом с портретами Маркса, Ленина и Мао висели огромные изображения Иосифа Виссарионовича Сталина. И это никого не шокировало. У меня прямо дыхание пере-

хватило. Весело живут студенты! Но вообще я должен сказать, что поначалу мне там уделяли много внимания — со стороны левых, правда, большей частью только потому, что они слышали о моей принадлежности к кругам Бирмана-Хавемана. Однако вскоре они стали воспринимать меня с моей биографией как фактор, мешающий их попыткам добиться победы социализма и в Федеративной республике. Сперва на меня со всех сторон посыпались добрые советы. Корреспонденты телевидения и газет не давали мне прийти в себя. Бывшая подруга Бирмана и сотрудница журнала «Конкрет» Ингрид Крюгер тоже желала мне добра и повела меня к известному драматургу Хартмуту Ланге, который котировался как «левый» и тоже прибыл из ГДР. Однако ей стало не по себе, когда Ланге начал насмехаться над «левизной» и заявил, что понастоящему важно просто создавать хорошую честную литературу. Он бы желал даже, чтобы из «правого» крыла явился серьезный автор, хотя бы для того, чтобы посрамить «левых».

Впоследствии Гюнтер Грасс действительно занялся мной. Я сильно волновался, когда мне первый раз посчастливилось появиться в чистой и простой квартире знаменитого и очень мною почитаемого мастера немецкой литературы. От благоговения я вообще не мог связать двух слов, так что Грасс просто не знал, что со мной делать, и по прошествии трех четвертей часа проводил меня, наконец, до дверей, вручив мне стопку своих книг. Наша следующая с ним встреча состоялась вскоре после этого на его чтениях. Он тогда читал отрывки из своей «Корзины». После он взял меня с собой в кабачок «Цибельфиш», излюбленный берлинскими писателями и художниками. Там мне совсем не понравилось, хотя мы несколько сблизились за пивом, так что он даже стал говорить мне «ты» и пригласил на свой день рождения. Однако в свой высочоторжественный день он снова перешел на «вы».

Вообще же вечер протекал по-домашнему, в узком семейном и дружеском кругу. Я то и дело думал о том, что бы отдали многие, дабы войти в такую близость с Грассом. Вскоре я все же устыдился своего благоговения и стал Грасса избегать. Теперь я могу без особого усилия признаться, что искусственная дружба с ним была мне просто не по мерке. Позже, на франкфуртской книжной ярмарке 1977 года, он сыграл со мной шутку. В давке я пробирався мимо стенда издательства Люхтерханд и почти уже пробрался, когда Грасс, который, как мне казалось, был погружен в беседу со своим коллегой из ГДР Германом Кантом, громко меня окликнул. Он с явным удовольствием представил меня Канту как «диссидента», и тот с кислой миной был вынужден подать мне руку. Перед Кантом Грасс разыграл моего близкого друга и покровителя. В действительности он, хотя и старался принимать меня всерьез как «случай из ГДР», явно не считал меня писателем. Несколько страниц из рукописи моего спасенного от госбезопасности романа, пересланного мне тем временем моей сестрой из ГДР, он вернул мне, заметив:

— Ну-ну, Джойс! Старо!

Как-никак Грасс все же принадлежит к тем немногим писателям Западной Германии, которые разглядели, что такое подлинный социализм. ГДР отблагодарила его за это, не напечатав до сегодняшнего дня ни одной его строчки. Но и мы хороши! Очутившись на Западе, мы еще помогаем коммунистическим правителям, воплощая собой созданный ими образ врага. Ведь многие «прогрессивные» приверженцы разрядки и мира тотчас зачислят нас в «крайние правые», как только мы осмеливаемся открыто говорить о том, что мы лично пережили. Если только мы не твердим постоянно, что до сих пор поклоняемся Марксу и его присным. Уже в автобусе, по пути в ФРГ, некий д-р Фогель и его западные коллеги при-

зывают выкупленных политзаключенных к великому молчанию; они убедительно и логично разъясняют, что покинутые товарищи по заключению и члены семей смогут тоже попасть на Запад только благодаря «особым стараниям» и лишь в том случае, если здесь не будут делаться никакие заявления для прессы и телевидения. Может быть, такие принципы и были до какой-то степени справедливы 15 лет тому назад; но современная торговля людьми, несмотря на членство в ООН, несмотря на Заключительный акт и последующую конференцию? Что же тогда вообще принимать всерьез?

Писательница Дагмар Зукерт (псевдоним Тина Эстеррайх) весьма точно описала повседневную жизнь ГДР и свое годовичное заключение; но большинство издательств отклонило ее книгу на том основании, что она-де подрывает разрядку. Один редактор телевидения согласился экранизировать эту книгу только при том условии, что действие будет перенесено во времена нацизма. Зато вот большинство писателей, членов профсоюза работников печати ФРГ, считает, что Западная Германия стоит в преддверии фашизма, что их душит цензура, что их используют в неких целях, издеваются над ними, подвергают надругательствам, угрожают им и что вообще они несчастны, как никогда. Каким же ничтожным кажешься ты себе со своей биографией, хотя, по крайней мере, ее нельзя полностью отрицать. Спрос имеют идеи преобразования мира, утопии, марксистские анализы или же модные неприязнительные кинобоевики. Наши истины? Или истины Солженицына, глубже всех проникшего в сущность реализованной социалистической системы? Реализм — нет уж, спасибо! Однако, некоторые все же приходят к неожиданным выводам, как, например, Герхард Цверенц, написавший в сороковом номере «Европейских идей»: «Мы отнесли к Солженицыну с насмешкой, а потом с пренебрежением. У нас

не хватает душевных сил, чтобы со страданием со-страдать жертвам».

Аргументы Петера Бендера, Ханса Кошника, Юргена Шмуде или Дитриха Штоббе, политиков из СПГ, с которыми мне до сих пор приходилось лично беседовать, постоянно завершаются формулой: «У политики разрядки нет альтернативы!»

И я оставался ни с чем, я, эдакий «холодный во-яка».

Руководитель Постоянного представительства в Восточном Берлине, г-н Гюнтер Гаус, который случайно оказался моим соседом во время полета над нашей разделенной немецкой родиной, заговорил со мной и сказал весьма недвусмысленно:

— Г-н Фауст, вы, собственно, делаете политику больше, чем я. Вы, надо полагать, даже не представляете себе, насколько вы, именно вы, мешаете в моих переговорах с ГДР!

Я был изумлен и тут же совершил ошибку, пытаясь оправдаться. Но, слушая мои доводы, г-н Гаус проявил мало терпения. Он явно утратил равновесие и дал выход своему раздражению — правда, весьма дипломатически, намеками. Затем он подверг сомнению мои познания в истории:

— Вы когда-нибудь слышали об Аугсбургском мире во времена религиозных распрей?

Случайно я понял, что он имел в виду, но мой ответ его вовсе не интересовал, хотя при расставании он и заверил меня, что желал бы продолжить нашу беседу.

Нынешнего Фауста можно представить себе как необузданного, озлобленного человека лет 35-ти, который, истекая желчью, защищает свои позиции отщепенца и все бормочет, как заклинание, свое собственное имя, столь богатое традициями. Были возбуждены безумные надежды, многие помогли ему в этом — стать легендой. Нынче же многие его высмеивают.

И все же вряд ли можно доставить какому-нибудь Фаусту больше удовольствия, чем язвительно обозвав его шарлатаном. Какой же урок должен извлечь каждый из сего факта? Я, к примеру, если мне будет позволено говорить и о себе, буду без зазрения совести и впредь считать себя тем, кто был во мне заложен, кого из меня вытравляли и кто возродился снова и существует всему вопреки, не столь уж важно, в какой ипостаси. И вот об этом, о моем праве на индивидуальное существование, я буду неустанно твердить, где бы я ни стоял и ни ходил — или ни сидел с кляпом во рту. И ни новая с иголки оболочка, ни переселение на неизвестную планету не помешают мне варить свою диссидентскую кашу. В конце концов, весь этот реальный социализм издавна разъедает мой костяк — к счастью, он не проник в плоть и кровь. Корни свои я все равно уже утратил.

И кто бы и каким бы путем ни попадал сюда с Востока, легально, как моя мать и сестра с детьми и мужем, или нелегально, как сын чешского активиста Любомир С., — все они нашли у меня свое первое прибежище, — так вот, все они удивленно разевают рты: что за многогранность, какое изобилие, круговорот, суматоха, стихийность, сколько цветов и фруктов, и много безработных, и спрос на рабочую силу, и все эти запахи и краски, лотки с овощами — и это зимой!, — яркие пестрые рекламы, лавины машин всех марок, которые, тем не менее, воняют меньше, чем «там», бесконечные собрания, лекции, кинофильмы со звездами всех сортов, ради которых еще недавно пешком бы помчался из Зуля в Росток; эти бесчисленные банки, скамейки на улицах и детские площадки, магазины впритык друг к другу, газетные киоски с заманчивыми обложками, велосипедисты на тротуарах, мало полицейских, но множество собак без намордников; представители всех континентов, смешение рас, дамы легкого поведения, ночлежники, митинги и

демонстрации по любым поводам, неагрессивное столкновение всех противоположностей, фейерверк мнений и страстей... Нет, это не рай на земле, но здесь осуществлен такой человеческий общественный строй, который можно определить по профессору Роберту Хавеману как «эластичную, саморегулирующуюся кибернетическую систему» в противоположность «социалистическому плановому хозяйству, напоминающему скорей плохо смазанный дребезжащий механизм со множеством рычагов и болтов». Наконец-то я отделался от этого призрака, сотканного из лжи, вечных ошибок и фальшивых утопий. И где же я оказался?

Я в пути. И попутно я провожу рукой по лбу: холодный пот. Не так-то просто вызывать духи прошлого. Но куда горше мои опасения: как бы эти самые духи не явились сюда, на Запад, — как бы они не заплотнили его будущее.

Перевели с немецкого  
Надежда Шатуновская и Юрий Иофе.

ФАУСТ Зигмар — родился в 1944 году в Донне около Дрездена. Учился на факультете истории, литературы и искусствоведения в Лейпциге. Публиковал стихи в восточногерманских журналах. С 1969 года все публикации были запрещены. В 1971 г. арестован, провел 11 месяцев в предварительном заключении, освобожден по амнистии без суда. Работал грузчиком, лифтером. Вновь арестован в мае 1974-го, приговорен к 4 с половиной годам за «антигосударственную пропаганду». Отбывал срок в каторжной тюрьме в Коттбусе, освобожден в марте 1976 г. по ходатайству проф. Р. Хавемана. С сентября 1976 года живет в Западном Берлине.

## ИСПАНИЯ 1980 ГОДА

ОБСТАНОВКА ПЕРЕД ВТОРОЙ КОНФЕРЕНЦИЕЙ ПО ХЕЛЬСИНКСКИМ СОГЛАШЕНИЯМ. МАДРИДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ.

*Мадрид. Ноябрь 1980 г.*

Что можно услышать в Мадриде в нынешнем году? Примерно следующее: Испания — часть Европы. Испанские политические деятели вполне серьезны, компетентны, но они довольно далеки от народа. Правительство Союза Демократического Центра стремится продолжать политику режима Франко. Это еще переходный период. Следующий год будет годом политической децентрализации. Диктатуру Франко сменяет общенациональный хаос. Наконец, при Франко на улицах было безопасно, а теперь... Фашисты из Новой Силы думают, что демократия в Испании невозможна, ведь так или иначе мы все по природе анархисты.

Да, верно, конечно, что мощное левое крыло все настойчивее стучится в двери кортесов (парламента), еще нерешительных перед угрозами правых совершить «гольп де эстадо»\*, если левые пройдут на выборах; все это сопровождается растущей тоской по прошлому среди людей старшего поколения и в низах среднего класса, тоской о «старом добром времени» правления Франко. Один из редакторов либерального мадридского журнала «Эль Паис» сказал, что «самая большая проблема, видимо, в том, что, кто бы ни заменил диктатуру, чем бы ее ни заменили, провал неминуем. Мы не знаем, кто мы и что мы, мы не имеем

---

\* Государственный переворот (исп.).

ясного представления о том, каким должно быть государство. Испания 80-го года не знает, куда ей идти».

Так или иначе, но одно из самых удивительных достижений испанского руководства в том, что оно оказалось способным совершить этот переход от диктатуры к демократии, не нарушая законности. После смерти Франко и вступления на престол Хуана-Карлоса в ноябре 1975 г. события следовали одно за другим с быстротой пожара. Референдум 1976 г. о политической реформе открыл дорогу к легализации политических партий, профсоюзов, к общенародным выборам, к обсуждению и одобрению народом новой конституции и к созданию демократического правительства в парламентарной монархии. Король как глава государства исполняет фактически президентские обязанности, и все его действия должны быть утверждены парламентом. Конституция гарантирует права политических партий, и они, следовательно, опять становятся ответственными за все свои акции и мероприятия.

Сегодня в Испании существуют следующие основные партии:

*Союз Демократического Центра (СДЦ).* Нынешняя правящая партия, возникшая в 1977 г. в результате соединения пятнадцати христианско-демократических, либеральных и социал-демократических групп. Руководитель его — глава правительства Адольфо Суарес.

*Испанская социалистическая рабочая партия.* Создана в 1886 году. Это — самая крупная из оппозиционных партий, руководимая ныне Фелипе Гонзалесом.

*Коммунистическая партия Испании.* Образовалась в 1920 г. в результате раскола в социалистической партии. Председатель — Долорес Ибаррури, генеральный секретарь — Сантьяго Карильо.

*Народное единение.* Основано в 1977 г. из групп,

тяготеющих к прежнему режиму. Вождь — Мануэль Фрага Ирибане.

### *Переходный период и политика*

В Испании разгорелись истинно испанские страсти, и политики стали появляться и исчезать, как узоры в калейдоскопе. Но именно в этот период, когда необходимо было совершить максимально плавный переход от диктатуры к демократии, особенно важно было сгладить наиболее острые противоречия. Этот переходный период можно назвать именем премьера Суареса, который при неизменном содействии короля Хуана-Карлоса был творцом всех важнейших перемен. В октябре 1977 г. четыре самых влиятельных человека в стране подписали в королевском дворце пакт. Король, Адольфо Суарес как руководитель самой крупной политической партии и вожди левых партий Фелипе Гонзалес и Сантьяго Карильо заключили договор по политическим, трудовым и социальным вопросам. Теперь, когда закончился переходный период, партии снова начали точить ножи. Это прежде всего видно по новой поляризации во внутренней политике: она очень напоминает ту, которая привела в 30-х годах к гражданской войне. Двухвековая борьба между либеральной и консервативной Испанией отражается на молодой демократии. Стандартная формула такова: политические обострения между правыми и левыми, взлет инфляции, безработица, терроризм, неуправляемость государства, вмешательство военных с целью наведения порядка, возвращение к диктатуре. Но, хотя многие из этих факторов сегодня налицо, мощный центр создает необходимый буфер между правыми и левыми крайностями. Эту роль, в частности, играют испанские социалисты. Потому некоторые признаки слабости социалистов воспринимаются с тре-

вогой. Так, выборы в Каталонии показали, что они явно слабее, чем кажется. Правительство само ободряет социалистическую оппозицию, в то время как коммунисты стараются толкнуть ее на коалицию с правительством. «Не в качестве постоянной политической линии, — как заявил Мануэль Аскарате, один из руководителей компартии, — но только вследствие необходимости усилить движение в сторону демократии». Некоторые наблюдатели обвиняют коммунистов в намерении таким образом растворить социалистов в окружении центристских партий и групп, чтобы самим стать единственными представителями левых сил в стране. Этот итальянский стиль поляризации — довольно тревожный симптом.

Правительственная партия сейчас не намерена вступать в коалицию с социалистами. Руперес, ее генеральный секретарь по иностранным делам и посол Испании на Мадридской конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, больше смотрит в сторону «мощных групп местных консерваторов, каковыми являются консервативные националистические партии Каталонии и страны басков. Философски они ближе нам, коалиция центрального правительства с националистическими партиями меньшинств может стать новой плодотворной линией и принести стабильное положение окраинам». СДЦ считает себя партией консервативной, но исповедует «закон, по которому мы — реформисты. Мы не подвержены влиянию того, что проповедают левые и правые, и не опасаемся правого переворота в Испании. Мы представляем самый широкий спектр политических направлений».

Немалую роль тут играет тоска по спокойствию и безопасности прошедшего периода. «Многие из нас держат двери запертыми, — говорят владельцы мелких лавок, а пожилые люди в мадридских скверах, чаще всего чиновники на пенсии, прибавляют: — Мы не знали, что демократия бывает такой. При Франко

можно было безопасно ходить по улицам глубокой ночью. И не было инфляции». И действительно, для большинства это были 35 лет спокойствия. Франсиско Ариас из Министерства иностранных дел сказал: «Удача Франко была в том, что война отметила лишь начало его режима, а потом все стало куда лучше. Тут люди не чувствовали мировых кризисов. И для многих теперь демократия — синоним кризиса».

Так или иначе, но крайне правая Демократическая Коалиция и фашисты из Новой Силы думают, что «демократия в Испании невозможна», как сказал один из руководителей правого крыла Народного Единения. «Они даже не признают короля! Мы поддерживаем конституцию и правительство в 80 случаях из ста. Мы не экстремисты. Семь бывших министров Франко, основавших нашу партию, перешли в Новую Силу, а мы имеем только 16 мест в парламенте, и наш неуспех их разочаровал».

### *Длинная дорога до Мадрида*

Изолированность Мадрида словно бы от всего мира — удивляет. Особенно если ехать машиной из Сан-Себастьяна и Бургоса, с севера. Большая часть городов и городков словно исчезли: остались далеко в стороне от дороги, которая проходит по бесплодной равнине, пологим холмам и пересекает каменное плато в сердце горного массива Гвадаррамы. Наконец, мгновенно, неожиданно вы буквально сваливаетесь в Мадрид, возникающий чуть ли не перед самым носом, — сваливаетесь, хотя расположен он довольно высоко на том же безотрадном плоскогорье. Гордое одиночество географического центра всей Испании. Старые арабские столицы Кордова и Гранада куда теснее связаны со всей страной, чем ее нынешняя столица. Мадрид изолирован от Испании так же, как сама она от

остальной Европы. Гористая и неприветливая страна. Пиренеи и Кантабрийские горы на севере, бесконечные сьерры на юге и на востоке, Португалия на западе... Отрезанная от Европы, она и поныне больна противоречиями, мучившими ее в продолжение столетий.

Испания одинока. К этому привыкла ее трагическая история. Восемь веков арабского влияния, завоевание, реконкиста,.. Испания была буфером, защитившим Европу от поглощения арабским, исламским миром. Она спасла от нашествия христианскую цивилизацию. Объединение после изгнания арабов в 1492 г. было эфемерным. Возвращение суверенной кастильской монархии, открытие сказочных богатств Америки сопровождалось подавлением всякой национальной самобытности басков, каталонцев и галисийцев. Американское золото пошло на финансирование испанских армий в северной Европе и косвенно стимулировало взрыв великой культуры Испании в XVI веке. Но то же золото помогло расцвести и инквизиции, изничтожившей всякую свежую мысль и разложившей церковь. Идеи Просвещения пробудили интерес к Европе в среде образованных испанцев и положили начало двум Испаниям: либеральной и реакционной. Эти две Испании боролись между собой еще два столетия с переменным успехом. «Два века мы жили в изоляции, занятые лишь своими собственными проблемами, без каких-либо международных связей», — констатирует известный писатель Анхель де Лера.

«Каждый испанец — сам по себе, все разные, но все — испанцы», — гласит старинное изречение. «Если бы у нас была буржуазная революция, которая объединила бы страну, как это случилось с Францией, местные различия смягчились бы», — указывает Аскарате. «Сорок лет франкизма, несмотря на централизацию, никак не сгладили внутренних противоречий. В результате мы и сегодня — страна невероятно плюралисти-

ческая...» И верно, сегодня вполне можно говорить по крайней мере о полудюжине Испаний...

Следуя шатаниям от реакции к либерализму и обратно, Вторая Республика утвердилась в 1930 г. как диктатура Примо де Ривера. Ее несчастье было в том, что она попала в тиски мировой экономической депрессии и еще оказалась между молотом и наковальней — между европейским фашизмом и советским коммунизмом. Испанский характер анархичен по сути. После веков угнетения он мечтает о мгновенном и чудесном изменении всех условий жизни. Испания не знала, как другие европейские страны, рабочего движения. Социализм тут изначально был синонимом анархизма. Либеральная республика покати-лась влево, темпами этого соскальзывания перепугав реакционеров, учуявших запах близкой и хаотической революции. Консервативно-центристские элементы в армии, капиталистический истеблишмент и перепуганная церковь сделали свою собственную, превентивную революцию против законного правительства республики, приведшую к гражданской войне, которая почти сразу стала фактическим полем битвы между фашизмом и коммунизмом.

Как говорит мадридский драматург Хоакин Кальво Сотело, «гражданская война была ужасным несчастьем, катастрофой для Испании. Хуже, чем мировая война. Она разделила страну на левую и правую промышленность, левую и правую армию, культуру, даже семьи разделились». А романист Лера пишет: «Война была трагедией, но 34 года фашизма были еще страшнее, ибо прервали наш недолгий опыт демократии в самом его начале».

Сегодня Мадрид еще избегает провинциальных влияний. Пример: социологическое отделение мадридского Пилар Колледжа расценивается как школа, формирующая испанскую политическую элиту. Достаточно прочесть длинный список СДЦ и высших прави-

тельствующих чиновников, чтобы понять слова сенатора-социалиста Фернандо Морана: «Пиларизм — обертон элитарности». Появились и другие, местные, провинциальные клики. Севильская группа Фелипе Гонзалеса монополизировала руководство социалистической партии. Это, возможно, знаменательный факт — новый курс социалистов, все более глядящих не на централизм Мадрида, а на националистические и областнические элементы в провинциях.

Весь круг проблем 1980 г. становится ясен: преодолеть традиционную испанскую изолированность и результаты 34-х лет диктатуры, отозваться на требование истории, учтя стремления к автономии националистов различных областей, навести мосты между центральным правительством и остальной страной, преодолеть антагонизм между либеральной и консервативной частями народа, модернизировать экономику и улучшить условия жизни 37 миллионов граждан. Страна сейчас страдает от безработицы, инфляции, терроризма и местного сепаратизма. Феминистские движения привлекают внимание граждан. Начались дискуссии о разводе и абортах. Школьная и университетская реформа стала насущной необходимостью. Здравоохранение и медицинское обслуживание в упадке.

Руководство страны может найти решение всех этих проблем и вывести страну на новый путь. Не напрасно говорят, что политические руководители Испании и вообще весь «политический класс» — один из лучших в мире. Видимо, это правда. Премьер Суарес и его Союз Демократического Центра вырос внутри франкистского режима. «СДЦ хочет продолжать франкизм под другим названием, — заявляет сенатор-социалист Моран. — Все вожди СДЦ — из Мадрида, а многие связаны со старым режимом». Франсиско Бастерра, международный комментатор газеты «Эль Паис» пишет: «Положение демократии

плохое. Она слаба, не имеет традиций, а правительство еще живет в прошлом».

Разрыв между населением и «политическим классом» огромен. Тот же сенатор Моран говорит: «У них (!) нет контакта с народом. А ведь мы — аграрная страна. Высший класс живет фальшивыми европейскими ценностями и никогда с народом связан не был».

Так или иначе, но Испания заслуживает похвал за все, что сделано за пять лет после смерти генералиссимуса Франко. Она сама утвердилась как демократическое государство. После двух веков изоляции, кровавой гражданской войны и 34-х лет диктатуры ей необходимо найти свое место в сообществе наций. Мадридская конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе — один из признаков того, что Испания в это сообщество действительно включается.

### *Внутренние дела*

Безработица — труднейшая из экономических проблем. 8% незанятой рабочей силы из 15 миллионов трудоспособного населения ударили прежде всего по молодежи и слаборазвитым районам. В Андалузии, например, безработица доходит до 20%. Годовая инфляция достигает 15%. Правительство старается модернизировать архаическую банковскую систему, привлекая иностранные банки к совершению различных операций в Испании, чем надеется стимулировать капиталовложения и валютный рынок. Общественные вложения опять же децентрализуются и направляются, в основном, в «бедную Испанию». Самые большие провинции, притом самые бедные, такие, как Андалузия и Галисия, пользуются особым вниманием. На будущее экономисты считают спасением для Испании ее вступление в Общий рынок. СДЦ

считает, что ЕЭС — золотое противостояние Испании. Этим объясняется и сильная реакция на предложение президента Франции повременить с принятием Испании в Общий рынок, и вообще антифранцузские настроения в Испании.

Терроризм практически невозможно остановить. Националисты в провинциях (баски, например) проводят террористические акты против центрального правительства, фашистские хулиганы в Мадриде и левый терроризм, связанный с арабскими террористическими организациями, дезорганизуют нормальную жизнь. Баски из ЭТА подкладывают динамит гражданским гвардейцам в Памплоне; четыре фашиста, убившие нескольких рабочих адвокатов в 1977 г., осуждены на сто лет тюрьмы, причем в решении суда указано, что «они создали радикальную группу с тоталитарной идеологией с целью нарушения работы законных институций, ведущих Испанию к переменам». Но терроризм оказывает свое влияние: граждане все больше смотрят в сторону военных, которые раздражены беспорядком и вооружают тем самым всех, требующих твердого режима.

Значительное давление оказывают и националисты, требующие автономии для своих провинций. Политически плюралистская, Испания и в национальном смысле весьма разнообразна. Многие районы традиционно сепаратистски настроены, и децентрализация — важнейшая тема. Во время выборов в баскских районах премьер Суарес сам себя назвал «автономистом».

Испанская конституция 1978 года гласит: «Конституция основывается на неразделимом единстве испанской нации, общем отечестве всех испанцев, и признании гарантированного права на автономию национальных меньшинств и областей, но национальная солидарность превыше всех этих прав». В этой формулировке говорится об автономии *внутри* обще-

го отечества. Централисты хотят не допустить дезинтеграции, выступая против той части закона, которая разрешает автономию. В областях же закон приняли с энтузиазмом, тогда как сепаратисты считают, что закон недостаточно подтверждает их права и сформулирован слишком робко, они обвиняют Мадрид в посягательстве на их права.

Страна Басков и Каталония пошли законным путем: они голосовали за автономию и избрали свои местные парламенты, отдавая предпочтение своим националистическим партиям перед общеиспанскими. Все гораздо сложнее в Андалузии и Галисии, но они скоро пойдут тем же путем.

Споры об автономии пестры и разнообразны. Эти процессы отражают различия между разными народами Испании. Аскарате рисует такую картину: «Каталонцы — вполне европейский народ, благодаря постоянным контактам с Францией; язык басков — даже не латинского происхождения; Галисия имеет не только свой язык и литературу, но культурно связана с Португалией; Андалузия — Аль-Андалуз по-арабски — была под арабским влиянием более восьми веков и обладает своей, живой культурой; Кастилия никогда не знала феодализма, и крестьяне кастильские — вероятно гордые люди. И при всех этих различиях специфика испанского национального характера все-таки существует, но, поскольку тут никогда не было буржуазной революции, которая бы стерла различия, Испания осталась столь многоликой».

Народное Единение считает, что правительство слишком быстро ведет меньшинства к автономии: «Закон должен быть демократически изменен». Социалисты поддерживают все законопроекты, благоприятные для максимального развития автономии провинций. Руперес говорит: «СДЦ слишком ускоряет события. Направление верное, но надо притормаживать». Бастера из «Эль Паис» пишет: «Левые партии слабы в та-

ких районах, как Страна Басков, поскольку правительство выделяет слишком малые суммы из общественных фондов левым муниципалитетам. Поле деятельности остается свободным и открытым для местных националистов». Испанский министр иностранных дел Марселино Ореха подчеркивает, что правительство поощряет стремление к большей автономности во всех провинциях. «В этом причина такого быстрого темпа. Областные референдумы отражают желание автономии и отрицание многих аспектов мадридской политики, — говорит министр, — к тому же федеральное устройство тут было бы очень трудно ввести из-за местных амбиций, огромного культурного различия и непомерной гордости».

Франсиско Ариас из Министерства иностранных дел так объясняет эту дилемму: армия считает, что мы слишком быстро движемся к автономии, все прочие — что слишком медленно. Суарес вертится между ними, поскольку знает, что автономия — необходимое условие гражданского мира. СДЦ ведет ошибочную политику, но верно и то, что ЭТА и прочие террористы в Стране Басков всех настроенных про-мадридски презрительно зовут «испаньолистами» и все не-баски не допускаются ни к какому участию в местных делах. Они вынуждают бизнесменов платить специальный «протекционный налог» — налог в пользу террористов! И полиция ничего не может сделать. А ведь ЭТА поддерживают лишь 14 процентов басков!»

Но самый трудный район — видимо, Андалузия. Говорят об «андалулизме» как о духовном движении, отражающем чаяния разных народов Испании. Андалузия замкнута в большей степени, чем любая другая область. Она — почти в центре Испании. Она бедна, очень бедна, и долго эксплуатировалась испанцами. Ее народ жаждет социальной и экономической справедливости. Сегодня Андалузия с ее полумиллионом безработных и постоянным голодом — пороховая

бочка. Антонио Медина, лидер экстремистского Освободительного Фронта Андалузии, дошел до того, что требует «освобождения от испанского колониализма». Он считает, что Андалузия может создать ситуацию еще посложнее, чем с басками. «Мы испанские китайцы — мы всюду: два миллиона андалузцев в Каталонии, 600000 в Мадриде, 300000 в Стране Басков». Это — эмигранты, вынужденные покидать родину под угрозой голодной смерти. Угроза недвусмысленная.

### *Муниципалитеты*

Так называемый «Монклоа Пакт» (заключенный, как уже говорилось, в королевском дворце в 1977 г.) установил некоторое разделение власти. По этому пакту СДЦ держит в своих руках центральную власть, а социалисты и коммунисты — местные муниципалитеты. Такая система удовлетворяет пока левых и облегчает управление в переходный период. Правящая СДЦ получила определенные преимущества, а левые тоже оказались не в обиде.

Значение левого контроля в городах на самом деле меньше, чем может казаться. Вначале правительство боялось некоего провинциального подобия «народного фронта», но теперь стало ясно, что зависящие от Мадрида муниципалитеты в достаточной мере ограничены в своих возможностях. Сенатор Мортон констатирует: «Социалистическая партия вполне удовлетворена сотрудничеством с коммунистами на уровне местных органов власти, но далее этого мы в сотрудничестве не сделаем ни шагу. Если решаются вопросы местного управления, левая администрация может осуществлять вполне эффективный контроль. В местных делах социалисты — действительно сильнейшая партия Испании».

КПИ согласна, что муниципалитетам надо дать широкие возможности: «Мы подаем пример честности — что немаловажно в Испании — и левое влияние растет. В маленьких городках — 200 мэров коммунисты, тогда как во всех больших городах эту должность занимают социалисты. Мы развиваем привычку к сотрудничеству».

Так или иначе, Испания идет к все большей децентрализации. «Централистские партии, как СДЦ и социалисты, в ближайшие годы будут доминировать, — говорит Моран, — но они в кризисе, и им не хватает голосов местных партий, которые все больше движутся к экстремизму».

### *Реформа образования*

Перемены носят в воздухе. Школьная система может быть охарактеризована как плохо управляемая и плохо финансируемая. Частные школы контролируются, в основном, католической церковью, а финансируются государством. Либералы кричат, что общественные средства отданы лишь небольшой группе привилегированных учебных заведений. В этом году парламент провел закон о школьной реформе, которую СДЦ приветствовал как реформу, ставящую Испанию в авангард народного образования в мире. Оппозиция же отнеслась к ней критически из-за того, что, кроме контролируемых церковью, существует слишком мало частных школ вполне светских и что реформа явно отдает предпочтение католическим школам. Пока что Испании далеко до европейского уровня в системе народного образования.

Новая Испания еще не имела времени для того, чтобы показать свое лицо в международных делах. Годы изоляции, сложности новорожденной демократии и чувствительность правительства к мнениям партий мешали этому. Поворот к Третьему миру и вопрос прав человека — вот два новых аспекта в испанской политике, хотя исторически интересы Испании в Латинской Америке и Африке достаточно стары.

Правительство и оппозиция как бы разделили свои интересы: правительство занимается в основном европейскими делами — вступлением в ЕЭС и НАТО, в то же время устанавливая и укрепляя связи с Латинской Америкой, Африкой и арабскими странами. Левые принимают ЕЭС, но не согласны со вступлением в НАТО, предпочитая двустороннее оборонительное соглашение с США. Левые одобряют контакты с арабскими странами, а правые не дают Суаресу повернуться к ООП и толкают на признание Израиля.

Испанский министр иностранных дел подчеркивает, что Испания стоит перед выбором: или двусторонние соглашения с США, или вступление в ЕЭС и НАТО возможно скорее. Дальний прицел — усиление связей с Латинской Америкой, с которой Испания связана этнически и лингвистически, а следовательно, и культурно. Ее историческая общность с арабским миром тоже обуславливает ее внешнюю политику: Испания — мост между Европой и Северной Африкой.

1 января 1983 г. — назначенная дата вступления страны в Общий рынок. Сенатор Моран считает, что и так уж много времени потеряно: сорок лет, как Испания отрезана от Европы.

Левые торопят присоединение: их интересует не только экономическое объединение, но и политическая сторона дела. Аскарате говорит: «Европейский парламент должен иметь больше власти. Он должен кон-

тролировать органы ЕЭС в большей степени, чем сейчас, и стать действительным политическим форумом Европы». Испанские левые, как и левые в других странах, пытаются определить роль левых сил вообще в будущей Европе, которую они видят как третью силу между двумя сверхдержавами.

Вопрос о НАТО прямо зависит от двусторонних оборонительных соглашений с США. Выбор пути к обеспечению безопасности для Испании пока открытый вопрос. Правительство желает и двустороннего договора, и вступления в НАТО — одно не мешает другому. Правые предпочитают только НАТО, а левые, выступая против вступления страны в это оборонительное сообщество, аргументируют это тем, что тогда уменьшится роль Испании как моста между Европой и Третьим миром.

Испания занимает видное место в американской глобальной стратегии. После первого испано-американского оборонительного соглашения (1953 г.) в Испании появились и стратегическая авиация, и атомные подводные лодки. Сегодняшние соглашения предусматривают размещение здесь тактической авиации, морской авиации, заправщиков, подводного флота, десяти тысяч военного американского персонала и, наконец, телекоммуникационного центра, складов и центров управления. Американский военно-воздушный атташе прямо говорит: «...сегодня этот район имеет колоссальное стратегическое значение. Поскольку мы не имеем теперь баз в Марокко и Ливии, то от Испании и до Среднего Востока у нас нет ничего». Советское военное присутствие в Афганистане и советские базы в Сирии, Южном Йемене и Эфиопии делают Испанию важнейшим пунктом, жизненно важным для обороны Европы.

СССР официально принял прагматическую линию по отношению к испано-американским связям: они вполне вписываются в советскую теорию равновесия

сил. В прошлом году в Мадриде Громько сказал, что вступление Испании в НАТО нарушит это равновесие. «В общем, СССР толкает Испанию на принятие более самостоятельного пути», — отметил испанский директор службы безопасности.

НАТО и безопасность Испании — выход чисто политический. Когда министр иностранных дел Ореха объявил, что Испания намерена вступить в НАТО, не собираясь слушать каких-либо советов, левые требовали референдума «по этому фундаментальному вопросу». Следующие выборы в Испании состоятся в 1981 г., и результат их будет решающим в вопросе о НАТО. Бастера заявляет, что «в конечном счете многие социалисты согласны с правительством в этом вопросе, так что их оппозиция не такая уж закоренелая». Секретарь СДЦ по иностранным делам Руперес отмечает: «Не надо преувеличивать нашу роль на Среднем Востоке. Палестинцы действительно имеют определенные права, но это еще не причина для того, чтобы Испании не иметь отношений с Израилем». Правое крыло Народного Единения выступает так: невероятно, чтобы Испания оказалась единственной средиземноморской страной, кроме Греции, которая не признает Израиля. Да и какую посредническую роль сможет играть Испания, если будет разговаривать с одними арабами? «К тому же, — подчеркнул представитель партии Гийермо Киркпатрик, — наши традиционные связи — с Западной Африкой, а отнюдь не с центрами арабского мира. Палестинцы имеют свои права, но мы не хотим быть затопленными в арабском море; мы протестовали против визита Арафата в прошлом году и не хотим его видеть».

Роль Испании в Латинской Америке имеет длинную историю. Поэтому Испания хочет установить контакты со всеми латиноамериканскими странами независимо от их режимов (включая даже Кубу) и видит в этом нечто вроде будущего Commonwealth'a.

Культура Испании очень пострадала от изоляции страны, во время которой культурный мир был так же разделен, как и сама страна. После падения Республики многочисленные представители науки и искусства эмигрировали. Некоторые остались за границей, иные, как Ортега-и-Гассет, вернулись из-за ностальгии... Те же, кто остался в Испании, так или иначе примирились с системой или помалкивали, даже вовсе замолкли. И если культура не умерла, то по крайней мере замерла. Теперь настал некоторый «бум». «Наиболее серьезное последствие режима Франко для творческих людей — идиотская цензура, — говорит драматург Кальво Солетто. — Настоящий художник творит и в полной изоляции, мы это видим на примере русских, но цензура все же душит искусство».

Литература быстро расцветает. Беспрецедентное количество книг выходит в бесчисленных издательствах, огромными тиражами. Испанский народ стал читать.

Расцветает и театр. Возник огромный интерес к искусству графики — каждый день десятки вернисажей в Мадриде. Появилось множество новых художников — путь Дали и Миро кажется наиболее общепринятым, но растет и признание таких мастеров, как Пикассо. Концертные залы переполнены молодежью.

Иностранное культурное влияние также очень значительно в сегодняшней Испании. Но заметен поворот от французского к английскому влиянию, вернее, ко всей культуре англоязычного мира. Изучение английского языка возросло невероятно, английские школы растут как грибы. «Париж пытался монополизировать испанскую интеллигенцию. Сегодня Лондон и Нью-Йорк ближе нам, чем прежде. С тех пор, как английский язык стал языком торговли, его по-

стоянно унижал французский культурный империализм». Фильмы на английском языке идут повсюду, рок-музыка катится по всей Испании, и, как все европейские страны, Испания воспринимает все больше элементов «американского образа жизни».

Возврат к основным свободам породил взрывообразное развитие прессы. Конституция детально оговаривает все свободы печати, высказываний и т. п., что соответствует неопределимой роли печати в создании новой Испании.

Выходит около ста ежедневных газет. Многие из них, как «Эль Паис», которую уже пять лет читают по всей стране, считаются образцовыми газетами на современном мировом уровне, в ряду таких, как «Монд» или «Нью-Йорк Таймс». Ее главный редактор Хуан Луис Себриан был признан лучшим журналистом года в США. С легализацией политических партий возродилась и партийная печать.

Сегодня в Испании уже 7 тысяч профессиональных журналистов (для сравнения: во Франции их 12 тыс., а в Италии — 9 тыс.).

Как и в других западных странах, пресса строится на капиталистической основе. Кто финансирует испанскую прессу? Государство, банковские группы, независимые группы и общества. Правительственное финансирование проходит через «Государственное социальное общество коммуникации», заменившее фашистское управление по контролю печати. Общество автономно. Оно поддерживает множество газет, агентство новостей и сорок радиостанций.

Четыре финансовые группы поддерживают около трети всей прессы, включая ведущую барселонскую газету «Ла Вангардия», влиятельную «АБЦ» и «Бланко и неро». «Эль Паис» — пример независимой печати.

Количество газет относительно велико, а испанцы еще не привыкли к такому количеству и разнообра-

зию. «Я хотел бы, чтобы газет было еще больше, и мне грустно, если какая-нибудь закрывается, — сказал Батерра из «Эль Паис». — Газета с тиражом меньше 10 тысяч не может остаться независимой».

Ситуация с государственным контролем телевидения еще пестрая. «Правительство тут живет прошлым, — жалуется Батерра, — порой в этой области хуже, чем было при Франко. Телевидение, мощнейшее оружие правящей партии, все расширяется, а частные телестанции, как альтернатива монополии, необходимы. И «Эль Паис» намерена открыть свою независимую телестанцию».

**CHALIDZE PUBLICATIONS**  
**505 Eighth Avenue, New York, N.Y. 10018**

**КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ**

*Никита Хрущев, Воспоминания*, карманный формат, цена — 12.00

*Никита Хрущев, Воспоминания*, книга 2-я, карманный формат, цена — 12.00

*Валерий Чалидзе, Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России)*, цена — 7.00

*Коран. Перевод Крачковского*, карманный формат, цена — 20.00

*Пакты о правах человека*, карманный формат, цена — 5.00

*Николай Евреинов, История телесных наказаний в России*, цена — 15.00

*Николай Валентинов, Встречи с Лениным*, карманный формат, цена — 12.00

*Валерий Чалидзе, Иностранец в России*, юридическая памятка, карманный формат, цена — 6.00

*Законодательство о религии в СССР*, цена — 9.00

*Петр Гарви, Профессиональные союзы в России*, цена — 7.50

*Хельсинкское движение*, цена — 7.50

*Николай Новиков, Эрнст Неизвестный: искусство и реальность*, цена — 10.00

*Серан Киркегор, Наслаждение и долг*. Репринт. 420 стр., цена — 15.00

*З. Авалов, Присоединение Грузии к России*, репринт, 320 стр., цена — 15.00

**Малотиражные издания**

*Бenedикт Лифшиц, Кротонский полдень*, репринт, 144 стр., цена — 10.00

*Цыганско-русский словарь*, репринт, цена — 25.00

# Факты и свидетельства

Ян Вальц

## МЫ, СВОБОДНАЯ ВАЛЬКОВАЯ...

Сокращенный перевод с польского

Nihil obstat  
M. Chojecki

### *Суббота*

...В Рембертув мы добираемся около трех, потому что всегда следует для верности еще покрутиться по городу, разумеется, не заходя ни к кому из знакомых, хотя хорошо было бы передохнуть и выпить чаю, но неизвестно, не дежурит ли там патруль. Теперь еще дорога от станции. Мы не должны задавать вопросов ни об улице Зеленой, ни о пане Новицком. У киоска налево, прямо до бензоколонки, потом третья направо, около трансформаторной будки снова налево. Расстояние порядочное, сумки тяжелые, рубашки взмокшие, ванны не будет.

Люди возвращаются с работы. Для нас работа только начинается. Наконец, дом номер 25. Положение идеальное, большой сад, густой, заросший, дом в глубине, далеко от улицы. Собаки захлебываются лаем, ждем, пока дядюшка откроет ворота. Нет сомнений, что это здесь. Въезд в ворота весь в колеях, как после танковой атаки, но удивляться нечему: вчера или позавчера туда и обратно проехало пять машин, которые привезли бумагу, и шестая с множительным аппаратом. Одной бумаги 500 пачек, около полутора тонн. Больше ста пачек в багажник и на заднее сиденье не вле-

зает, шасси при этом и так чуть не цепляет землю, а фары вместо того, чтобы освещать дорогу, выглядят почти как противовоздушные прожекторы.

Собаки умолкают. Это дядюшка появился. Совсем еще не старый, крепкий мужчина крестьянского вида. Как-то я иначе представлял себе пенсионера, который вдалеке от людей пишет книгу о Пилсудском, но надо привыкнуть к тому, что в этой работе неожиданности относятся к правилам игры.

— Мы от Кристины, — представляю я бригаду.

— Та оно ж издаля видать, — певуче отвечает дядюшка, впуская нас внутрь. Три комнатки, большая кухня, на столе в столовой действительно разложены бумаги, пишущая машинка контрастирует с дядюшкиным ватником, над комодом — Божья Матерь Остробрамская. Прежде всего нам хотелось бы сесть, напиться чаю, но надо осмотреть помещение. Шмотье мы оставили в кухне, дядюшка показывает нам комнату, предназначенную для типографии. Салфетки, коврики, столик, две допотопных кровати, сухие букеты — повернуться негде. Мы смотрим друг на друга с некоторым обалдением.

— А машина, бумага?

— Та в риге ж, — дядюшка спокойно констатирует очевидный для него факт.

— Где? — вытаращивает глаза Зенек.

— В амбаре, — перевожу я на литературный язык, и мне сразу становится как-то приятней и спокойней. Я чувствую себя словно внутри какой-нибудь книги Конвицкого.

Идем в ригу. Машина стоит, бумага есть, почти до потолка. 500 пачек — это страшная гора. Открываю первую с краю. Конечно, зверски влажная, но в риге по-другому и не могло быть. Возвращаемся в дом.

Теперь мы должны нарушить дядюшкино спокойствие, освободить от мебели предназначенную для нас комнату, поставить весь дом вверх дном. Дядюш-

ка, к счастью, принимает всё со стоицизмом, свойственным жителям прежних восточных окраин. Кровати в столовую, салфетки на шкаф, стулья куда придется, оставляем только столик и вносим два кухонных стула. Через несколько часов и мы, и всё вокруг будет вымазано краской, так что надо оставить на месте только то, что нетрудно отмыть. Приносим бумагу. Дополнительная работа: надо будет носить ее из риги в дом и обратно, а то в нашей комнате, когда установим машину, больше сотни пачек не уместится. Курсируем раз десять, прежде чем всё на месте: бумага, машина, краска, растворитель. Теперь еще надо застелить пол, завесить стены: обопрешься грязной рукой, и, если краска не масляная, никогда пятна не отмоешь.

Я отыскиваю привезенную губку, кладу в блюдечко с водой, провожу по полоскам бумажной липкой ленты; навык позволяет быстро оклеить упаковочной бумагой все оставшиеся в комнате предметы. Зенек делает тряпку. «Тряпка» — это кусок фланели, которым обматывают перфорированный барабан, чтобы передавать краску на матрицы. Она снашивается довольно быстро и является основной запасной частью множительного аппарата, но поскольку практически никаких запасных частей мы достать не можем, то изготавливаем их своими силами. Надо подобрать подходящий тип фланели, с соответствующей частотой, ворсистостью, толщиной — все это влияет на впитывание краски; не раз, не достав нужной фланели в магазинах, мы ощупывали и разглядывали на свет рубашки знакомых, чтобы подходящую безжалостно содрать с владельца «на благо дела».

Однако мы страшно устали. Шестой час, самое время поесть. Я завариваю чай, Зенек готовит наше основное блюдо — «яичницу по-типографски»: поджаривает сыр, заливает яйцами и прибавляет все приправы, какие есть под рукой. Мы едим ее во время

каждого печатанья — так долго, пока не начинается тошнота от одного запаха поджаренного сыра. Но пока что она пахнет замечательно.

Дядюшка молча наблюдает наше хозяйствование. Когда мы, наконец, садимся есть, он весьма критически поглядывает на наш чай, почти черный, и тоже готовит себе еду: кроит сухой хлеб на маленькие, сантиметровые кубики, кладет на тарелку вместе с кубиком маргарина, наливает стакан светло-соломенного напитка, которого в моем представлении чаем не назовешь, наконец кубики хлеба сыпет в чай, а маргарин использует «вприкуску».

Все-таки нас от дядюшки многое отделяет, и сознание этого не слишком приятно. Прежде всего, мы чувствуем себя глупо, обжираясь (мы-то, служители идеи), в то время как кто-то рядом кормится сухим хлебом и маргарином. Что он теперь о нас думает? Мы всегда боимся, что люди воображают себе подпольных типографов как святых революции, а на самом деле эти несколько дней интенсивного труда полны не идеями, а множеством совершенно земных конкретностей. На еде мы не экономим: не окупается; фирма платит нам суточные по 75 злотых в день на каждого, и, если мы прибавим к этому что-то из своих заработков, хватит еще на шоколад и фрукты. Зенек как раз завершает еду огромным грейпфрутом. Разговор за едой не очень-то клеится, дядюшка вдобавок не рекомендует, чтоб в его комнате курили, ибо, как мы узнаем, он враг всех грешных услад, и мы быстро перебираемся в типографию.

Я закуриваю и берусь за подготовку краски, Зенек начинает распаковывать бумагу. Разворачиваю обертку пятикилограммовой банки — слава Богу, шведская, куда лучше, чем добываемая на все более расцветающем черном рынке польская. Такая густая, что едва удастся погрузить в нее ложку. Надев резиновые перчатки, набираю почти половину приехавшего вместе

с машиной горшка, в котором был размешан уже не один центнер краски, доливаю олифы и масла (олифа льняная, масло, конечно, подсолнечное — если вам попадется не поддающаяся прочтению публикация независимой полиграфии, где печать прошла на другую сторону бумаги, будьте уверены, что кто-то влил в краску соевого или рапсового масла) и включаю миксер. Шведская краска разводится отлично, так что я протираю ее через ситечко в другой горшок для того только, чтобы Зенек не брюзжал.

Он тем временем сортирует распакованную бумагу. Невежде все пачки показались бы одинаковыми, тем более, что они с той же самой фабрики и из одной партии, но, поскольку «польские нормативы» — понятие весьма растяжимое и гибко оцениваемое техническим контролем, пачки весьма существенно отличаются друг от друга. Краска уже готова, я закуриваю и помогаю Зенку в сортировке. Отдельно мягкие, с которыми будет больше всего хлопот: они легче других, бумага слишком тонкая. Когда такую пачку приподнимаешь за уголок, она опадает мягко, словно летится, — нет в ней жесткости, нужной для спокойного прохождения через машину. Еще проблема — это размеры отдельных пачек. Номинально они все —  $297 \times 210$  мм, но на практике отклонения от нормы достигают и трех сантиметров, поэтому мы сортируем пачки по размеру, чтобы не регулировать машину во время работы, то и дело приспособившись к меняющемуся размеру бумаги. И еще одна вещь: выколачиванье. Каждую пачку надо, держа за уголок, как следует выколотить, чтобы в ней не оставалось бумажной пыли и обрезков бумаги, а то во время работы они приклеиваются к матрице и затыкают дырки, через которые должна протекать краска. Кроме того, при выколачивании разделяются прилипшие друг к другу листы.

Осталось выколотить всего пачек двадцать, так что я это сделаю сам, пока Зенек готовит машину. Только надо помочь ему вытащить машину из ящика. Это старый американский аппарат фирмы А. Б. Дик, модель 438, который мы всячески переделывали и совершенствовали. Перевернутый вверх ногами ящик выполняет роль станины — надо только подложить кусок толстой пузырчатой губки, чтобы частично заглушить шум. Пока я кончаю выколачивание, Зенек закладывает первую матрицу. Это, конечно, не титульный лист, а только пятая страница, потому что подобрать густоту краски для данной бумаги — дело настолько сложное, что мы не доверяем своему опыту: единственный критерий тут — практика, и мы не хотим экспериментировать на странице, которая раньше всех бросается в глаза.

По мере того, как наши действия все больше приобретают рутинный характер, а помещение теряет свои индивидуальные черты и становится попросту типографией, — напряжение спадает, и мы постепенно начинаем разговаривать. На этот раз главный предмет рассуждений — начинающийся в четверг процесс Хоецкого\*. Нас обоих тянет в суд, но нет никакой надежды успеть окончить печать, а мы скрупулезно соблюдаем принцип не выходить из типографии во время работы, тем более в такие места, где с полной вероятностью наткнешься на гебистов. Еще два года тому назад Зенек оказался в весьма резком конфликте с одним из печатников, который в Страстную

---

\* Мирослав Хоецкий, член Комитета общественной самозащиты КОР и директор независимого издательства НОВА, был арестован 25 марта 1980 г. по обвинению в краже ротатора — на самом деле, списанного. После его голодовки, голодовки солидарности с ним и широчайшего общественного протеста был освобожден в начале мая. 12 июня приговорен к полутора годам условно и 15 тыс. злотых штрафа. — П р и м е р.

Пятницу непременно хотел выйти из типографии в церковь. Теперь мы уже привыкли выходить за покупками, но вылазка в суд создала бы риск серьезной слякки, а то и прямо 48-часового перерыва в работе. Ну, пока у нас еще есть время принять решение.

Зенек наложил матрицу, включил машину в розетку — начинаем. Я наливаю краску в барабан: при его оборотах центробежная сила будет отбрасывать краску на покрытую фланелью перфорированную сторону барабана, а резиновый валёк, прижимающий движущийся лист, вызовет продавливание краски через вырезанные в матрице отверстия в форме букв. Значит, краска должна быть такой густоты, чтобы оптимальное ее количество продавливалось через матрицу.

Зенек, который никогда не подготавливает краску, бросает мне через плечо свое сакраментальное «чересчур густая» — к счастью, это не вызывает никаких тревожных волнений, ибо мы не первый день знакомы и я знаю, что это было не сообщение о качестве краски, но скорее подчеркивание доктрины о руководящей роли Зенека, которую я, кстати, в полном объеме признаю. Эта руководящая роль основана не только на большом типографском стаже, но, прежде всего, на умении безошибочной подачи.

Любой электрический множительный аппарат, в том числе тот, на котором мы работаем, оснащен автоматическим подающим устройством, которое при каждом обороте вводит в машину один лист. К сожалению, устройство это весьма деликатно — особенно плохо оно реагирует на всяческие отклонения от установленных для бумаги нормативов, причем реагирует с бессмысленной последовательностью машины: чуть отвернешься, и уже комкаются впихиваемые один за другим листы, не находящие выхода, ибо какой-то из них оказался неровным и застрял по пути — подающее же устройство, как метла из сказки об ученике

чародея, продолжает подавать, пока его не выключишь.

Вдобавок наш старый А. Б. Дик вместе со своим автоматическим подавальщиком не был задуман конструкторами для переработки таких огромных количеств бумаги. Поскольку он, на наш взгляд, решительно работал слишком медленно, мы сменили прокладку двигателя, чтобы достичь скорости примерно 3 листа в секунду. Этого темпа подающее устройство уж вовсе не могло выдержать, и теперь его роль исполнял Зенек: в течение каждой секунды он рассчитанными движениями всовывает в машину три очередных листа. И так целыми часами: один номер «Информационного Бюллетеня» — около полумиллиона таких движений.

Машина пошла. Первые страницы еще не поддаются прочтению, краска медленно пропитывает фланель, и, как при проявлении фотографии, появляющаяся на очередных листах картина становится все четче, пока, наконец, можно всё прочитать. Хотя через наши руки прошли уже миллионы листов, десятки тонн бумаги, а все ж таки зрелище листов, ритмично падающих один за другим в приемник, завораживает. Тает на глазах кипа белой бумаги перед Зенekom, и одновременно растет передо мной гора отпечатанных листов. И вот уже следующая пачка. И еще следующая.

Заманенный мерным стуком машины, стоит в дверях дядюшка и, разумеется, точно так же, как и мы, глазееет на пролетающий через машину поток листов. Наконец, он оторвал взгляд от машины и озирает неузнаваемую комнату. Взгляд его падает и на пол, усеянный бракованными листами, — он наклоняется, подымает один лист, читает и, видимо, придя к выводу, что с листом все в порядке, вкладывает его в приемник. Делает он это вполне ловко, всего за каких-нибудь полторы секунды, так что на пол приземляется

всего 5 листов, только что напечатанных, которым он невольно загородил дорогу.

— Ишь ты, скотина, — ворчит дядюшка укоризненно, но отчасти и восхищенно, и для большей верности кладет руки в карманы.

Мы его хорошо понимаем: было время, когда мы часами перепечатывали Сообщения КОРа на машинке и каждый испорченный лист означал, что будет на один экземпляр меньше. Сегодня один лист — это 0,004 промилле используемой на один номер «Информационного Бюллетеня» бумаги, так что, если бы на полу оказалось целых десять пачек, это составило бы только 2% брака, о лучших результатах мы и не мечтаем.

Стало уже почти темно, так что, пользуясь присутствием дядюшки, мы просим какое-нибудь одеяло, чтобы завесить окно. Лучше не обращать ничьего внимания на свет, горящий несколько ночей подряд. Кажется, все вступительные работы закончены, и ближайшие дни — это только стук машины, подготовка новых партий краски, упаковка и распаковка бумаги.

Дядюшка пошел к себе, Зенек включает привезенное радио и, разумеется, на полную громкость заводит какую-то легкую музыку. Это источник наших главных типографских конфликтов: у меня нет слуха, и музыка для меня почти не существует, а уж та, которую так любит Зенек, да и не он один, запускаемая обязательно на полную громкость, представляет для меня физическое мучение. Ритмичный скрежет ударных вторгается мне в нутро, я слышу его в голове, в животе, повсюду. Поэтому я привез с собой наушники — не для себя, конечно, а для Зенека. Уже привыкнув к моему чудачеству, но все еще не умея его понять, Зенек, пожав плечами и улыбаясь, надевает наушники, и воцаряется... не тишина, а ритмичный стук машины, по существу дела назойливый шум, но

к которому я настолько привык, что он кажется мне тишиной.

Работа теперь идет однообразно, Зенек каждые несколько минут берет новую пачку, делая паузу только тогда, когда в наушниках начинают говорить. Тогда он выключает машину, крутит ручку приемника, и вот уже, как сквозь туман, тихонько доносится до меня из-под наушников знакомое бряцанье ударных. Зенек подает, я «обстукиваю» пачки. Падающие в приемник листы ложатся неровно, и, хотя их края отступают друг от друга всего на несколько миллиметров, такую пачку нельзя снова пропустить через машину, печатая на обороте. Края пачки надо выровнять так, чтобы они выглядели, как срезанные ножом. Каждый, кто хоть раз печатал на машинке в нескольких экземплярах, знает, как трудно ровно сложить несколько листов бумаги, — здесь этих листов 500.

Пачка почти никогда не является идеальным параллелепипедом, ее составляют листы не одного и того же размера — поэтому при обстукивании нельзя менять их очередность, не говоря уже о соединении листов из разных пачек: каждая такая ошибка искривляет край пачки и тут же производит брак — листы начинают идти через машину по два-три разом, а печать ложится, конечно, только на один. Важно еще при обстукивании не перевернуть часть листов вверх ногами (т. н. «валет») — что легко происходит при однообразной работе, — а то четная страница будет напечатана наоборот.

Я все стучаю. Зенек делает уже третью матрицу, гора пачек, покрытых печатью с одной стороны, растет. Они лежат ровными, но весьма шаткими, в любой момент готовыми упасть и рассыпаться колоннами по 12 пачек. К сожалению, нельзя сразу начинать печать четных страниц: надо дать краске подсохнуть, чтобы не смазывалась. Трогаю пальцем первую из сегодняшних пачек — все еще влажная. Что-то все-

таки не в порядке с краской. Останавливаем машину, доливаю олифы, разумеется, «на глазок», как всякая уважающая себя кухарка. Еще пара пачек, и все пойдет хорошо.

Выхожу в уборную. Звезды светят, где-то в сирени поет соловей, собаки подбегают, виляя хвостом. Обычный мир. Возвращаюсь страшно медленно, бросаю собакам палочки, глазею. Но надо вернуться. Уже на пороге как обухом ударяет типографский запах: масло, олифа, керосин и скипидар, используемые Зенком для промывания матрицы, которая, несмотря на выколачиванье бумаги, покрывается толстым слоем пыли уже после 2 тысяч экземпляров, — отравный конгломерат. Его действие на человеческий организм мы знаем уже хорошо; особенно мы его ощутили, когда печатали у одного присяжного моралиста: сей ученый муж приказал нам спать в том же подвале, где мы работали.

Но наступает 11 вечера, и радио меняет свое назначение: конец музыке — час политграмоте. Я отбираю у Зенка наушники и начинаю ловить «Свободную Европу». Из-за нее мы и возим радио с собой. Это советский транзистор «Спидола», на котором всегда удастся что-нибудь поймать. Сегодня ничего особенного: Афганистан, нефть, Общий рынок, Картер, Хомейни... Известия уже прошли, и Юзеф Птачек рассказывает своим слушательницам о вновь усилившихся преследованиях деятелей демократической оппозиции в стране.

### *Воскресенье*

Полночь. Провернули четвертую матрицу (из 79-ти), сейчас начнем печатать четные страницы. Короткий перерыв, я себе делаю чай, Зенек выпивает кружку сливок, доливаем еще краски и — поехали дальше. Теперь я не обстукиваю пачки — у меня другая работа: упаковка готовых и одновременно рас-

паковка, сортировка и выколачивание очередной порции бумаги. Машина идет отлично, напряжение в сети ночью поднимается почти до номинальных 220 вольт — когда в середине дня оно спадет до 170, барабан будет крутиться много медленней.

Зенек снова слушает свою музыку, у меня работы немного, и уже видно, что постепенно приближается первый кризис. С этим ничего не поделаешь: чем опытней мы в печатном деле, тем меньше сознание участвует в работе. Движения и действия уже автоматизировались, избавились от всего лишнего: машина стоит в таком месте, чтобы бумагу можно было доставать, не слезая со стула; губка увлажнена настолько, чтобы смачивала липкую ленту, не смывая клея; Зенек, подавая, шевелит лишь одним пальцем — словом, если бы мы печатали что-то безразличное для нас, мы, наверно, сошли бы с ума после одного трудового дня. Именно поэтому мы печатаем «Информационный Бюллетень»\*, журнал, который мы оба считаем самым важным в стране. Впрочем, мое суждение трудно признать объективным: я там постоянно печатаюсь.

Уже три, и мы оба начинаем кемарить, только Зенек старается не сознаваться. Когда-то у него была еще больше сопротивляемость усталости: мог поработать и 40 часов без сна. Теперь трудней — может, миновал период бури и натиска; может, просто годы летят; может, в костях отзываются все эти типографские и проведенные под арестом ночи (в марте отсидел 10, в апреле — 6, да еще так его избили, что не мог печатать предыдущий Бюллетень), а верней всего — всё вместе. В такой ситуации ничего другого не остается, как сбить гоголь-моголь и сварить какао. Содержание калорий в одной кружке равно половине суточ-

---

\* Журнал КОРа, выпускаемый издательством НОВА. — П р и м. п е р.

ной потребности спокойного чиновника, так что нам часа на два-три хватит.

Мы немного ожили, принимаемся разговаривать. Возвращается извечная тема, которую мы никогда не закончим: попытка истолковать политику властей по отношению к оппозиции, попытка определить цели, поставленные себе нашими противниками. Первый, наиболее близко лежащий вопрос: зачем вчера за нами гонялись? Арестовать нас явно не хотели, иначе арестовали бы. По опыту они должны уже знать, что в типографию мы их не приведем. И этот, десятки раз повторяемый вопрос: сколько мы стоим? Какую премию получит сотрудник, который обнаружит типографию? Но это уже вопрос чисто академический. Есть и более практические вопросы: если преследовавшая нас команда следила за квартирой, где мы оказались случайно, то они должны были рапортовать в центр о том, что оставляют занимаемый пост и начинают слежку за нами, — в этом случае шофер несколькими минутами позже должен был рапортовать, что потерял нас, и, вероятно, его за это не похвалили.

— Ты уж за него не переживай, — прерывает мои рассуждения Зенек, — такого, наверно, наврал, что вышел сухим.

— Вероятно, ты прав. Это объясняло бы их необучаемость как результат опоры на ложные послышки, — моя склонность к рационализации окружающего абсурда доходит почти до патологии.

— Ясю, краска, — это Зенек возвращает меня к действительности. Во время дискуссии печать в нижнем углу очередных — я считаю на глазок — двухсот листов начинает опасно бледнеть, доходя до границы читаемого. Доливаем. С чувством вины надеваю перчатки и готовлю краску про запас — полный горшок. Пол-шестого, Зенек кончает восьмую матрицу. Это уже 10% работы. Лишь бы и дальше так.

Снова печатаем нечетные страницы, кончилась упаковка, и снова я должен прихлопывать расхристаные пачки. Но какао еще действует, так что я возвращаюсь к размышлениям о полиции. На что им нужен процесс Мирека? Согласно классическому принципу *сui prodest*, в процессе должен быть заинтересован скорее сам Мирек, чем полиция, ибо вместо того, чтобы затруднять работу издательству НОВА, процесс создает ему огромную рекламу. Более того — как раз сейчас мы печатаем открывающие номер Бюллетеня материалы, посвященные голодовке: отчет очень спокойный, без бахвальства, поэтому в нем не говорится о том эйфорическом настроении, которое пережили и голодающие, и их друзья, и тысячи людей, приходивших в костел в Подкове. Мы не одни — за каждого из нас, если придется, будут бороться тысячи людей. После такой инъекции надежды жить легче.

Легче, не легче, а барабан от воспоминаний о голодовке не крутится быстрее, листы не входят в машину сами, пачки по-прежнему нужно обстукивать. Так что мы еще вспоминаем, как после служб люди буквально кидались на «литературу», которой постоянно не хватало, и — наконец, закончена десятая матрица. Утро, 8 часов. Дядюшка давно уже возится во дворе, кормит кур, что-то приводит в порядок. Мы принимаемся готовить завтрак, но все валится из рук. Все вокруг какое-то противное, начиная от наших собственных рук, которые мы с трудом отмываем от краски с помощью жидкости «Пух», предназначенной для стирки тонкошерстяных тканей. Много съесть нам не удастся, зато за чаем нас охватывает волна тепла и тяжести. Единственный выход — быстро вернуться к работе.

Зенек вышел в уборную, я пока что могу потренироваться в подаче. У меня это плохо получается: я не могу уловить ритм машины, а поскольку мы всегда спешим, Зенек практически не дает мне времени

учиться. Надеваю вырезанный из резиновой перчатки палец, беру новую пачку и — пошел. Та-тата-та-тата-тата-та — ритм неровный, лист я чаще всего запускаю через один оборот барабана, пачка у меня разъезжается, и я вижу, что в машину входит по два, а то и по три листа за один раз, — одним словом, омерзительно. Я уже заканчиваю пачку, а тут и Зенек возвращается. Отдаю ему палец и принимаюсь приводить в порядок свою продукцию.

Мало того, что пачка, которую я напечатал, куда более неровная, чем те, что делает Зенек, — мне еще приходится вынуть из нее плохо запущенные листы, которые попали в машину в неудачный момент, так что напечатанный текст снизу обрезан. Таких около пятидесяти. Зенек поворачивает счетчик на шестьдесят обратно и сонно продолжает подавать. Еще одна матрица — и снова будем делать четные страницы. Все сильнее клонит в сон. Наконец я заявляю шефу, что иду спать. Это единственный способ решения вопроса, потому что, если Зенека не вынудишь, он от машины не отойдет. Кончаем двенадцатую матрицу. Дело идет как-то легче, словно лошадь, почуявшая близко конюшню. Всё. Вливаю в барабан еще бутылку масла, чтобы краска не засыхала, кое-как умываемся и идем спать.

Почти полдень, ослепительно светит солнце, но нам ничто не мешает заснуть. Лишь мгновение под закрытыми веками летят листы.

— Herr Doktor, aufstehen, — я щурю глаза: что за чёрт? Это дядюшка от своей пишущей машинки. Зенек уже гремит чем-то в кухне. Уже, видно, представил меня дядюшке. Тяжело пошевелиться, но кое-как сползаю.

Ловко маневрируя между горами грязной посуды, Зенек готовит «яичницу по-типографски». Принимаюсь за мытье посуды. Съели ужин, голова тяжелая, выхожу во двор покурить. Чуть лучше. Еще кофе.

Зенек не пьет, ему вредно, зато я хлещу за двоих. Насилуемая физиология потихоньку приходит в норму, работаем.

Зенек делает четные страницы, а запас бумаги кончается, так что я, как маятник, курсирую между типографией и ригой, относя печатную бумагу и принося чистую. Собаки цепляются по пути, хотят поиграть. Зенек печатает без остановки. Пятнадцатая матрица. Распаковываю около двадцати пачек, одновременно упаковываю готовые, одновременно факты события мнения\*. Полночь.

### *Понедельник*

Кофе, какао, чай, завтрак, двадцать вторая матрица, чай, сливки, 26-я, обед, 30-я, идем спать раньше дядюшкиных кур.

### *Вторник*

Спали 12 часов. Дядюшка на завтрак принес свежие булочки, с утра жара и смрад. Осталось еще 49 матриц, до процесса два дня. Нечего надеяться успеть хотя бы на второй день. Прервать или не прервать? Стучу, пакую, ношу пачки туда и обратно. Вдруг в дверях натыкаюсь на неизвестного, элегантно одетого мужчину. Он мне улыбается. Сейчас, ну да, конечно, это же дядюшка в костюме и в галстуке. Он едет в Варшаву, на заседание Философского общества, членом которого он является. Мы обмениваемся несколькими словами, дядюшка произносит апологию Жана-Жака-Руссо, но внезапно стук машины за стеной умолкает, слышны только извергаемые Зенеком проклятья.

На полуслове прерываю дядюшкину речь и бегу в типографию: если Зенек ругается, что-то приключи-

---

\* «Факты. События. Мнения» — постоянная программа польской редакции «Свободной Европы». — П р и м. п е р.

лось. По локти вымазавшийся, он безуспешно пытается склеить лопнувшую матрицу.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Отрезал себе второй палец, — начинает объяснять разнервничавшийся Зенек.

— А кабы ты в трясину! — бранится дядюшка. — Та я ж говорил, драному до работы-то не братья! — в панике восклицает член Философского общества, только что разговаривавший со мной что ни на есть литературным языком.

Напряжение лопнуло, мы с Зенеким помираем со смеху.

— Та ж он от перчатки палец отрезал, — объясняю я дядюшке, сам не зная, как и когда впадая в певучий диалект. Дядюшка, слегка насупившийся из-за нашего хохота, сменил гнев на милость. Дело прояснилось: Зенек невольно пропустил сношенный резиновый палец вместе с бумагой в машину — матрица не выдержала. Склеить не удастся, потому что дыра посередине. Нам повезло еще, что дядюшка едет в Варшаву.

Откладываю сделанную часть 37 страницы в угол, Зенек ставит новую матрицу. Теперь мне надо поручить дядюшке задание: позвонить дежурной машинистке, представиться под фамилией Квятковский и спросить, не хочет ли она купить вельвет, который заказывала, а когда она спросит, сколько этого вельвета, ответить — 37 метров. Номер телефона я написал дядюшке на листочке, текст повторяю, дядюшка повторяет за мной — завтра нам должны привезти перепечатанную матрицу.

Уехал. Темнеет. Для разнообразия слушаем Варшаву. Говорят о смерти Спыхальского.

— Может, теперь отнесем твой венок? — спрашивает Зенек.

В первый момент я ничего не понимаю, потом вспоминаю одну из давних идей, родившихся в типо-

графии. Однажды, во время очередной нашей работы, умер генерал полиции, высокий чин МВД. Я тогда придумал поход на похороны с роскошным венком, украшенным лентами с надписью «Незабвенному сотруднику — КСС-КОР». Воображаемые сценарии следствия в кругу адъютантов и подчиненных покойного развеяли скуку многих часов печатанья.

К маршалу Сейма на пенсии эта идея подходит много хуже, но Зенек пробудил мое воображение.

— Слушай, кто знает итальянский? — мой вопрос загадочен для Зенека.

— А тебе на что? Может, кто-нибудь из курии, — отвечает он, однако, вполне разумно.

— Курия меня не очень-то устраивает. Я предпочел бы кого-нибудь из знакомых. Идея простая: накануне процесса Хоецкого позвонить вечером начальнику госбезопасности генералу Кшиштофорскому и сказать: «Буона сера. (Дальше, к сожалению, я по-итальянски не умею.) Говорят Красные Бригады. Мы только что прибыли в Варшаву. Знаете ли вы, что мы очень не любим судей, которые выносят приговоры невинным людям? До завтра».

Теперь нам забавы хватит до полночи. Сценарии паники госбезопасности. Обыски в гостиничных номерах итальянских граждан. Здание суда оцеплено войсками, судья Александров пьет валерьянку стаканами, и так далее и далее. Зенек даже радио не слушает, мы не заметили, как доехали до 44 матрицы, 23 часа — известия. Полным-полно Хоецкого. В «Таймсе» интервью, в «Ле Суар» большая статья, протестуют американские печатники и британские юристы, КОР выпускает заявление, что пустит в ход все доступные средства действия, представитель Международной Амнистии едет в Варшаву, Союз ветеранов АК находит для печатников самые теплые слова — великий праздник на носу, а мы в типографии.

## Среда

В начале первого возвращается дядюшка, прямо с порога заводя дискуссию о Бжозовском. Я резко прерываю его, чтоб узнать, что с матрицей.

— От, что-то пан напутал, — машет рукой дядюшка. — Звоню, спрашиваю — это пани Квятковская? — а она мне говорит, что ошибка. Та я проверил номер, звоню за другим разом, спрашиваю — этот? — этот, говорит, но Квятковская никакая не живет. То я ей на это: мне сюда надо было позвонить, а нет ли у нее 37 метров вельвета. Так она и про вельвет стала пытаться, я и разъединился.

Мы оба стараемся сохранить каменные лица, благодарим дядюшку и уверяем, что как-то все образуется, хотя мы не слишком уверены, поняла ли его Эля. Еще на одной дозе какао дотягиваем до 50-й матрицы и в пять утра идем спать. В полдень нас будит Юрек — привез матрицу. Еще у него две матрицы «Пульса»\*, потому что при брошюровке оказалось, что одной страницы мы сделали на сто экземпляров меньше, надо допечатать.

Юрек первый раз в типографии и хотел бы попробовать выучиться печатному делу, потому Мирек его и прислал. Он в белых джинсах и, конечно, не взял рабочей одежды. Он твердит, что будет осторожен и не запачкается, но мы с Зенексом знаем свое ремесло и нереальность его надежд. К счастью, у дядюшки находится какая-то более подходящая одежда. Ученик нам не в новинку, не один уже у нас был, но мало кто выдерживал. Самым способным оказался Тадеуш — непечатаемый писатель, который молниеносно освоил ремесло и создал собственную бригаду.

---

\* Независимый «нерегулярный литературный ежеквартальник», выпускаемый издательством НОВА. — П р и м. п е р.

Является дядюшка с цветным портретом Пилсудского.

— Как двое было, то могло быть безголовье, а когда трое, так надобен и Комендант, — объясняет он, вешая олеографию на стену. — Теперь вы взаправду имени J. P.\*, — добавляет он, любуясь делом рук своих. Я постепенно ввожу Юрека в тайны ремесла. Пока что идет со скрипом, зато мы получили нового собеседника. Мы его знаем мало, так что какое-то время пройдет в рассказах о себе.

Окончили отложенную 37-ю, делаем уже 52-ю. Юрек спрашивает, знаем ли мы, как ехала в типографию эта бумага. История оказывается потрясающей. У кого-то на обыске нашли листок бумаги с тремя адресами. На нем, правда, не было написано, что за ними скрывается, но, поскольку это были адреса трех квартир, где хранилась бумага, действовать надо было немедленно. Известно, что, пока бюрократическая машина проанализирует находку и примет решение, бумагу можно спасти.

— И, действительно, из одной квартиры ее вывезли беспрепятственно, — рассказывает Юрек. — Другая порция бумаги была у Ани, которая живет рядом с одним из членов КОРа, в соседнем доме. Когда мы приехали за бумагой, гебисты крутились по улице. Мы надеялись, что они следят не за Аниной квартирой — Ани, к тому же, не было в Варшаве, — а за ее соседом. По-тихому, не зажигая света, мы забрали бумагу из квартиры и погрузили в наш «фиат». Увы, за нами тронулись еще два. Вскоре, на Вислостраде, к группе из трех машин присоединилась четвертая. Полицейские, видимо, не хотели нас хватать, но, как

---

\* Типография называется «Свободная полевая вальково-баранная типография имени J. P.» — как пишет автор обзора независимой польской прессы в № 21 «Континента», одни расшифровывают это как «имени Яна Палаха», другие — как «имени Юзефа Пилсудского». — П р и м. п е р.

всегда, надеялись, что мы их куда-нибудь приведем, поэтому изо всех сил притворялись, что едут вовсе не за нами, а так, случайно, машина за машиной.

На этом-то и был основан весь план, — продолжает Юрек со все большей горячностью, — в какой-то момент четвертая машина нашей колонны обогнала две полицейские и оказалась прямо за машиной с бумагой. Полицейские не противодействовали, считая, видимо, что так даже лучше: они нас видят, а на колесе у нас сидит кто-то другой. Вдруг мы сворачиваем в узкую боковую улочку, сплошь, с обеих сторон, заставленную стоящими машинами. И в самом узком месте идущая за нами машина — ломается. Останавливается, мы видим, как шофер выходит, поднимает капот, сзади подбегают шпики! Полный газ, поворот, еще поворот. Вышло.

К сожалению, третья порция бумаги погорела. Полицейские заявили хозяину квартиры: выдаст бумагу — обыска не будет.

— Опустошили подвал и уехали, — кончает свой рассказ Юрек.

Вечер наступил, болтаем, осталось двадцать матриц. Завтра в 9 начинается процесс Мирека. Ясно уже, что на второй день поспеем. Юрек уже довольно прилично обстукивает пачки, пакует совсем хорошо. Теперь пойдут четные страницы, так что я на пару часов прилягу.

### *Четверг*

Юрек будит меня вскоре после полуночи. Стакан чаю, кусок колбасы — и я чувствую себя почти отдохнувшим. Начинаю уговаривать Зенека ненадолго прилечь, тогда дотянем до конца без остановки. Просматриваю 15 оставшихся матриц. Две последние, как мне и казалось, занимают меньше, чем по странице, так что не страшно, если низ будет срезан. Удалось — Зенек, как обычно, ворчит, но идет спать.

Работаем вдвоем с Юреком. Беспорядок в типографии нарастает. Я подаю намного медленней, чем Зенек, но Юрек, дебютант, все равно не поспевает с выравниванием. Около шести утра я на середине своей третьей, уже нормальной величины матрицы, и тут просыпается Зенек, злой, потому что я обещал разбудить его в три. Прогоняем спать Юрека, заявляющего, что он чувствует себя прекрасно, но на самом деле страшно усталого.

Завтрак. Последний в типографии. Яичницу мы уже видеть не можем, съедаем немного хлеба с сыром, я ем еще банку шпротов, Зенек делает себе корнфлекс на молоке, еще последние огурцы из запасов, и за работу. Теперь каждая матрица — ощутимый шаг к выходу на свет. В полдень осталось еще семь, встает Юрек, начинаем понемногу прибирать помещение. Я развожу еще немножко краски, и уже можно мыть и укладывать миксер, ситечко и один горшок, наконец заливаем в барабан остаток краски, Зенек все время подает, я обстукиваю последние пачки, конец, теперь пойдут только четные страницы, только упаковка.

Еще надо уложить в порядке готовые пачки в риге, потому что каждый комплект «Бюллетеня», состоящий из 500 экземпляров, заберут для брошюровки в другое место, и надо, чтобы при перевозке ничего не перепутали.

Восемь вечера. Зенек кончает последнюю матрицу. Я собираю в большой бумажный мешок бракованные страницы с пола и развожу в саду большой костер. Зенек закончил. Теперь только машину вымыть. Выливаем остатки краски из барабана, вливаем масло, потом чуть-чуть разведенный водой «Пух». Последняя фаза мытья барабана — самая противная, скипидаром. Зенек, однако, делает это старательно, иначе остатки засохшей краски очень осложнят следующую работу.

Одновременно я чищу механизмы машины, покрытые толстым слоем бумажной пыли, залитые краской. Все это надо развинтить, вымыть керосином, смазать, наконец снова собрать. Мы крутимся, как крапивой подхлестываемые, чтобы до ночи поспеть в Варшаву. «Свободная Европа» передает какие-то неясные известия с процесса, главное — мы узнаём, что Мирек не признал себя виновным. Кончаем мытье машины, Юрек складывает 50 отложенных экземпляров Бюллетеня — сигнальных, которые через час-два уже пойдут по городу.

Еще машину в ящик и в ригу, мебель на место, моемся, прощаемся с дядюшкой, оставляем ему два «Бюллетеня». Вещи в сумки и — в Варшаву. Мы идем с тяжелыми сумками к вокзалу, и тут подворачивается такси. Чего экономить, когда мы заработали кучу денег. В Варшаву. Отвозим Юрека домой, договариваемся встретиться завтра в суде и едем по хорошо известному нам адресу доложить об окончании работы и — *last not least* — получить заработанные деньги.

Доехали. Начало двенадцатого — по диссидентским нравам, время вполне приличное. В квартире полно людей — чуть не половина редакторов «Бюллетеня». Сегодня нас не ждали, поздравляют, смотрят готовый номер, рвут из рук экземпляры. Спрашиваем номер зала и время начала завтрашнего судебного заседания. И тут нас оглоушивают: дело закончено, час назад вынесен приговор. Севек как раз приехал из суда.

Мы чувствуем себя так, словно кто-то из нас выпустил воздух. Снова типография у нас что-то отняла. Зенек с бухгалтером «Бюллетеня» рассчитывают наш заработок, еще только вычит 5% в кассу нашего Союза независимых полиграфистов, Зенек отсчитывает долю Юрека, остальное делит пополам — но на этот раз мало радости от денег, преобладает ощущение невезенья, у Зенека связанное попросту с нерастраченной активностью и стремлением присутствовать везде,

где происходит что-то важное, для меня же это еще одна пропавшая отличная журналистская тема.

Но все вокруг радуются, завтра выходит Богдан\*, «Бюллетень» готов, еще только его надо вывезти из типографии в пункты брошюровки. Заспанными глазами мы видим листки, на которых Севек пишет адреса, куда развозить, кто-то дает нам холодного пива. Полночь. Домой, в ванну, в ванну.

ВАЛЬЦ Ян — родился в 1947 г., окончил факультет польской филологии Варшавского университета. Недолгое время печатался в еженедельнике «Политика». До смерти Ярослава Ивашкевича (1980) был его секретарем. С 1976 г. в связи с участием в документах протеста был подвергнут запрету на публикацию — в частности, остается неопубликованной его диссертация о творчестве Тадеуша Конвицкого. Постоянный сотрудник независимой прессы — «Информационного бюллетеня» КОРа, «Глоса», «Критики», сначала под псевдонимом Ян Воречко, затем под своим именем. Его статья «Похороны Яна Воречко» была стимулом к отказу ряда других самиздатских авторов от использования псевдонимов.

---

\* Богдан Гжесяк, печатник независимой типографии, проходил по делу с Хоецким, получил тот же условный приговор. — П р и м е р.

# ИСТОРИЯ

Виктор Каган

## В. Г. КОРОЛЕНКО EN FACE

### I

В. Г. Короленко вошел в историю русской культуры как писатель-художник, гуманист и правозащитник. Его принципы гуманизма во многом резюмирует дневниковая запись 14 марта 1887 года:

/.../. Нельзя не противиться злу — как рекомендует Толстой — даже силой. Но не следует и воспитывать, раздувать чувство классовой и всякой другой ненависти одних людей к другим. Негодование против данного зла, поддерживаемого данными людьми — законно, законна и борьба с этим злом. Но ненависть ведет к мести, а месть /.../ преследует самих людей, даже когда они отступились от прежнего.

/.../ ненависть к противнику /.../ всегда портила дело свободы. Начиналось преследование не поступков и зла, а людей и их мыслей.

/.../ так как история действует посредством лиц, так как лица выступают на защиту ненормального положения — то придется бороться и с лицами. Но не думайте, что нужно этих лиц ненавидеть, что это те чудовища-аристократы, те вампиры, какими рисовали их Мараты. Нет, это люди, в которых теперь нашло опору данное зло, но в которых есть и много добра. Они любят, жалеют, они умеют умирать за свою идею (какова бы она ни была), как и вы за свою. И не думайте также, чтобы вы и ваши были осуществлением добродетели. Вы тоже люди. Боритесь за свою идею, но не осмеливайтесь забыть человека в вашем враге.

Эту малоизвестную запись (дневники частично вошли в Посмертное собрание сочинений, Госиздат

Украины, 1923-1928, — и с тех пор не переиздавались) дополняет эпизод из «Истории моего современника»:

/.../ внуку, настроенному радикально, представляется дилемма: взять для дела, которому как раз в это время нужны деньги до зарезу, или воздержаться... Дед даже не узнает о пропаже. Никто не страдает. А для дела так нужно...

/.../. Он подумал еще и сказал:

— Да, вижу, надо бы взять... Но лично про себя скажу: не мог бы. Рука бы не поднялась.

/.../ мне часто приходило в голову, что очень многое было бы у нас иначе, если бы было больше той /.../ нравственной культуры, которая не позволяет некоторым чувствам слишком легко, почти без сопротивления, следовать за «раскольничковскими» формулами. /.../. Да, русские руки часто слишком легко подымались и теперь подымаются на многое, на что бы не следовало (кн. 2, ч. III, гл. 6).

В представлениях о гуманизме и сегодня широко распространены два «уклона», ведущие, в сущности, к одной цели: увильнуть от моральной ответственности за свои действия («морально все, что идет на благо революции») или за свое бездействие («согласитесь ли вы быть архитектором такого здания?», «не стоит вся ваша всеобщая гармония одной слезы одного ребенка»). Короленко, как видим, умел выпрямить палку, не перегибая ее в противоположную сторону.

Правозащитную деятельность В. Г. Короленко до революции достаточно полно освещают советские публикации, рисующие его портрет как бы в профиль. Профиль с другой стороны — истинное отношение Короленко к большевикам и его правозащитную деятельность после прихода в Полтаву советской власти — восстановить по ним почти невозможно. Лишь изредка встречается неудовольствие «ошибками» гуманиста, заступавшегося за истребляемых (Ленин в письме к Горькому 15. 09. 19) или снисходительные сентенции вроде того, что «в идее» Короленко пришел бы «к слиянию с основной рекой революционной практики»,

проживи он подольше (Луначарский. «В зеркале Горького»).

Коммунисты всегда выставляли себя продолжателями всего лучшего, созданного человечеством, и зачисление выдающихся людей в свои предшественники и единомышленники было и остается одной из важных задач коммунистической фальсификации истории. Определение «история есть политика, обращенная в прошлое» своей излишней откровенностью наделало немало неприятностей представителям «школы Покровского», но «разоблачение» их «ошибок» лишь открыло парад «созвучных феодалов», начиная с Александра Невского, деятельность которых интерпретировалась исключительно с позиции злобы дня.

Легенда, будто октябрьский переворот 1917 года был в какой-то мере подготовлен деятельностью той части интеллигенции, к которой принадлежал В. Г. Короленко, оказалась очень живучей. Она и сегодня еще сбивает с толку многих и в СССР, и в эмиграции — вопреки очевидной невозможности указать принципиальную грань, отделяющую нынешних красносотенцев от прежних черносотенцев. С одной стороны, перед нами пример В. В. Шульгина — «зубра», монархиста, правого депутата Думы, издателя «Киевлянина», одного из организаторов Добровольческой армии и... гостя на XXI съезде КПСС, выступавшего со статьями на страницах «Известий» и снимавшегося в советском фильме «Перед судом истории», в котором он «играет» самого себя. Пример далеко не единичный. С другой стороны, позиция современных правозащитников (В. Буковский, «Континент» № 23, стр. 196) в точности совпадает с позицией В. Г. Короленко. Но для тех, кто смотрит на мир подобно кинокамере при работе крупным планом, факты вещь не упрямая, а услужливая...

При советской власти В. Г. Короленко фактически был лишен возможности выступать как публицист.

Теперь писать для печати мне негде.

(Из письма к Х. Г. Раковскому 04. 05. 19.)

Его утешением оставалось

...общее сочувствие и общества (образованного), и рабочих масс, которые угадывают ту дружбу, которую я к ним всегда питал, и теперь правильно оценивают мое общее направление, далеко не совпадающее с официальным.

(Из письма к В. Н. Григорьеву 29. 07. 21.)

Поэтому все записи Короленко последних лет его жизни, которым посчастливилось выскользнуть из-за железного занавеса, и все крохи воспоминаний о нем, относящихся к этому периоду, заслуживают особого внимания.

## II.

Д. М. Стонов (1898-1962) в 1921 году организовал в Полтаве журнал «Радуга». Он еще успел познакомиться с В. Г. Короленко. Вот что сохранилось в памяти из отрывочных рассказов, слышанных от него в лагере.

\* \* \*

Полтавчане, встретя Короленко на улице, уступали ему дорогу, останавливались и снимали шапку. Он, смущенный, застенчиво улыбаясь, как-то боком проходил мимо.

\* \* \*

Председатель полтавской губчека, бывший матрос, кровожадный убийца, рассказывал:

— Понимаете, когда этот старик смотрит прямо тебе в лицо и просит, нет, не просит, а требует за

арестованного, так не только что я, а даже сам секретарь губкома, товарищ /имярек/, теряется и не смеет ему слова сказать.

Впоследствии оба они — и секретарь губкома, и председатель губчека — были уничтожены как «враги народа».

\* \* \*

В. Г. сказал:

— Этот человек позорит звание писателя, я за него не могу заступаться.

/Речь шла о литераторе, человеке морально нечистоплотном, арестованном в результате какой-то некрасивой истории. Стонов рассказывал ее довольно подробно, он сам тогда вызволил этого человека. Не помню ни истории, ни имени литератора./

\* \* \*

Зять В. Г. Короленко, К. И. Ляхович, гласный городской думы, активный общественный деятель, был арестован и заразился в тюрьме сыпным тифом. Отданный семье, он через неделю скончался. Полтавские обыватели мало разбирались в политике, но это был зять Короленко. Жизнь в городе замерла: все вышли на похороны. Ничего не видел величественнее этого шествия огромной толпы в полном молчании. Короленко шел за гробом, его голубые глаза были полны слез, борода развевалась. Жена и овдовевшая дочь поддерживали его под руки.

Председатель совнаркома Украины Х. Г. Раковский, приезжая в Полтаву, всегда останавливался у Короленко. После смерти Ляховича Короленко отказался принять его в своем доме.

/Короленко писал в дневнике, что Ляховича «очень любили рабочие. Он с ними работал с 1905 г... Хоро-

нить собрался весь город... Профессиональные союзы все явились /.../. Мне его смерть тяжелый удар».

У дочери В. Г., как и у Стонова, было впечатление, что «тысячную толпу, тихо шедшую за гробом, объединяло сочувствие к Короленко» (С. В. Короленко. «Книга об отце», стр. 355)/.

\* \* \*

/Письмо В. Г. Короленко к Стонову — ответ на просьбу принять участие в альманахе/.

Мне было бы приятнее ответить Вам согласием, нежели отказом, и я объяснюсь подробно, чтобы Вы правильно поняли мои побуждения.

После установления советской власти, в Полтаве начали издавать газету «Известия». Редактором газеты был некто Энтин. Меня пригласили сотрудничать в качестве постоянного корреспондента. Я согласился.

В 1918 году в «Известиях» была напечатана статья Пятакова, восхваляющая красный террор. Я немедленно написал возражение на статью Пятакова, высказав все, какие мог, доводы против террора, заимствованные преимущественно у социалистических авторов. Моя статья напечатана не была. Более того, в «Известиях» появилась статья некоего Жарковецкого, в которой между прочим заявлялось, будто постоянный корреспондент газеты Короленко солидаризировался со статьей Пятакова. Я послал в редакцию протест. Протест напечатан не был. Я послал письмо с просьбой вернуть рукопись моей статьи, так как не оставил у себя копии. Редакция отвечала презрительным молчанием. Тогда я дал себе слово, что впредь ни одна моя строчка никогда больше не выйдет под большевистской вывеской.

Повторяю, мне было бы приятнее ответить Вам согласием, нежели отказом, но теперь Вам должно быть понятно, что предложение Ваше для меня неприемлемо.

/Воспроизведение пересказа Д. М. Стонова. Письмо было изъято у него во время обыска при аресте в 1949 году. Копия, оставшаяся у Короленко, хранится в отделе рукописей Центральной публичной библиотеки им. Ленина в Москве. Оригинал, по всей вероятности, уничтожен. Следователь черкал на нем чернилами, а на восклицание Стонова:

— Что вы делаете! Ведь это письмо Короленко!  
— ответил:

— Подумаешь, очень нам важна какая-то антисоветчина!

Вполне допускаю, что имя Короленко ему и в самом деле ничего не говорило. Безграмотность советских следователей была поразительна. Например, в Алма-Ате в 1944 году следователь записал в протокол, что студенты организовали вечер «английской баланды», и впоследствии пришлось объяснять ему разницу между баландой и балладой.

В дневниках Короленко, опубликованных в сборнике «Память» № 2, есть относящаяся к этой истории запись о Жарновецком. В редакционном примечании сказано, что он был тогда редактором полтавских «Известий». Об Энтине не говорится ничего./

### III

Кто-то из царских чиновников назвал Короленко злостным законником.

В телеграмме Президиума ВЦИК, посланной семье по случаю его кончины, Короленко назван благородным другом и защитником всех угнетенных.

В. Г. Короленко действительно защищал угнетенных — невзирая на лица угнетателей. И до конца жизни боролся с произволом — назывался ли тот административным усмотрением царских чиновников или революционной законностью диктатуры пролетариата.

*Сентябрь 1980. Иерусалим.*

К СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ  
ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО  
1910—1980

ДМИТРИЙ ЕГОРОВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ...

Публикация и комментарий Марка Поповского

Начинать приходится издалека. Более тридцати лет был я в Советском Союзе журналистом и писателем, писал о людях и проблемах науки. Выходили у меня книги, в центральных и провинциальных газетах и журналах публиковались статьи, очерки, корреспонденции. И одновременно, начиная с 1964 года, жил я второй, потаённой жизнью: в секрете от властей собирал материалы и писал сочинения, для подцензурной печати не предназначенные. Тогда еще о публикации на Западе речи не было, просто считал я нужным сохранить правду о событиях и людях, которых официальные власти хотели бы затоптать в беспамятство, предать забвению. Так были написаны биографии умершего в тюрьме от голода академика-биолога Николая Вавилова, а затем история жизни профессора-хирурга и епископа русской православной церкви Луки Войно-Ясенецкого. Эти тайные книги отличались от явных тем, что автор позволял себе доходить до корня событий, выяснять всю правду. В этой своей потаённой литературной жизни мог я, наконец, исполнить свой подлинный долг писателя и историка. Надо ли говорить, что именно эти тайные книги были мне всего дороже. Особенно дорогим для меня было то, что смог я, наконец, писать о главной теме, которая меня занимала более всего: о том, что происходит с нравственным чувством человека в обстановке несвободы. Лышу себя надеждой, что один из первых взглянул я на историю советской науки с точки зрения этики, с позиции совести ученого. Книжки эти, напечатанные на машинке, ходили в те годы по рукам, уходили из Москвы в Ленинград, Киев, их увозили в Сибирь и в Среднюю Азию. Кончилось это тем, чем и надлежало кончиться: среди доверенных моих читателей нашелся предатель (дело было в Воронеже), против автора предприняты были общеизвестные кагэбешные меры, и мы с женой оказались в Америке.

Но независимо от меня расширившийся круг читателей принес мне в конце 70-х годов и нечаянную радость. Друзья сообщили, что

рукописи мои заинтересовали толстовцев, последователей религиозных взглядов Льва Толстого. Люди эти хотели бы со мной встретиться и кое-что обсудить. Я был удивлен: на шестидесятом году советской власти — толстовцы? Да откуда же они взялись? Как и большинство людей, родившихся в СССР после 1917 года, я ничего не знал о судьбе последователей Льва Толстого. А если говорить совсем уж откровенно, то и самую религиозно-философскую доктрину эту представлял я себе крайне туманно. Да и откуда было узнать? Отношения с Л. Н. Толстым у советского человека крайне сложны. С одной стороны, жили мы в стране подчеркнутого культа Толстого: в городах и поселках именем его названы улицы, площади, библиотеки, в школах и университетах изучают произведения великого писателя; ему ставят памятники и выпускают его произведения большими тиражами. Но выпускаются только художественные произведения Льва Толстого. Философские труды его можно найти в полном составе только в одном, крайне редком и малодоступном 90-томном издании Толстого, выпущенном тиражом в 5.000 экземпляров.

О взглядах писателя советским гражданам предлагают судить по статье Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Главная мысль статьи сводится к тому, что Толстой великий писатель, но бездарный философ. Философия его не только не серьезна, но и вредна. Читатель статьи (ее обязан знать в СССР каждый школьник) на всю жизнь запоминает, что «Толстой смешон как пророк», что толстовцы «мизерны», что идея личного усовершенствования — бред, а тот, кто по соображениям нравственного порядка отказывается от мяса, — юродивый.

Профессора, учившие меня на филологическом факультете Московского университета, следующим образом дополняли основополагающие мысли товарища Ленина. «Вокруг великого художника, — говорили они, — действительно вились какие-то малоценные субъекты, объявляющие себя его последователями. Но субъекты эти недостойны упоминания, ибо они были врагами социал-демократии, противниками науки и прогресса». Делалось и другое разъяснение: «Толстовство — такой же темный угол биографии Льва Толстого, как и донжуанский список Пушкина. Этим темным углам касаться не следует, дабы не омрачать великие и дорогие для нашего народа образы».

Так и прожило три поколения советских людей в убеждении, что великий писатель зря баловался философией, в которой он решительно ничего не смыслил. Этот тезис мы находили в энциклопедии

диях, в литературных справочниках, в юбилейных статьях, в комментариях к произведениям Толстого. В длинной и невразумительной записи, которую глава партии и государства Л. И. Брежнев сделал 17 января 1977 года в книге почетных гостей Дома-музея в Ясной Поляне, снова упоминается только Толстой-художник, автор «Войны и мира». О Толстом-философе Брежнев или ничего не слышал, или предпочел традиционно умолчать.\*

Толстовец из города Куйбышева Илья Петрович Янков в письме ко мне так прокомментировал этот эпизод: «Вы конечно знаете, что означает еврейское обрезание. Так вот наподобие этого наш вождь, побывав в Ясной Поляне..., о б р е з а л Толстого по «Войну и мир»... Даже в Японии Толстого зовут не иначе как Учитель. А для Брежнева деятельность Толстого не превышает ценности автора 'Войны и мира'»\*\*.

Илья Янков был первым живым толстовцем в моей жизни. До этого в сознании маячили какие-то туманные образы: очкастые и бородатые мужчины в сапогах и косоворотках, которые до революции читали брошюры с толстовскими сочинениями и собирались организовывать кооперативные предприятия. Их поддерживал друг Льва Николаевича Чертков и почему-то не любила и звала «темными» Софья Андреевна Толстая. Вот, пожалуй, и всё, что помнилось мне о толстовцах до той поры, пока не повстречал я Илью Янкова и не попало мне в руки письмо в Генеральную прокуратуру СССР крестьянина Моргачева. Дмитрий Моргачев просил реабилитировать его и его товарищей, осужденных за толстовство. Ответной бумагой прокуратура извещала гражданина Моргачева, что в действиях его состава преступления не обнаружено и поэтому дело номер 13/3-137804-40 будет прекращено. Обычная вроде бы переписка, обычные формулировки. За два с лишним десятилетия после смерти Сталина миллионы людей подавали в прокуратуру такие письма и получали такие ответы. И, тем не менее, письмо Моргачева несколько не походило на такого рода прошения. Вчерашние жертвы террора пользуются, как правило, безучастным стертým языком канцелярских протоколов. Ужас перед всесилием власти всё еще сдавливает им гортани. Так же невнятно, как бы цедя свой ответ сквозь зубы, отписываются и прокуроры. Реабилитационные документы составлены так, что не ясно, кто же в конце концов вино-

---

\* «Правда», 1977, 18 янв. «День памяти великого русского писателя».

\*\* Письмо из Куйбышева от 20 янв. 1977.

ват. Человеку, просидевшему годы в каторжном лагере, потерявшему здоровье и силы, советские прокуроры сообщают, что, как удалось установить, он — не преступник и власти отныне к нему претензий не имеют. Дмитрий Егорович Моргачев не просил о снисхождении, но решительно потребовал признания государственной вины перед ним и его товарищами. Вот этот документ с сохранением стиля и пунктуации автора.

Прокурору Союза Советских Социалистических Республик  
Моргачева Дмитрия Егоровича, проживающего Пржевальск  
ул. Кравцова 253

Дело № 13/3-137804-40

Заявление на предмет реабилитации. Заявляю: я Моргачев Дмитрий Егорович — член Толстовской сельхоз. Коммуны, оставшийся в живых из немногих друзей и последователей Л. Н. Толстого, был арестован в группе 10-12 человек в апреле 1936 года. В ноябре 1936 г. был осужден на срок 3 года в т/лагерях. В ноябре 1937 г. приговор был отменен «за мягкостью» во время культа личности Сталина. Было вторичное следствие. Состоялся и вторичный суд по этому же делу в апреле 1940 года то есть через 4 года после дня ареста. Срок был увеличен до семи лет. По отбытии срока (незаслуженного) был закреплен за лагерем по директиве «185», где проработал 3 года. Всего отбыл 10 лет.

Коммуна из друзей и последователей Льва Толстого переселилась в Сибирь на основании решения Президиума ВЦИК в 1930 г. Создали большое хозяйство без «моё», а всё общее, не откладывая на будущее, как коммунистическая партия. Мы это делали теперь же в настоящее время, за что очень дорого заплатили жизнями членов коммуны. Мало осталось друзей и последователей Л. Толстого членов коммуны. Били нас жестоко за этот мирный человеческий идеал. Такую коммуну, единственную в Советском союзе, надо было взять под охрану закона, как образцовое коммунистическое хозяйство. Но под охрану взяты лишь редкие звери и птицы.

Я — счастливец. Еще живой, арестованный в 1936 г. и дважды осужденный. Всё перенёс. Арестованные в 1937-38 гг. и в 1941 г. не вернулись к своим семьям, к своим детям. Погибли в неизвестности.

Всё «толстовское дело» по обвинению членов коммуны создано во время культа личности Сталина надумано и ложно. Хотя и было написано несколько томов лжи и клеветы, на друзей и последователей Толстого. Я виновным себя не признаю, т. к. не сделал никакого преступления. Я не подписывал допросов обвинения.

В 1963 г. спустя 27 лет после ареста и 17 лет после отбытия 10 лет заключения только за то, что я был последователем учения Льва Толстого, я обратился к Вам с заявлением о реабилитации. Мне было уже 71 год от рождения, я инвалид II группы. Я получил безжалостный ответ — отказ.

Я еще живой и так же (как прежде — М. П.) разделяю взгляды на жизнь Льва Толстого. Мне 84 года от рождения. Прошло 40 лет после ареста и 30 лет после отбытия срока в лагерях.

Прошу меня реабилитировать перед уходом в вечность.

К сему

(Д. Е. Моргачев)

24 июля 1976 г.

Перепечатанная на старенькой с разбитым шрифтом машинке, копия письма содержала сделанную от руки приписку:

«Я теперь не нуждаюсь в реабилитации, но пусть прочтут молодые прокуроры что было сделано с друзьями и последователями Льва Толстого».

Молодых прокуроров, надо полагать, письмо старого крестьянина не слишком взволновало: их ответ выдержан в обычных штампованных выражениях.

«Государственный герб

Прокуратура СССР

103793 Москва, Центр

Пушкинская улица, 15-а

13 октября 1976 года

№ 13/3-137804-40

72236 Пржевальск, Киргизской ССР

Ул. Кравцова, дом 253 Моргачеву Д. Е.

Сообщаю, что Ваша жалоба о пересмотре дела за 1940 г. в Прокуратуре СССР рассмотрена и удовлетворена.

Генеральным Прокурором СССР 12 октября 1976 года внесен протест в Пленум Верховного Суда СССР на предмет отмены приговора Новосибирского суда от 31 марта — 4 апреля 1940 года и последующих судебных решений и прекращении дела за отсутствием в Ваших действиях состава преступления. В протесте также будет поставлен вопрос о прекращении дела в отношении других лиц осужденных по данному делу с Вами (Мазурин Б. В., Тюрк Г. Г., Толкач О. В., и др.) При наличии у Вас данных о месте жительства указанных лиц, прошу сообщить им о вынесении протеста. О результатах протеста Вам будет сообщено дополнительно.

Прокурор отдела по надзору

за следствием в органах Госбезопасности

Старший советник (Васильев)»

В декабре 1976 года последовала окончательная реабилитация. Справедливость восторжествовала: через сорок лет после суда Генеральный прокурор СССР и пленум Верховного суда СССР освободили последователей философии Льва Толстого от обвинения в... толстовстве. Этот письменный ответ Генерального прокурора СССР интересен и в другом отношении: очевидно, перед нами единственный документ, в котором ответственный представитель советского режима признаёт, что в СССР людей преследуют за взгляды и убеждения...

Итак, толстовцы в Советском Союзе продолжают существовать. Более того, после шестидесяти лет преследования они не потеряли твердости духа, сохранили незлобивую и в то же время независимую мысль, стремление жить по совести, вопреки командам партийных чиновников. То была для меня благая весть. И не столько толстовские религиозные идеалы меня привлекли к этим мученикам, сколько их личное человеческое мужество. Именно такой тип личности кажется мне наиболее ценным в условиях современной Советской России. Только люди, способные к духовному самосохранению, подают надежду, что в отечестве нашем что-нибудь когда-нибудь изменится.

Я начал разыскивать этих удивительных стариков, собирать по всей стране материалы, которые объяснили бы мне поразительный феномен их стойкости. Сейчас еще не время рассказывать всё то, что я узнал об этом э т и ч е с к о м сообществе. Когда-то в самом начале XX столетия Лев Толстой утверждал: «Мне хорошо известно, что людей, различающих мои взгляды, едва ли есть сотня...» Но, беседуя со стариками толстовцами три четверти века спустя, я смог убедиться, что в советское время жили и сохраняли не только убеждения, но и соответствующий образ жизни т ы с я ч и последователей учения Льва Толстого. В 20-е годы существовало не менее ста толстовских сельскохозяйственных коммун. Членами коммун в основном были крестьяне, но среди коммунаров было много ушедших на землю горожан — рабочих, мелких служащих, учителей, врачей, военных. В 30-е годы сотни толстовцев были брошены в тюрьмы, в сумасшедшие дома, в ссылку. По сохранившимся спискам, более ста молодых толстовцев, не пожелавших идти служить в советскую армию, были расстреляны уже в 40-е годы. Не удивительно, что после всех перенесенных страданий и преследований маленький народ единомышленников Льва Толстого насчитывает сегодня, очевидно, не более полусотни здравствующих членов. Их средний возраст в 1977 году колебался от 75 до 90 лет.

У меня с этим народцем возникли в общем-то вполне дружеские отношения. В моих неопубликованных рукописях толстовцы-крестьяне, как они мне объясняли, уловили попытку взглянуть на советскую действительность сквозь призму совести, что отвечало их собственным стремлениям. Между нами возникло доверие и симпатия. Толстовцы приоткрыли передо мной свой тщательно охраняемый от посторонних глаз архив. За короткое время удалось получить от них целую библиотеку — 3.000 страниц воспоминаний, автобиографических и исторических записок, дневников, судебных документов, стихов, писем. Среди этого богатства особенно ценными показались мне сочинения Дмитрия Егоровича Моргачева (1892-1978) и особенно его труд «Моя жизнь» (1973). Лукавство совершенно чуждо старому крестьянину. Сверяя его труды с другими документами толстовского архива, видишь, что рукой его водило лишь желание сохранить для потомства правду о нелегкой и, как ему вполне справедливо казалось, поучительной своей жизни. У Дмитрия Егоровича, как и у других крестьян-толстовцев, сильно развито историческое чувство, чувство связанности с прошлыми и будущими поколениями. В этом историзме, отражающем понятие о личной исторической причастности и ответственности, угадывается подлинная интеллигентность многих читавших и думавших российских мужичков-толстовцев. Тип крестьянина-интеллигента полностью пресёкся ныне на Руси, как, впрочем, и тип интеллигента-рабочего. Тем интереснее для нас бумаги напрочь выбитого советской властью племени *думающих* трудовых людей.

Бумаги эти, к случаю сказать, крестьяне-толстовцы вынуждены были десятки лет скрывать от обысков и конфискаций. Зная нравы властей, толстовцы научились дублировать каждую свою рукопись, каждое общественно важное письмо или документ. Очередной налет КГБ был совершен на квартиру Дмитрия Егоровича Моргачева в Пржевальске (Киргизия) летом 1977 года, уже после того, как Генеральный прокурор СССР объявил толстовцам полное государственное прощение. Агенты несколько часов рылись в бедном домишке Моргачевых, ничего «крамольного» не нашли и, тем не менее, угрожали 85-летнему старику и требовали от него, чтобы он «ничего такого» не писал. Под этой хорошо понятной каждому советскому гражданину формулой таится извечная боязнь советской власти перед гласностью, страх, чтобы мир не узнал о её бесконечных злодеяниях. Трагедия толстовцев-крестьян — еще одна, среди тысяч других, грязная тайна, которую КГБ пыталось навсегда похоронить в своих архивах. Но — не удалось — птичка выпорхнула...

Главная ценность архива толстовцев видится мне в том, что впервые за годы советского режима свое слово о судьбах России произнес крестьянин. О революции, гражданской войне, коллективизации, сталинском терроре, второй мировой войне и послевоенном гниении написаны сотни книг. В качестве историков выступали лица самые различные: министры царские и министры Временного правительства, бывшие лагерники и беглые кагебешники, диссиденты, православные священники, активисты еврейского выезда. Но никогда до сих пор не слышали мы в этом хоре голоса русского мужика. Что он — кормилец и поилец народный — думает о колхозах, о земле, о войне и мире? Полный и подробный анализ вывезенного из СССР крестьянского архива предпринял я в своей недавно завершённой книге «Это твои дети, Лев Толстой». Пока же, до выхода книги в свет, предлагаю читателям журнала «Континент» страницы из рукописи Дмитрия Егоровича Моргачева «Моя жизнь», а также выписки из некоторых других его бумаг. Сравнительно большой объем книги Моргачева заставляет дать лишь отдельные фрагменты с краткими комментариями. Цель комментариев — сохранить связность повествования и уяснить для читателей некоторые обстоятельства судьбы толстовцев в СССР между 1918 и 1977 годами.

Вашингтон — Нью-Йорк,  
июль 1980 г.

*Марк Поповский*

Д. Е. Моргачев

## МОЯ ЖИЗНЬ

Хочу записать свою жизнь. Но сумею ли это сделать? Так уж много прошло лет. Буду стараться припомнить, что пришлось пережить — радостного и тяжелого, доброго и злого.

Я родился в октябре 1892 года в семье крестьянина села Бурдино, Тербуновской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии. Семья небольшая. Дедушка Сергей Александрович участвовал в турецкой войне, полу-

чил какое-то отличие, впоследствии был выбран волостным старшиной. Как звали бабушку, не помню. У них было двое детей: дочь и сын. Дочь выдали замуж, и они жили втроем: дед, бабушка и сын — мой отец Егор.

По отцовской линии дедушкино родство было бедное, ходившее на моей памяти на отхожие заработки: в Донбасс на шахты, и в Ростовскую область на пароходы. По материнской линии родные были богатые крестьяне соседнего села Тербуны — они имели купленную землю и жили безбедно. Дедушка, будучи старшиной, купил себе 18 десятин. Во-вторых, он был авторитетным человеком и посватал к своему сыну Егору невесту из богатой крестьянской семьи. Она была сирота и звали ее Любовь Андреевна... Приданного дали за ней 6 десятин земли. Женился мой отец примерно в 1885 году.

Дедушка мой из своей земли 6 десятин отдал дочери в приданное, а 12 десятин оставил нам, двоим внукам. Когда отец умер, а умер он молодым, 22-23 годов, мне было 2 года, а брату Михаилу 2 месяца. Через 6 месяцев умерла бабушка, а еще через год и дедушка... Осталась одна мать с нами, двумя ребятами. Дом был хороший кирпичный. Изба, через сени горница, всё с полом, что было редко в нашей местности... Сельским сходом мать была избрана опекуной сиротского имущества нас, двух маленьких братьев. Всё имущество и скот были переписаны сельским старостой, по предписанию волостного старшины, и сдано моей матери под расписку. Ежегодно мать отчитывалась перед сельским сходом в присутствии волостного старшины.

Мать прожила вдовой четыре года, потом приняла в наш дом мужа, вернувшегося с военной службы Бологова Федора Яковлевича, без имущества... Прожила она с ним пять лет, родилась у них дочь Анна... Мать простудилась и заболела чахоткой, болела не-

долго и померла. Мать умерла в 1901-02 году, и вскоре нашего неродного выбрали опекуном над нашим сиротским имуществом...

Мне уже стало лет 11-12, я уже пахал сохой с братом Захаром. А ведь сохой труднее, чем плугом. На каждом повороте надо соху вытащить из земли, очистить от земли, переложить палицу на другой сошник, занести соху, поворачивая в то же время лошадь; в руках копалка, то есть палка с заостренным концом лопаточкой для очистки сохи. У сохи две ручки, и за эти ручки все время держишься, управляешь сохой, заносишь на поворотах. Нелегко это было. В школу я ходил около трех лет. Легко мне давались математика и Закон Божий. Священник любил меня и всегда дарил картинки библейского содержания. Священник был старый, он хотел меня в город устроить учиться как сироту и способного к учению, но мои родственники по родной матери не соглашались со священником — у них есть земля, пусть работает на ней.

В это время наш отчим стал больше пить... Мне говорили соседи, что по-видимому отец пропивает наше имущество, и я пошел в село к волостному старшине и сказал ему: дядя, наш отец пьет и не работает, надо его выгнать из нашего дома. «А куда же вы денетесь?» — «Куда хотите определите нас». Старшина вызвал наших родственников, по матери родные дяди посоветовались, дали согласие нас взять к себе. Собрали сельский сход обсудить вопрос о сиротах Моргачевых. На сходе старики подтвердили, что отчим пьет, и сход постановил нашему неродному отцу немедленно выбираться из нашего дома со всей своей семьей. Весь наш скот продать, а вырученные деньги отдать в сиротскую кассу до нашего совершеннолетия. Весь инвентарь прибрать в кирпичную кладовую и также хранить. Дом наш сдали под квартиру дьякону. А мы с братом пошли батрачить к нашим родственникам. Работали бесплатно, работы было много,

сеяли хлеба десятин 30-40, было много лошадей, с которыми я возился днем и ночью.

Детство в батраках, сначала у родных, а потом у неродных людей, было нелегким, но Дмитрий Егорович с любовью и интересом описывает деревенский труд, деревенских людей.

Был, кажется, 1906 или 1907 год... Пришли Петровки, это июнь месяц, приступили к вспашке пара под озимые, в июле началась уборка хлебов... Поля были дальние, там работали и ночевали. Пошли мы косить рожь крюками, то есть косами с грабельками; что срежет коса, грабельки забирают на себя, и аккуратно выносишь на сторону и кладешь в ряд, а женщины идут следом и вяжут в снопы... Было принято — жена всегда вяжет за мужем. За мной пришлось вязать жене отсутствующего на заработках брата. Она была женщина горячая, капризная, а я клал ряд плохо, путал, что затрудняло вязку снопов.

Вот она и начала мне служить панихиду и читать акафисты: чтоб у меня руки отсохли, чтобы они у меня отвалились, неумелые. Жена хозяина была добрая, бывало скажет ей, «Кузминиха, да ты иди вяжи за моим мужем, а я буду вязать за парнишкой». Она не ругала меня и в течение трех лет обмывала и обшивала меня. Хозяин мой Семен Андреевич помогал мне так: во время косьбы хлебов он идет впереди, а я за ним примерно на одну треть прокоса отстану. Он либо поможет мне дойти ряд, либо заходя на новый, закосит и себе и мне... В следующие годы я уже не отставал от хозяина и клал ряды хорошо.

...Мы с братом Михаилом осенью 1909 года перешли в свой дом жить; в работниках мы прожили более четырех лет. В последний год я уже получал 30 рублей. Поселились мы в одной половине дома в избе, а в другой половине квартировал дьякон. Бóльшая дочь дьякона Шура уже была учительницей в сельской земской школе... Шура ухаживала за мной. Ей хотелось стать моей женой, хотя она была старше меня лет на пять,

а мне было 17 лет и три месяца. Я посоветовался со своими родственниками, они не посоветовали жениться на ученой — что ты будешь у нее всю жизнь подол заносить, а в жаркие летние дни завешивай окна и гоняй от нее мух, а самому некогда работать в поле. Бери крестьянку, земля у вас есть и будете работать с ней на земле.

Молодому одинокому крестьянину нужна была жена — работница и хозяйка. Женился Дмитрий Моргачев по особому разрешению архиерея: жениху исполнилось лишь 17 с половиной лет. Дмитрий Егорович пишет:

В первых числах мая 1910 года состоялась наша свадьба с девушкой Марьяной, с которой живу доныне. Мы поженились не зная и не думая ни о какой любви, даже не зная друг друга до свадьбы. Так делали все. Нужна была женщина в доме работать, стирать, варить. Конечно, знал я и она, что будем спать вместе и будут у нас дети, которых надо растить и воспитывать. Всего родилось у нас 10 детей, из которых 6 выросли.

Так обзавелся я семьей после долгих лет сиротства, странствования по батракам, с неродным отцом и матерью, по чужим людям. Отец старичок и ее (Марьяны) сестра перешли в наш дом и дом зажил полной жизнью. Свадьба была у нас очень пышная, и [продолжалась] несколько дней после венца. Священник вел нас с Марьяной до нашего дома пешими, так как дом был недалеко от церкви. Сзади ехало много родных, и с моей стороны и с Марьяниной, все на тарантасах...

Еще будучи работником, с хозяином я ходил на сходы всего села, и хотя туда ходили старики, против меня никто не возражал, так как все знали, что я являюсь хозяином дома, так что с 16 лет меня интересовали общественные дела, а не девки. Осенью староста в 1910 году собирает сельский сход, десятские оповещают людей идти на сход, что будет какой-то агроном.

Что такое агроном никто не знал, но хотелось узнать, сходка собралась большая. Пошел и я. Агроном, представительный человек лет тридцати, докладывает собравшимся: Елецкое земство ставит вопрос о поднятии сельского хозяйства. Оно дает вам быка симментальской породы бесплатно, хряка йоркширской породы бесплатно, барана шерстистого, который дает за один настриг до 12 фунтов. Кроме того предлагается открыть здесь прокатный пункт сельскохозяйственных машин и орудий — плуги двухлемешные, запашники 4-хлемешные, сортировку для отбора лучших семян, от лучших семян и урожай будет лучше, бороны зигзаг железные и т. д. На первое время дадут нам бесплатно минеральных удобрений: костяной муки и томасшлака, чтобы вы убедились на своем собственном поле о выгоде минеральных удобрений, а на приусадебном участке дадим вам бесплатно несколько фунтов семян люцерны, которую можно косить на зеленый корм по 4 раза в лето, и семян кормовой свеклы, корнеплоды тоже необходимы для молочного скота. Далее агроном докладывает, что Елецкое земство открывает в Ельце сельхоз. курсы на 50-60 дней, где будет бесплатное питание и квартира. Там будут читаться лекции и доклады... о поднятии сельского хозяйства.

Прошу вас, старички, записываться на курсы, это для вашей же пользы, чтобы у вас был хороший скот, земля давала большие урожаи хлебов и трав.

Но никто не записывался, агроном несколько раз повторил свою просьбу. Я сидел около стола, агроном посмотрел на меня, я улыбаюсь: и хочется поехать и думаю — стоит ли ехать и тратить деньги. Он достал бумажник, вынул три рубля и подал мне: «Вот тебе на дорогу».

...В назначенное время мы приехали в Елец. Нас поместили в народном доме, курсы проходили в «Доме трудолюбия», на Сенной площади... На занятиях нас познакомили с земледелием, огородничеством, жи-

вотноводством, а также с организацией кредитных товариществ и потребительских обществ.

Все это было поздней осенью 1910 года, в то время умер Лев Толстой, и здесь я впервые раз услышал в частных беседах о Льве Толстом. Одни говорили, что он безбожник, не признает ни Бога, ни церкви, ни царя, и его проклинают в церквах, как Стеньку Разина — разбойника. Другие говорили, что он хороший человек и писатель, известный всему миру. Но все эти разговоры не затронули меня и никакого впечатления не осталось о Толстом. Прослушав курсы, я там же достал устав потребительских обществ и, вернувшись домой, собрал человек 6 или 7, подписали устав и послали на утверждение к губернатору... Это было летом 1911 года и я получил от Елецкого земства сельскохозяйственные машины, несколько десятков пудов минеральных удобрений и некоторое количество семян люцерны и кормовой свеклы. Удобрения и семена раздавались бесплатно, а машины давались напрокат, тоже бесплатно.

В июле 1911 года у нас родился сын Тимофей. Мне было 18 лет и шесть месяцев... Осенью 1911 года я приступил к организации потребкооператорского общества, целью которого было снабжение членов товарами, и в то же время невольно получался подрыв частной торговли лавочников. Набралось несколько десятков членов, втянул местную интеллигенцию — учителей и работников волостного правления. На первом организационном собрании я был избран председателем правления.

В течение двух лет юный крестьянин Моргачев успел окончить садоводные курсы, начал распространять среди крестьян хорошие сорта садовых деревьев. Одновременно вступил в «Императорское общество птицеводов», принялся распространять на общественных началах породистых кур. О всех этих леггорнах, плимутроках и черных минорках рассказывает он с большим увлечением, как и о садах, которые ему довелось за свою жизнь посадить. Повествова-

ние об общественных и хозяйственных успехах своих в предреволюционную пору заканчивает Дмитрий Егорович многозначительной фразой:

Прошло уже более 50 лет с того времени, и я вспоминаю с благодарностью, какие большие усилия делала русская общественность для развития сельского хозяйства и тем самым для повышения благосостояния крестьянства.

Между тем пришла ему пора служить в армии. Процедуру рекрутского набора Дмитрий Егорович описывает подробно, с интересными бытовыми деталями.

Осенью 1913 года меня вызвали на рекрутский набор в солдаты для жеребьевки. Приемный пункт был в селе Колодезь Сергиевской волости... Вызывали по списку по волостям и тянули жребий, но часть жребиев были пустые или вернее дальних номеров. Так, если требуется набрать 600 человек, а явилось 1.000, то 400 номеров оставляли пустыми — и зачислялись в запас. Подошел я к ящику со жребиями и копался в них, все хотел, чтобы достался дальний номер, в запас, и вытащил номер первый!

На следующий день вызвали на врачебно-военную комиссию. Раздевались наголо, хотя и стыдно было, но делать нечего, там уж не свой. На весы — кричат 4 пуда 21 фунт. Подхожу к врачам — посмотрели в рот и в задницу. Еще повернись. Кричат: годен в крепостную артиллерию во Владивосток... В нашем доме слезы. Жена осталась беременной вторым ребенком... Через месяц призванные со всего уезда собрались в г. Елец. Там опять проверочная комиссия по родам войск. Меня опять вызвали первым и опять сказали: годен в крепостную артиллерию во Владивосток. Я обратился к комиссии: нельзя ли назначить меня ближе к месту моего жительства, так как росли сиротами с опекунами, по чужим людям, а теперь мы собрались в свой дом, ведем сельское хозяйство, я боль-

ший из двух братьев, за хозяйством нужно наблюдение, которое лежало на мне.

Начальство в золотых погонах посовещалось и тут же сказало: «Пойдешь в Тулу, в пехоту». Я им сказал спасибо, что удовлетворили мою просьбу, но самому не хотелось в пехоту, солдаты говорили, что в пехоте труднее.

Свои обязанности по кооперации я сдал другим. В Ельце со мной была и жена. Я уже стал хорошо понимать, что такое любовь. Перед женщиной надо улыбаться, почаще её целовать, после этого и любовь становится радостней и (жена. — М. П.) старается как бы тебе угодить, а тут при расставании она плачет и мне становится ее жалко...

Со мной в 4-й роте был один небольшого роста солдат, по фамилии, кажется, Челноков. Он был из Ясной Поляны. Мы лежали рядом и вот от него-то я и услышал опять про Льва Толстого. Челноков бывало рассказывал:

Добрый был барин, писатель, граф. Он много помогал людям бедным, учил наших сельских детей в своем доме. Он писал и говорил народу о Боге, о царе, о попах и о войне. Он говорил, что люди должны жить мирно, не воевать и помогать друг другу. Он говорил, что простых людей обманывают ученые, попы, генералы. Детей у него было много, они приходили к нам в село, играли с нашими сельскими детьми и приглашали к себе, но жена его была злая, все хотела нас наказывать за лес, за скот, то есть за порубку и потраву, даже наняла чеченца стражника, караулить все от нашей деревни.

Но все эти рассказы о Толстом нисколько на меня не действовали, проходили мимо ушей, не задевая ничего в сознании. Я отвечал ему: как же не бить врагов, если они нас хотят забрать?..

Я быстро усвоил военные приемы и в январе 1914 г. был назначен в учебную команду. Заведовал учебной

командой полковник Аверьянов; как-то он спросил меня, чем я занимался до службы, я ответил — черно-рабочим. — Так ты что же, говно чистил? — Никак нет, я пахал землю, сеял хлеб, сажал сады. — Так значит, ты был хлеборобом, — это самый честный труд — быть кормильцем народа, — сказал он. Так началась у меня другая деятельность и работа, уже не сельская и не кооперативная, а военная.

Вскоре началась Первая мировая война. Уже 15 августа 1914 года полк, где фельдфебелем был Дмитрий Моргачёв, вступил в бой под Брест-Литовском. Он подробно описывает свои переживания на фронте. Был дважды ранен, второй раз очень тяжело, в груди было 15 осколков, шесть в голове и в том числе один в левом глазу. После ранения в августе 1915-го он пролежал в госпитале несколько месяцев. В госпитале произошла у него третья, решающая встреча со Львом Толстым. Моргачев рассказывает:

Я попросил почитать Толстого и мне дали небольшую книжечку. Я её читал вдумчиво. Прочитал вторую, третью, только Льва Толстого. И так около двух месяцев. Читал — не помню названия ни одной книги, но помню, читал о войне, о вере, о государстве, о собственности и в моем сознании не возникало противоречия, и я полюбил Толстого и поверил ему, его чистосердечной правде и истине. Много и много открылось мне из книг Толстого. Я не слышал никаких лекций о Толстом, никаких бесед о том, все это пришло в мой маленький умок — не ум, после долгих переживаний, начиная с детства и кончая войной.

Будучи в госпитале в Курске, я написал домой письмо. Долго не было ответа. Я прошел комиссию и был освобожден начисто. Вдруг меня вызывает санитарка — к тебе приехала жена. И действительно — Марьяна с сыном Тимофеем. Неопишуемая радость после такой адской жизни, ежедневно грозившей смертью, и вдруг — жена, сын и я свободен! Через несколько дней мы поехали домой вместе в радостном настроении, хотя только с одним глазом, другой был погублен войной навсегда.

Итак, моя военная жизнь закончилась. Вернувшись домой я уже имел представление о Льве Толстом, как о добром, даже божественном, справедливом и правдивом человеке. Я полюбил его всем своим существом, хотя еще очень мало читал его. От дикого бесчеловечного обмана я освободился и от рабства я очнулся...

В феврале 1917 года пришла революция, как-то сразу все стало поворачиваться по-новому... Начались съезды волостные, уездные, губернские и даже церковные, а сельские сходы ежедневно. Меня уполномочивали на все съезды: и в волость и в Елец, и в Орел и даже на съезд духовенства. На одном из съездов в Ельце я резко выступал с критикой новых и старых начальников. Однажды ко мне во время перерыва подходит начальник станции Долгоруково и говорит: «Есть у меня в деревне друг-толстовец, который также смело говорит, он даже был лично знаком со Львом Толстым, у него много друзей в Москве, в Петрограде, в Самаре». Мне сразу захотелось увидеть его. После съезда я поехал на станцию Долгоруково, а оттуда верст 8 до деревни Грибоедово, и нашел там Гуляева Ивана Васильевича; ему было уже лет пятьдесят. Там познакомился и с его женой Клавдией Ивановной. Познакомился с ними как с единомышленниками Толстого. У него было что почитать, а главное было, что от него послушать. Он много влил в мою душу светлого и чистого... Иван Васильевич хорошо рисовал и писал хорошие стихотворения о жизни. Впоследствии, в 1931 году переселился в Сибирь и жил в (толстовской. — М. П.) коммуне «Жизнь и Труд». Вместе нас судили в 1936 году (как толстовцев. — М. П.) и мы отбыли по 10 лет в тюрьмах и лагерях. Иван Васильевич Гуляев знакомил меня с тем, что делалось в Москве, он вел переписку с Владимиром Григорьевичем Чертковым и другими друзьями, у него я брал толстовские журналы «Единение», «Голос Толстого»,

«Истинная свобода». Мне и самому хотелось побывать в Москве и повидать Черткова...

В это время (осенью 1917 года. — М. П.) стали часто наезжать из города представители разных политических партий: социал-демократов и социалистов-революционеров (ЭсЭр), призывали вступать в партию. Более вступали в партию демократов (большевиков. — М. П.), которые говорили «долой войну!». Война шла уже четыре года и её никто не хотел. В общем вступало в партию мало людей и больше из тех, кто ходил на отхожие промыслы, а крестьяне, которые работали дома, почти не вступали в партию, чего-то сомневались.

Живая, полная энергии натура Дмитрия Егоровича искала себе общественного применения. Он побывал председателем продовольственной управы, но отказался от должности, потом односельчане выбрали его руководителем кредитного товарищества, и снова почувствовал он, что работа эта ему не по душе. Он хотел вернуться на землю, но так чтобы работать вместе с другими в единой коммуне, осуществляя идеалы Льва Толстого относительно общей дружной трудовой жизни на земле. Постепенно в деревне все больше находилось крестьян, согласных объединиться на толстовских началах. Но прежде чем возникла эта первая в Советской России толстовская коммуна, Дмитрию Егоровичу пришлось вплотную столкнуться с нравами новой власти. Он пишет:

В конце 1918 года более зажиточное население было обложено не обычным, а повышенным налогом, которого раньше не брали с населения. Некоторые отказывались платить, говоря, что нечем. В декабре таких стали сажать раздетых в холодные амбары на ночь при температуре 20 градусов мороза, в нашем селе Бурдино. На сельском сходе я выступил с критикой и порицанием таких действий сельсовета и представителей из города Ельца. Через день был волостной съезд, (выяснилось, что) такие же случаи были и в других селах, и на этом съезде нас выступило уже несколько человек против такого бесчеловечного отношения к людям. Говорили: «Только от одних деспо-

тов царизма избавились, а здесь явились другие не лучше!» 24 декабря нас, пять человек, арестовали и отправили в Елец в Чрезвычайку.

Большой хороший дом занимала Чрезвычайка. На стене у входа вывеска большая прибита вертикально и на ней надпись: ЧРЕЗВЫЧАЙКА, и от каждой буквы вправо и влево отросток — змея с разинутой пастью. Одна вывеска пугала людей. Нас загнали в подвальное помещение в полную темноту. Посредине был громадный паровозный котел, как видно, когда-то здесь была котельная. Там уже были люди. Так мы жили несколько дней. На допросы водили по ночам. Нас обвиняли как анархистов-толстовцев, тормозящих сбор налога для государства... На допросы водили под конвоем туда, где была вывеска с разинутыми змеиными пастьями, после допросов опять в тюрьму. В тюрьме у меня было одно свидание с Марьяной. Обстановка свидания точно такая, как описано Толстым в романе «Воскресение», когда Нехлюдов приходил к Катюше Масловой. Помещение разделено двумя сетками от пола до потолка. Между ними проход широкий, метра два. С одной стороны сеток заключенные, с другой — те, кто пришли к ним на свидание, а между сетками ходит вооруженный страж. Чтобы услышать друг друга, надо было кричать. Шум, крик, слезы, боль душевная.

В процессе следствия все же выяснилось, что мы были активными работниками правления волостного земства и выступали на собраниях против незаконных и бесчеловечных действий лиц, которые грубо обращались с народом, во время сбора налога. Нас освободили в марте 1919 года и мы вернулись домой. В это время происходили выборы в Советы. Волостные земства были уничтожены, а приказано было выбирать Советы. Я был известен, как человек общественно деятельный, не только в своем селе, но и в воло-

сти, и несомненно был бы выбран, но я категорически отказался и выбирать и быть избранным...

Дмитрий Егорович внимательно следит за становлением новой власти, за характером людей, занявших руководящие посты в новых советских учреждениях. Он рассказывает:

Я не один десяток раз бывал (до революции. — М. П.) в Елецком земстве, какой там бывал порядок! Все разговаривали вежливо: «Садитесь, я вас слушаю», и тут же дают тебе совет или распоряжение, что тебе нужно. А какая же бестолковщина и суматоха во всех учреждениях (возникла) после революции! Даже за столом ругаются и тут же смеются своей пошлости и глупости. А то все кричат: «К стенке его поставить!» И тоже смеются...

Мысль о коммуне единомышленников-толстовцев не оставляет Дмитрия Егоровича. Он все чаще собирается с теми односельчанами, которым по душе идеи Толстого, и обдумывает формы новой жизни. Более всего беспокоило крестьян, как они будут жить без личного имущества. Особенно волновались по этому поводу женщины.

Летом 1920 года мы, друзья, все же решили окончательно сойтись в коммуну... В июле после уборки ржи приступили к переселению. Моя жена Марьяна Илларионовна не хотела идти в коммуну, детей у нас уже было трое. Я ей дал время — трое суток — думать, а если она не пожелает идти в коммуну, я ей оставлю свое хозяйство, а сам все же уйду в коммуну. И действительно, бросил бы ее в то время, но она сказала: «Делай как хочешь, а я буду с тобой...»

Хотя сельскохозяйственная коммуна крестьян села Бурдино в Орловской губернии по идее своей полностью соответствовала политической программе большевиков, стремившихся к социализации земли и самого крестьянина (эта установка, шедшая от Маркса, была принята советскими властями задолго до массовой коллективизации), но очень скоро у коммунаров начались трения с новой властью. Моргачев рассказывает:

Как известно 1921 год был очень голодный, особенно в Поволжье, где в 1920-м году хлеб был вывезен насильно... Пришла осень. Сельсовет потребовал сдачи хлеба для голодного Поволжья. Мы заявили, что голодает там население по вине государства, которое отобрало хлеб от населения, а в Поволжье (как известно) периодически бывают недороды хлеба. Мы согласны взять детей из Поволжья, как невинных существ, человек 10-12, и кормить их до нового урожая, но хлеб сдавать не будем. В начале 1922 года мы были арестованы и отправлены в Елецкую тюрьму — я уже третий раз. Началось следствие. Мы так и заявили следователю, что виновато в голоде государство, отобравшее хлеб у крестьян... Мы на суде говорили тоже, что и на следствии и просили дать нам несколько детей из голодающих для прокормления, так как дети невинные существа. Народ шептал: «Эти отжились», «Так говорят о государстве...» Суд задавал много вопросов. Совещание судей трибунала продолжалось более двух часов. Уже был вечер, когда судьи зачитали приговор: ввиду искренности подсудимых и их убеждений суд решил: обвиняемых освободить, а хлеб у них взять в порядке конфискации, сколько такового найдется, бесплатно...

Решение трибунала не вызывает у Дмитрия Егоровича никаких резких оценок; вспоминая свои аресты, своих гонителей и грабителей своего добра, он всегда выражает лишь сожаление этим людям, не ведающим, что они творят. Между тем, обобранная большевистским судом коммуна «Возрождение» почти полностью лишилась собранного урожая. Моргачев пишет:

В коммуне нам пришлось установить крайне ничтожный паек: по 100 граммов хлеба на душу, но все же у нас был хлеб зерновой, а другие пекли хлеб почти из мякины и дубовой коры, а у кого была лебеда, то говорили: «Это не беда, что в хлебе лебеда, а хуже нет беды, когда ни хлеба, ни лебеды». Многие говорили, что дети не понимают, что нет хлеба, и просят и пла-

чут: «дай хлеба». Это неправда. Дети всё понимают. Во время нашей голодовки хлеб всем давали на руки, а дети посмотрят на свой кусочек, лизнут его и опять приберегут...

Осенью 1923 года мы в коммуне построили небольшой домик для школы, так как детей надо было учить. Они жили вместе с учительницей, там и варили. Детей мы отделили потому, чтобы дети наши воспитывались без семейных дразг, а в служении и помощи друг другу, чтобы они не знали личной собственности, а признавали бы общественную и пользовались ею сообща.

Мы порвали полностью с церковью, никогда туда не ходили. Детей не крестили, даже в сельсовете детей не регистрировали. «Но какая же у них вера?» — многие думали, гадали и наконец кто-то придумал, что мы католики, а сокращенно стали звать «котлы»... В деревне Языково ночевал прохожий и что-то у них украл, и они перестали пускать на ночлег, а отсылали к нам: «Вон там котлы живут, они никому в ночлеге не отказывают». И действительно мы никому не отказывали, даже двери не запирали на крючки и засовы. Также не замыкались и амбары с хлебом.

Толстовская коммуна «Возрождение» просуществовала, однако, не долго: из-за споров между женщинами коммунарам пришлось согласиться на превращение коммуны в артель и разделить по дворам общее имущество. Это произошло в 1924 или в начале 1925 года. Тогда же Моргачев побывал в первый раз в Москве в Вегетарианском обществе имени Л. Н. Толстого. По просьбе «отца толстовцев» Владимира Григорьевича Черткова он выступил перед толстовцами-горожанами с рассказом о своей жизни и своем понимании заветов Толстого. Вскоре, однако, жизнь в селе резко переменялась.

В конце 1929 года началась без согласия народа коллективизация. Стали собирать на общие дворы лошадей, коров, нетелей, овец. Стали отбирать плуги, бороны, повозки, корма из сараев у крестьян, и

вдруг в январе или феврале (1930 года) появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». На следующий день народ с радостью побежал на общие дворы за своим скотом и инвентарем. Но актив был очень недоволен, а особенно зажиточные, говорили: не долго будете торжествовать, осенью намажем некоторым задницу купоросом, запрыгаете по другому, сами побежите в колхоз без оглядки. Так говорил председатель райисполкома Ульшин Александр Алексеевич.

В 1930 году все работали индивидуально, а в августе некоторых обложили хлебопоставкой по 500-800 пудов, заведомо невыполнимой. Этих людей в сентябре-октябре судили и дали по 3-8 лет лагерей с конфискацией имущества. Попал и мой брат Михаил Егорович на три года и Волков Тимофей Семенович на 6 лет... Его послали в Караганду, где он сложил свои косточки, а брат Михаил выжил и больше не вернулся к сельскому хозяйству, остался на производстве. Зимой опять началась коллективизация, и здесь уже не было головокружения, всё шло как по маслу, без скрипа. Человек 15-20 были осуждены. А остальные, более зажиточные середняки, первыми пошли в колхоз. Некоторые из бедноты еще сомневались, колебались, а некоторые из них ушли на производство навсегда, забрав свои семьи...

Когда началась коллективизация, колхоз толстовцев в селе Бурдино был единственным во всей Орловщине. Казалось бы, это должно было расположить местные власти к крестьянам, ставшим «на путь социализма». Но реальная жизнь начала 30-х годов не имела никакого отношения к идеологическим лозунгам. Дмитрий Егорович так вспоминает эпизод, разыгравшийся в 1929-м.

Все начальство района вело агитацию за коллективизацию, а их упрекали, даже смеялись: «Нас хотите собрать в колхоз, а сами не идёте». Тогда они из разных селений подали заявление в наш колхоз, чтобы им легче было вести агитацию за коллективизацию. Нам не понравилась такая подделка и мы на общем собра-

нии артели отказали в приеме в члены начальству райисполкома. Это, конечно, их очень обидело и восстановило против меня... Районное начальство разделалось со мной: вычистили из колхоза как «сектанта-толстовца» и раскулачили меня, взяли корову и барахлишко, лошадь же моя находилась в колхозе...

Я продолжал работать председателем колхоза, весь колхоз состоял из наших друзей (единомышленников-толстовцев) и они не соглашались с районным начальством переизбрать меня. А я шел напролом. Бывали такие случаи: в моем отсутствии добьются у актива бедноты какого-либо решения против меня, а в моем присутствии ни один не поднимает руку против меня. Какой-нибудь уполномоченный с ума сходит, что беднота на моей стороне. Так прошел весь 1929 год. Во время молотьбы прокурор района приехал меня арестовывать, а я был на стогу соломы, которая подавалась лошадей. И так они постояли, поговорили со мной и не взяли...

Однако в начале 1930-го года Дмитрий Егорович уже понял, что толстовская артель, основанная на единодушии и единомыслии крестьян, обречена на гибель. Властям нужны были колхозы — то есть сугубо хозяйственные организации, предназначенные для того, чтобы получать от них продукты для армии и растущей индустрии. Всякое духовное единомыслие (кроме официозного большевизма) в деревне, как и в городе, пресекалось. Моргачеву грозил арест. Он отправился в Москву, к Черткову, чтобы посоветоваться. Чертков направил его в подмосковную коммуны «Жизнь и Труд». Это была единственная коммуна толстовцев, сохранившаяся в стране, но и она вынуждена была покинуть Среднюю Россию: крестьянам-толстовцам разрешено было переехать в Западную Сибирь на пустые земли. Моргачев последовал со своей семьей на Восток. В Сибири, как и все коммунары, занимался он строительством, овощеводством и садоводством. Выстроенный на пустом месте, поселок толстовской коммуны очень скоро хозяйственно окреп. Спасаясь от коллективизации, сюда съезжались единомышленники Л. Толстого со всей страны. Но не только хозяйственные вопросы волновали крестьян: во всех воспоминаниях, и в том числе в рукописи Морга-

чева, много говорится о главном — о совести, о том как вести себя достойно с односельчанами, в семье, с властями. Нравственное самосохранение было главным, а по сути единственным оружием крестьян против разгула и беззакония советского режима. Моргачев вспоминает:

Вся наша жизнь в коммуне строилась на честности и на полном доверии друг к другу. Со всеми столовыми\* расчет проводился через банк перечислением, а деньги, вырученные на базаре, передавались мне, а я их сдавал в коммуну или на текущий счет в госбанк. Я уже сказал, что всё было основано на честности и совести. Я уже знал, например, сколько должно быть получено за воз огурцов, и когда продававший сдавал деньги мне, то я видел, что полностью, но были и такие случаи: чувствуешь, что деньги сданы не все, но я никому не говорил об этом, даже не делал замечания этому человеку лично, а пишу только теперь через 35 лет. Да, совесть — великое дело, тем более когда тебе доверяют, и вот этот человек чувствует сам за собой грех присвоения, всегда стыдился, и не только меня, но и других. Ему казалось, что все знают об этом, что он нарушил доверие, оказанное ему.

Но рыночные ситуации были далеко не самыми важными. С каждым годом и даже месяцем проблема нравственного выбора становилась для крестьян-толстовцев все более роковой. Политическая обстановка начала 30-х ежедневно ставила их перед дилеммой: остаться верными своим принципам или подвергнуть опасности себя, свою семью, своих единомышленников. Об одном из таких типичных эпизодов Дмитрий Егорович рассказывает следующее:

В коммуне решили построить водопровод. Мне поручили достать водопроводных труб. На Верхней колонии был утильцех, где было много труб: и новых, и забракованных, и погнутых, но вполне для нас пригодных. Договорились с заведующим утильцефа, я взял рабочих, отобрал трубы, погрузил на трех- и

\* Члены коммуны «Жизнь и Труд» выращивали много овощей и вывозили их на продажу в растущий индустриальный центр город Новокузнецк (позднее Сталинск).

четырепарные брички, написал фактуру. Я уплатил деньги. Переправились через реку и поехали по дороге в коммуны. В селе Феськи меня встретил уполномоченный ОГПУ Попов, приказал свалить трубы в Феськах, а меня арестовали и привезли в Первый дом\*. Попов меня штурмовал, добивался чего ему надо. Предлагал мне материальную помощь: мы знаем, что ты из бедных, имеешь много детей, мы будем тебе помогать, но ты должен с нами разговаривать и чтобы никто из членов коммуны этого не знал. Я заявил ему, что нужды ни в чем не имею, всем я и моя семья обеспечены, разговаривать я с ним готов, но открыто, и чтобы всё о разговоре было известно всем коммунарам. А где есть тайна, там для меня есть ложь и подлость. Попов начинает сердиться и с криком говорит мне: «Ты сгниешь здесь в этих стенах!» Я отвечаю ему: «Все равно где-нибудь гнить, и вам тоже придется — сгниете».

...Однажды следователь Попов вызвал меня ночью на допрос, хотя это было обычное дело, и задает мне вопрос: «Признаешь ли ты Советскую власть». Вопрос колкий. Я задумался что ответить следователю, а мысли в голове бегут одна за другой, а я молчу. Следователь несколько раз требует ответа и говорит: «Что у тебя языка нет или не действует?» А я сосредоточенно думаю и наконец пришел к выводу: если я стал на этот путь, то чего же мне бояться, скажу откровенно:

— Я не признаю никакой власти насильственной.

Попов громче: — А советской?

Я отвечаю: — Никакой!

Наконец Попов крикнул, сколько у него было силы: — А советской?! — вскочил и так сильно ударил

---

\* Первый же выстроенный в 1932 году большой дом в Новокузнецке был передан в ведение ОГПУ. В народе его так и называли — Первый дом.

по столу кулаком, что стол подпрыгнул и всё, что на столе: папки и чернила и всё упало на пол. Я сижу и не шелохнусь, гляжу на следователя и тут же решил, что не буду больше с ним разговаривать. Он посидел немного, поднялся и стал собирать с полу всё, что упало со стола. Наконец, начинает спрашивать у меня про другое. Я молчу. Так он несколько раз обращался ко мне, что не отвечаешь? Я сказал, что не желаю разговаривать с ним... Он вызвал охрану и сказал:

— Возьмите эту сволочь и дайте ему так, чтобы он с третьего этажа до низу по лестнице полз...

Прошло около двух месяцев со дня моего ареста. Вызывает следователь и говорит: «Мы вас отпускаем, выяснили, что трубы были куплены правильно, но ты дашь нам подписку, что ты никому не расскажешь, о чем здесь говорили». Подписки я никакой не дал. «Ну, смотри, запомни и молчи». Я понял, что трубы были только предлог, а просто им надо было найти человека, который давал бы им тайно сведения о коммуне.

Пришел я в коммуну вечером и вечером же состоялось общее собрание, где я доложил, о чем меня спрашивали и что мне обещали... Я сказал, что об этом надо всегда помнить, еще многие могут там побывать, но надо вести себя честно перед друзьями.

Дмитрий Егорович оказался прав: еще многим и многим крестьянам из коммуны «Жизнь и Труд» пришлось побывать в Первом доме. Десятки из них были брошены затем в лагеря, многие расстреляны. Осенью 1933 года триста крестьян с детьми и стариками, без пищи и запасов были высланы на берег Енисея и брошены в пустынно месте погибать от голода и холода. В 1935 году судили учителей толстовской сельской школы, в апреле 1936 года арестовали сразу десять человек. Десятым был Дмитрий Моргачев, который должен был исполнять роль свидетеля обвинения, но отказался давать показания и оказался обвиняемым. Судили наиболее активных коммунаров и среди них опять-таки пятерых школьных учителей. Судили их дважды, так как первый приговор в Москве был отменен «за мягкостью». В общем отсидели мужики в лагерях по 10 лет, не считая тех, кого просто расстреляли в лагере. Лагерная жизнь толстовцев

подробно описана многими из них. Вот лишь один эпизод из книги Дмитрия Егоровича Моргачева:

В этом лагере (имеется в виду лесозаготовительный лагерь 41-й квартал в районе реки Томь. — М. П.) был ужасный деспотизм. Зимой в мороз в лес на работу выгоняли до света, в темноту, и держали во дворе у шахты не менее двух часов, пока начальство ходило по всем баракам и углам, разыскивая и выгоняя на работу тех, кто заболел или не хотел выходить. Наконец тронулись. Больные отстают, их бьют, гонят. В лесу заходим на огромный участок, обведенный конвоем свежей линией; шаг за лыжню считается побег... Бывает снег до двух метров, идти по нему нельзя, тогда становишься на четвереньки и ползком по лесу... Кто работает, а кто мерзнет у костров, доходит. Уже к сумеркам рабочий день кончается. Идти домой в барак километров 5 — 7, снег сыпучий по дороге, конвой требует порядка в рядах, больные падают, не могут идти, их опять гонят, бьют. Мы с Борисом (Мазуриным, председателем Совета коммуны толстовцев) просим разрешения нести больного на плечах... приносим больного в лагерь, сдаем в стационар, утром зайдем узнать о его здоровье, а он уж умер.

В лагерь приходят все замерзшие, мокрые и спешат по баракам, а тут крик: на поверку! И все опять выходят на мороз, стоим в рядах иногда по полтора-два часа, пока конвой пересчитает всех... Наконец кричат: разойдись! На ужин! А ужин миска жидкой баланды и 600 граммов хлеба при выполнении нормы, а кто не выполнил — 300 граммов.

Летом нас 400 человек «контриков» перегнали из барака в овощехранилище, под землей. Сырость, мрак, плесень, дым от железных печек, а сверху сыплется песок, ни одной ложки не съешь без песка. Здесь люди быстро доходили и умирали. Иногда за одну ночь в лагере умирало до 19 человек...

Страдая в тюремных казематах, в лагерных бараках, толстовцы искали поддержки и утешения в помощи друг другу, в своем нерушимом единении. В камерах складывались толстовские стихи и песни. Через много лет в начале 70-х один из немногих выживших, Дмитрий Моргачев, составил сборник песен и стихов своих единомышленников. В предисловии он объяснил, что заставляло не слишком грамотных крестьян браться за писание стихов.

В тюрьме не полагалось иметь при себе бумагу и карандаш. Были часты обыски. Мы обвинялись по статье 58-й, как контрреволюционеры. Поэтому приходилось все, что с нами происходило, заучивать в памяти. Стихотворения, создаваемые в тюрьмах и лагерях, заучивались в памяти, складывались в мозговую библиотеку и хранились там десятилетиями, до возвращения из заключения, если кто возвращался домой. Удивительно, что в мозговой библиотеке есть такая хорошая память. По возвращению из лагерей и тюрем те, кто остались живы, смогли записать на бумагу выученные на память стихи и познакомить нынешних людей с нашим жутким прошлым, с произволом и беззаконием, в котором мы жили. Пусть это будет назиданием современным сегодняшним людям, чтобы такое больше не повторилось.

Но, очевидно, писание стихов нужно было толстовцам не только для того, чтобы сохранить для будущих поколений память о перенесенных страданиях. В 1937 году, мучаясь в одном из северных лагерей от голода, непосильного труда и бесчеловечности лагерного начальства, Дмитрий Егорович записал: «ХОЧЕТСЯ ПОПРОСИТЬ ПОМОЩИ, ЗАЩИТЫ, НО К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?» И тогда возникло стихотворение-молитва:

Отец вселенной, Царь природы,  
К Тебе взываю, Тебя прошу:  
Да, так я многое забуду,  
Сейчас в уме я запишу.

В Марийских лагерях  
И в Беломор-канале

По двенадцать ларей  
В одну яму клали,

А в одном ларе двенадцать  
Трупов мертвых было.  
Так что сто сорок четыре  
В одну ночь зарыли.

А таких ночей немало,  
Они сплошь да рядом.  
Только вспоминаю про это —  
Слезы льются градом...

В предисловии к самиздатскому сборнику крестьянских стихотворений (1973) Моргачев писал:

Большинство стихотворений принадлежит коммунарам, арестованным в 1936 году. Что же касается членов коммуны, арестованных в большинстве в 1937-1938 годах, от них ничего не осталось после ареста. Не было от них писем к своим родным, семьям, не осталось и стихов, неизвестно, судили их или нет, но они почти все не вернулись к родным, к жизни. Как трудно, тяжело, а с другой стороны, как радостно отбывать годы и десятилетия лишения свободы, не сделав никакого преступления, никакого злодеяния перед людьми, страдать за человеколюбивые убеждения, за любовь ко всем живым существам, за мирную братскую жизнь в духе Льва Николаевича Толстого. Замучены сотни тысяч, миллионы людей, не согласных с насилием государственной власти... Такая участь постигла и членов толстовской коммуны. Они погибли за свои искренние человеколюбивые убеждения. Вечная им память.

За то время, что Дмитрий Егорович скитался по тюрьмам и лагерям, в его собственном доме произошло немало ужасных событий. В 1937 году схвачен был его старший сын Тимофей, по описанию односельчан «тихий, хороший парень, еще не женатый». Тимофей погиб от истощения в одном из северных лагерей. Затем, во время войны, отказался взять оружие и служить в армии второй сын

Дмитрия Егоровича Иван. Он был расстрелян в 1942-м в числе шестидесяти крестьянских парней, схваченных по этому делу. А еще раньше распалась и была превращена в обычный колхоз просуществовавшая восемнадцать лет толстовская коммуна «Жизнь и Труд». Большая часть коммунаров после лагерей не вернулась туда, они оставили сельское хозяйство, ушли в города. Ушел и Моргачев. Завершая свое жизнеописание, он с горечью и удивлением оглядывается на судьбу своего поколения:

И опять я думаю: почему этим людям не дали жить? Люди трудовые, местные, вся жизнь их на ладони; никогда я от них не слышал, чтобы они стремились или добивались какой-нибудь своей политической власти, у них на этот счет никаких дум не было и в помине. Казалось бы, им жить и крепнуть в своей коммунистической сознательности, цвести их трудам на благо и на пример людям. Так нет, с упорством, достойным лучшей цели, жить и трудиться им не дают. И кто же не дает? Власть рабочих и крестьян с идеалом коммунизма впереди. Мне кажется, однако, что рабочие и крестьяне здесь ни причем, а действует голое самоуправство чиновников, стоящих над народом, а не служащих ему.

После выхода из лагеря Моргачев прожил еще 32 года. Человек трудовой, мастеровитый, он до глубокой старости (умер он в 1978 году в возрасте 86 лет) кормил себя и свою семью ручным трудом: клал печи, строил дома, работал на пасеке. Но была у него и другая жизнь: как и все толстовцы, Дмитрий Егорович много читал, выступивал на старенькой пишущей машинке свои воспоминания, перепечатывал и сохранял письма и рукописи крестьян-единомышленников. Он ни от кого не таил своих убеждений. Несколько раз посылал резкие письма в советские газеты и журналы, опровергая писания пропагандистов-антирелигиозников. Когда один из таких антирелигиозников, некто Клибанов, в своей книге облил грязью крестьян-толстовцев, Моргачев через редакцию послал ему большое обличительное письмо\*. Все эти годы Дмитрий Егорович настойчиво

---

\* В письме от 1 июня 1975 года к редактору журнала «Новое время» П. Наумову Д. Е. Моргачев приводит факт, который собственными глазами наблюдала толстовка А. Г. Барышева, отбивав-

требовал, чтобы власти признали осуждение крестьян из коммуны «Жизнь и Труд» судебной ошибкой. По его письмам Генеральный прокурор СССР сорок лет спустя после ареста толстовцев признал действия суда неправомерными, а толстовцев невиновными.

Старик-крестьянин до конца своих дней оставался на подозрении у властей. И не без основания. Живя в глуши (город Пржевальск, на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии), Моргачев, благодаря большой переписке, был в курсе общественной жизни страны. Слепший, прикованный к постели, он остался верен мысли, что свобода слова, свобода веры — прирожденное и неотъемлемое право каждого человека. В последних его письмах появилось упоминание о Всеобщей Декларации прав человека, о необходимости отстаивать эти права. Родные просили его уговориться, власти устроили охоту за его почтой; за полгода до его смерти кагебешники ворвались в дом Дмитрия Егоровича с обыском. Но старый крестьянин ни в чем не изменил себе. В той рукописи, которую он тайно переправил в Москву и выписки из которой я ныне публикую, есть между прочим такие строки: «В КОММУНЕ (имеется в виду толстовская коммуна «Жизнь и Труд») БЕЗО ВСЯКОГО СГОВОРА МЕЖДУ ОТДЕЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ, НО ИЗ ИСКРЕННИХ, ЧЕСТНЫХ, ПРАВДИВЫХ ЛЮДЕЙ СОЗДАЛСЯ КОСТЯК, НЕ КОСТЯК, А ГРАНИТ, НЕ ГРАНИТ, А АЛМАЗ...» Единственно, что можно было бы добавить к этой характеристике, это то, что алмазным фондом страны было всё российское крестьянство, все те мужички, которых под именем кулаков и подкулачников под корень вывела советская власть. Дмитрий Егорович Моргачев — голос тех кормильцев народа, ИСКРЕННИХ, ЧЕСТНЫХ, ПРАВДИВЫХ деревенских людей, которых в России больше нет.

---

шая срок в Соловках в 30-х годах. «На берег Белого моря привели большую группу религиозных людей под конвоем и требовали отказа от религиозных вер. Религиозные начали петь псалмы. Тогда из большой группы повывели меньшую, подвели к берегу моря, приказали зайти в море, вновь и вновь требуя отречения от веры. Но они продолжали петь... А конвой тем временем оттеснял этих людей всё глубже и глубже. Наконец стали видны одни головы, пение же продолжалось. Затем набежал на них катер и их не стало видно».

# ИСТОКИ

Лидия Ш а т у н о в с к а я

## ЧАС РАСПЛАТЫ

Глава из книги воспоминаний

...Уничтожив одним ударом верховное командование Красной Армии и обескровив ее, Сталин получил, наконец, возможность осуществить давно задуманный план физического уничтожения всех старых кадров партии, всех, кто сохранил еще следы какой-то идейности и минимальную способность самостоятельного мышления. Годы 1937-1939 и стали годами сталинского «Большого Террора». Население Дома Правительства составляли почти сплошь представители этой старой партийной гвардии, и по нашему Дому волна террора прокатилась как сокрушительная эпидемия. Страшные итоги и сверхчеловеческая жестокость этого террора, идеологически и идейно подготовленного всей историей марксистско-ленинской коммунистической партии и осуществленного Сталиным, известны. Я не буду повторять тех историков и мемуаристов, кто поведал миру об этих ужасах, а расскажу лишь о том, что я видела сама, живя в эти страшные годы в Доме Правительства.

Вот что произошло, например, только в 7-м подъезде этого дома, где мы с мужем жили в квартире 145, на 9-м этаже. Напротив нас на том же этаже жил Алек-

---

\* Первое извлечение из этой книги опубликовано в «Континенте» № 23. Полностью книга выйдет в свет в этом году в издательстве Chalidze-Publications в Нью-Йорке.

сей Стецкий — член Оргбюро ЦК и начальник Отдела культуры и пропаганды (характерно, что эти два взаимоисключающих понятия сливаются в глазах большевиков в одно целое — «культпроп»). На 10-м этаже, над нами, жила семья старых большевиков Беленьких, людей с очень большим дореволюционным стажем, но сейчас уже не занимавших никаких ответственных постов. Напротив них жил ответственный работник центрального аппарата партии Назаретян. На 8-м этаже жил известный журналист Михаил Кольцов, один из руководителей советских войск в Испании. Остальных я упоминать не буду, но все они принадлежали к тому же слою старых партийных работников. Всего в нашем подъезде было 22 квартиры, но в период Большого Террора уцелели только обитатели четырех квартир, остальные были арестованы и почти все погибли под пытками или в лагерях. Да и жильцов этих «благополучных» четырех квартир постигла та же судьба, но только десятилетием позже. Во вторую волну сталинского террора были арестованы профессор В. В. Парин, один из руководителей Академии Медицинских Наук СССР (кв. 148), сын и дочь старых большевиков Беленьких (кв. 147) и мы с мужем (кв. 145). То же происходило и во всех других подъездах нашего дома. Дом пустел, как во время чумы. Но «природа не терпит пустоты», и опустошенные квартиры начали заселяться новыми людьми, людьми сталинского племени и воспитания. О нравах и обычаях этого, уже вполне безыдейного нового правящего класса, о его полной моральной деградации и примитивном культурном уровне я рассказываю отдельно.

Аресты происходили еженощно, а иногда и по несколько в одну ночь. Всем было ясно, что арестовывают не за какие-нибудь вины или проступки, но что идет сознательное и систематическое истребление всей среды старых большевиков и людей, воспитанных до прихода к власти Сталина. Никто, как бы

чиста ни была его совесть перед партией, как бы безусловно ни было его прошлое, не чувствовал себя в безопасности. И так как никто не знал, когда придет его час, то все жили в страшном нервном напряжении, как приговоренные к смерти, не знающие, когда их поведут на казнь. По ночам не спали и с тревогой прислушивались к шуму каждого подъезжающего автомобиля, к каждому шороху на лестнице.

Вот что случилось в нашей квартире летом 1937 г. Как я упоминала уже, две комнаты в этой квартире занимали мы с мужем, а в двух других жила Александра Васильевна Савельева и ее взрослый сын-инженер. За годы совместной жизни мы с ней тесно сдружились и были друг к другу очень привязаны.

Савельева была старым членом партии с большим дореволюционным стажем и безупречной партийной биографией, в которой было всё: аресты, суды, ссылки, побеги. Она всегда строго придерживалась ортодоксальной «генеральной линии» партии, ни в каких оппозиционных группировках никогда не состояла. Больших политических постов она не занимала — была начальником отдела переводной литературы в Государственном Издательстве Художественной Литературы. Мужем ее, с которым она разошлась много лет тому назад, был видный коммунист, академик Савельев, редактор первого издания сочинений Ленина. К тому же была она родной сестрой того Федора Гусарова, военного врача, служившего в Варшаве, через которого осуществлялась нелегальная связь большевистского центра за границей с партийными организациями в России. Казалось бы, чего ей бояться?

И все же. Как-то раз, летом 1937 г., часа в два ночи, в нашей квартире раздался сильный звонок. Муж мой, которого Бог наградил богатырским сном, ничего не услышал, а я накинула на себя халат и с трепетом пошла открывать дверь. За себя и за мужа я не волновалась. Мы были беспартийными интеллиген-

тами, специалистами, а таких в те годы еще не очень громили. Наша очередь пришла позже. Но Савельева?

Я вышла в коридор и увидела ее. Она стояла смертельно бледная, в полуобморочном состоянии, держась за стену, чтобы не упасть. — «Идите к себе. Я сама открою дверь», — сказала я ей.

«Кто там?» — «Откройте, здесь дежурный комендант». Ну, тут уж все совершенно ясно. Арестовывать всегда приходили в сопровождении дежурного коменданта дома. Выхода не было, и дрожащими руками я открыла дверь. За ней, действительно, стоял дежурный комендант и какой-то рабочий, но гебистов не было. «Извините, — сказал вежливо комендант, — не залило ли водой вашу ванную комнату?»

Мы открыли дверь и увидели, что и вправду вся наша ванная, коридор и кухня залиты водой. Какое счастье! Всего лишь наводнение! Да если бы и пожар был, мы и то вздохнули бы с облегчением.

Оказалось, что вечером по какому-то случаю в квартире над нами воду перекрыли, а хозяева уехали на дачу, оставив кран в ванной открытым. Потом воду включили, она потекла, переполнила ванну и начала просачиваться вниз, до четвертого этажа. Там жильцы всполошились и позвонили в комендатуру, которая и начала проверять все последствия этой аварии. Комендант предложил прислать нам уборщицу, чтобы помочь привести квартиру в порядок, но я отказалась от ее услуг, чтобы никто не видел, в каком состоянии была Савельева, и мы сами принялись за уборку. А муж мой все спал и всю эту тревогу пропустил.

Кончили мы нашу работу уже под утро и решили не ложиться спать, а посидеть в кухне, выпить кофе и успокоиться. «Дорогая, — спросила я ее, — почему вы так испугались? Я видела, что на вас лица нет. Ведь вы никогда ни в каких оппозициях не состояли». — «Ах, — ответила она, — ведь я старый большевик.

Неужели вы не понимаете, что этого в наше время достаточно?»

Смешной случай, не правда ли? Но вдумайтесь в то, что означает для человека, отдавшего всю свою жизнь партии, признать, что именно это и ставит его под удар, что именно поэтому он может быть в любую минуту арестован и без суда казнен или сослан в лагеря, что почти одно и то же. Вот когда поняли они, что означает юстиция, основанная на ленинской «революционной сознательности», а не на законе. Вернее, знали они это и раньше, но не беспокоились, пока дубинка не ударила по ним самим.

Как это происходило? Обычно те, кто арестовывается, и те, кто остается, чтобы произвести обыск, приезжают вместе. Ночной звонок. Вы открываете, и в квартиру вваливается несколько человек гебистов в сопровождении дежурного коменданта и дремлющих, забитых «понятых» — свидетелей. «Вы такой-то?» Вам предъявляют ордер на арест, велят одеться, разрешают взять с собой немного белья и платья, небольшую сумму денег. Вас усаживают с двумя офицерами в хорошую, комфортабельную машину, ожидающую у подъезда, и все. Вы исчезли, вас больше нет ни для кого. Ни родные, ни адвокат — никто не навестит вас ни во время следствия, ни после него. Если ваше «преступление» не слишком серьезно, то вы попадете в лагерь и, быть может, ваши родные хоть узнают, где вы, и смогут посылать вам изредка посылки. Ну, а если «дело» чуть посерьезнее или следователь попался вам чуть посерьезнее, то вы как в воду канули: никто ничего о вас не узнает. Ваша мать, жена, дети не будут даже знать, живы ли вы, да и вы сами тоже ничего не узнаете о них долгие годы, а может быть, и никогда.

После того, как арестованного увозят, в квартире начинается обыск. Переворачивают все вверх дном. Перелистывают каждую книгу на полках, разверты-

вают и просматривают все письма, бумаги, просматривают все белье и платье, все постели, все детские вещи и игрушки. Все это сносят и нагромождают в тех комнатах, которые потом будут опечатаны. А остающимся: жене, детям, старым родителям — оставляют одну-две комнаты. Забирают все деньги, какие есть в доме, и сберегательные книжки, если они имеются. Опечатывают все ценные вещи и ценности, и семья остается без всяких средств к существованию. Каждому члену семьи оставляют лишь кое-что из его личных вещей. Так что и продавать нечего.

Страх, пронизывавший всю жизнь страны в эти годы, был так силен, что часто от семей арестованных отворачивались даже ближайшие родственники. А уж о знакомых, товарищах, друзьях и говорить нечего. Ведь каждый арестованный — даже еще и не осужденный — немедленно объявлялся «врагом народа», и каждый боялся, что знакомство с ним или сочувствие к его семье сделают завтра «врагом народа» и его самого.

Жены арестованных старались не выходить во двор, опасаясь, что ближайшие друзья отвернутся от них и пройдут мимо, не поздоровавшись. И в большинстве случаев у них были все основания опасаться этого, ибо животный страх владел всеми в этом счастливом социалистическом обществе.

После того, как арестовали профессора Парина (это было уже в 1947 г.), мой муж как-то сказал мне с горечью: «Подумай, я сегодня встретил на лестнице Нину (жену Парина). Мы вместе спустились в лифте, но у выхода во двор она сказала мне, чтобы я оставил ее и пошел один. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Я крепко взял ее об руку и демонстративно прошагал мимо всех вахтеров и шпиков. Плевал я на них! Но как обидно, как горько мне думать о ее унижении и о том, что и меня она считала жалким трусом, который побоится показаться с ней». Попробуйте представить

себе, что такое жизнь в стране, где нужны «смелость и отвага» только для того, чтобы пройти по двору с женой арестованного. Подумайте об этом, дорогой западный читатель, когда вы пойдете голосовать и захотите опустить свой бюллетень за каких-нибудь «левых».

Почти всегда через некоторое время после ареста «врага народа» приходили вторично и арестовывали его жену, а детей отправляли в специальные приемники и детские дома. Официально узаконенная расправа с женами «врагов народа» (без предъявления им каких-нибудь личных обвинений) — это новейшее изобретение советской юстиции. Царское правительство этого не знало.

Вот только одна, очень типичная картина того, что происходило с семьями арестованных. Этажом выше нас жил ответственный партийный работник Амаяк Назаретян, до которого Сталин добирался уже давно. Он пытался арестовать его и расправиться с ним еще в начале 30-х годов, но тогда этому помешал Орджоникидзе при поддержке Куйбышева и Кирова. Понятно, что Назаретян стал одной из первых жертв «Большого Террора». Он был арестован уже в июне 1937 г.

С его женой Клавдией, которая также была через короткое время арестована, я была хорошо знакома. Обычно за женами и детьми тоже приходили ночью, но Клавдию арестовали и увели вместе с детьми днем, потому, вероятно, что маленькой ее девочке было всего пять месяцев. Проходя мимо дежурной, семилетний сын Клавдии сказал ей: «Тетя Нюра! Сначала они арестовали папу, а теперь меня».

Московские тюрьмы были в это время переполнены, и для женщин с детьми там уже не было места. Поэтому Клавдию с девочкой поместили в какую-то полуразрушенную большевиками церковь, спешно переоборудованную в тюрьму для женщин с детьми.

Там эти несчастные женщины промучились некоторое время, не имея самых элементарных человеческих условий, не имея даже возможности выстирать или прополоскать пеленки. Потом их, наконец, перевели в тюрьму, продержали там несколько времени, не вызывая на допросы (ведь их ни в чем не обвиняли, кроме того, что они «жены»), а затем каждой дали подписать бумагу о том, что она является женой «врага народа» и на этом основании приговаривается к 8 годам лагеря.

С момента ареста Клавдия и ее дети совершенно исчезли, как в воду канули, не только для нас, соседей, но и для всех родных. Была у Клавдии в Москве тетка, которая ее вырастила, простая русская женщина, тетя Дуся. В ней-то и в ее муже Ване, простом рабочем, еще сохранилась совесть и честь, которую так успешно вытравил большевизм в русской интеллигенции и прежде всего, конечно, в душах членов партии.

Дни и ночи простаивали Дуся и Ваня в очередях в справочные бюро органов «государственной безопасности», пытаясь узнать, где Клавдия и ее дети, но узнать им ничего не удалось. Только от родственников других арестованных женщин они узнали, что в Москве существует специальный приемник, где содержат детей арестованных до их отправки в специальные детские дома. Каким-то чудом они разыскали этот приемник и нашли там 7-летнего сына Клавдии, которого у нее отобрали сейчас же после ареста. Мальчика должны были вскоре отправить в детский дом. Был он страшно напуган и находился в очень тяжелом состоянии. Тут Дуся проявила чудеса неустрашимости и настойчивости. Она добилась разрешения взять этого мальчика на воспитание. Но Клавдия и ее крохотная дочь исчезли бесследно. На все просьбы, на все запросы никаких ответов не было.

Прошло года полтора, и Дуся неожиданно получила повестку — вызов в органы госбезопасности. Там

ей объявили, что Клавдия находится в лагере, а девочка в яслях при лагере, но так как девочка уже подросла, то ее должны были отправить из яслей в детский дом. Клавдия подала заявление с просьбой отдать девочку на воспитание тете Дусе, если та согласится взять ее. О том, что мальчик уже воспитывается у Дуси, Клавдия, конечно, не знала. Дуся, которая и сама-то перебывалась с хлеба на квас, конечно, с радостью согласилась. Ей дали адрес лагеря и разрешили поехать за девочкой. Так мы узнали, наконец, где Клавдия.

В жизни я никогда не видела такого страшного ребенка, каким была маленькая Каля, когда Дуся привезла ее в Москву. Это был мешочек гремящих косточек, с огромной головой, иссиня-белым личиком и черными кругами под глазами. Твердую пищу девочка есть не умела — очевидно, никогда не видела ее, а при виде каши захлебывалась в слезах и крике. И все же героическая тетя Дуся вышла, поставила на ноги обоих детей Клавдии. Честь ей и слава!

В 1946 г. Клавдия вернулась из лагеря и прожила некоторое время у меня на даче под Москвой. Ей нужно было отдохнуть и подкормиться, а права жить в Москве отбывшие срок в лагерях не имели. Но, когда Сталин начал вторую волну арестов и репрессий, начали вторично арестовывать и жен «врагов народа», хотя большинство их было уже в это время уничтожено. Была вторично арестована и послана в лагерь и Клавдия. Она вернулась в Москву только после смерти Сталина и ареста Берия, получила квартиру и пенсию за «несправедливо осужденного» и посмертно реабилитированного Назаретяна.

Самоотверженность и мужество тети Дуси и ее мужа были явлением исключительным даже для среды простых, беспартийных людей. Многие и в народе отрекались от арестованных близких и предавали их. Что поделаешь — страх превозмогал все. Но все же в простом народе еще теплились остатки совести и че-

ловеческих чувств. В партийной среде предательство стало нормой. Слово «верность» было забыто. Как только кого-нибудь забирали, так немедленно от него отрекались и его начинали поносить все его многолетние друзья, соратники и даже родные.

Вот типичная картина. Жили-были в Москве два закадычных друга, два старых большевика Борис Волин и Сергей Ингулов. Сочинили они вдвоем ещё в двадцатые годы «Учебник политграмоты», по которому многие миллионы советских граждан осваивали основы марксистско-ленинской мудрости. Дружно делали они и свою партийную карьеру, идя вверх друг за другом. Сначала Волин был начальником Главлита, а когда он стал заместителем министра просвещения, его кресло в Главлите занял Ингулов. Дружили они и домами. Их жены Дина Волина и Александра Ингулова были близкими приятельницами. Ингулова была моей дальней родственницей, я даже провела у нее мою первую ночь в Москве. Через нее я и познакомилась с Волиными, которые жили в том же Доме Правительства.

В 1937 или 1938 году Ингулова и его жену арестовали, а Волин случайно уцелел. Вскоре после ареста Ингулова я встретила как-то во дворе дома Волину. Ханжески поджимая губы, она сказала мне: «Ах, как нам жаль Шуру. Она, конечно, ничего не знала. Но Сергей... Сергей для нас больше не существует». Ведь знала же, дрянь, знала, не могла не знать, что никаких преступлений Ингулов не совершал, что не было ничего, что Шура могла бы «знать» или «не знать»! Но отречься от Ингулова, отмежеваться от него, предать двадцать лет дружбы она считала необходимым даже передо мной.

По всей логике работы органов безопасности, раз был арестован Ингулов, непременно должен был быть арестован и Волин. Слишком тесно были связаны эти два имени. Но, как это ни странно, Волин несколько

не пострадал. Он не был даже исключен из партии и продолжал работать, хоть и не на столь видных постах. Это казалось всем тем более странным, что Борис Волин — еврей. Его настоящая фамилия Фрадкин, а брат его Александр Фрадкин был арестован и погиб в 1938 году. Разгадку этой тайны я узнала во время следствия по нашему делу, в Лефортовской тюрьме МГБ. В одну из «тихий» ночей следователю, полковнику Комарову, зачем-то понадобились сведения о том, где и на каких дачах жила в последние годы моя семья летом. Между нами произошел такой разговор.

— Где вы жили летом 1945 года?

— В подмосковном поселке Кратове, на даче Волиных.

— Вы жили у председателя Верховного Суда Волина?

— Председателя Верховного Суда Волина я не знаю, а сняли мы на лето дачу у старого большевика Бориса Волина.

— Послушайте. Теперь я верю, что у вас галлюцинации и вам снятся давно погребенные мертвецы. Не могли вы жить на даче Волина, не может у него быть дачи, его давно нет в живых.

— И все же: Борис Волин жив, проживает в том же Доме Совета Министров, где жила и я, награжден орденами и медалями и вообще вполне благополучен.

— Как зовут его жену и дочь?

— Жена его — Дина Давыдовна, а дочь — Виктория.

— Правильно. Неужели вы думаете, что, арестовав и пустив в расход Ингулова, мы оставили на свободе Бориса Волина? Поверьте мне, Волина давно нет, тю-тю ваш Волин.

— И все же уверяю вас, что Волин никогда не был арестован и вполне благополучен.

— Послушайте, Шатуновская, кто-то из нас сошел с ума. Думаю, что вы. Да знаете ли вы, сколько

лет я здесь работаю. Да я еще лейтенантом, этими вот своими руками...

— Волина вы, очевидно, забыли. Во всяком случае я видела его и его жену за две недели до нашего ареста. Мы встретились на избирательном участке в нашем доме в день выборов в Верховный Совет.

Комаров начал плевать, ругаться и бегать по своему огромному кабинету. «Послушайте, полковник, — сказала я, — ведь вы можете утром все это проверить». — «Я не могу ждать до утра», — закричал Комаров и нажал кнопку звонка.

Вошел охранник, и, оставив меня под его бдительным наблюдением (чтобы я, упаси Бог, не задремала хоть на минутку, сидя на табуретке), Комаров выбежал из кабинета.

Вернулся он через несколько часов в состоянии полного бешенства. Он бегал по кабинету, ерошил волосы, плевался и рычал: «Пропустили, идиоты, пропустили, забыли...». Дальше шла виртуозная и неповторимая ругань.

После нашего возвращения в Москву я решила не рассказывать Волину о том, какая счастливая случайность спасла его. Так он и умер, не подозревая об этом.

Весь этот эпизод воспринимался (позже, конечно) нами и всеми знакомыми, которым я рассказывала об этом, как нечто почти комическое. Но если вдуматься, то как это трагически страшно, каким Каиновым клеймом ложится на весь советский строй то, что в нем человек погибает или выживает не по своим поступкам и даже не по своим словам и убеждениям, а по чистой игре случая — «вспомнили» о нем или «забыли».

Раздумывая потом об этом эпизоде, я поняла, почему несколько человек, которые, казалось бы, неизбежно должны были быть арестованы, непонятным образом избежали этой участи.

Был у меня, например, дальний родственник Александр Жвиф, партийная фамилия которого была Макар. Был он старым большевиком, провел много лет в эмиграции, окончил в Европе медицинский факультет, но врачеванием никогда не занимался. После революции его пустили по дипломатической линии, он был советским послом в каких-то европейских странах, а на последнем своем посту в Мексике провалился: Мексика порвала отношения с Советским Союзом, когда он был там послом, и вину, конечно, взвалили на него. По возвращении в Москву его назначили председателем какого-то профсоюза.

Был Макар яростным троцкистом, участвовал в троцкистских группировках, и все об этом знали. Казалось бы, тут-то Макару и крышка. Ан нет. Жена его Соня была женщиной умной и дальновидной. Как только в воздухе повеяло опасностью, она заставила мужа тяжело «заболеть», уйти со всякой работы и перейти на положение пенсионера. Макар хорошо знал иностранные языки, имел переводную работу, которая обеспечивала его, и жил «тише воды, ниже травы». О нем забыли, и он уцелел. Так же хитро спланировали и некоторые другие из моих знакомых. Но кое-кому просто повезло, о них забыли в суматохе массового террора.

Когда вся система государственного управления представляет собой огромную сеть, закидываемую на глубину с единственной целью — захватить намеченное по плану число жертв, — естественно, кое-какая мелкая рыбешка умудряется проскочить сквозь ячейки этой сети. Особого значения это не имеет, а все же Комаровым досадно.

---

Я не могу закончить мой рассказ об этих годах, не сказав несколько слов о той атмосфере угодничест-

ва и беспринципности, которая установилась в эти годы в учреждениях культуры: в редакциях журналов и газет, в театрах, в организациях писателей, художников, музыкантов, в научных учреждениях.

Говоря словами Солженицына, все мы «жили по лжи». Говоря «мы», я не делаю исключения для себя и для моего мужа. Его всегда с усмешкой называли «фрондером», потому что у него сохранилось стремление хоть в чем-то и как-то сохранить свою индивидуальность, говорить не вполне по казенному образцу, высказывать мысли, если и не прямо еретические или — упаси Бог — антисоветские, то, по крайней мере, хоть чем-то отличающиеся от советского стандарта. Но разве он не вел «общественную работу», без которой нельзя обойтись ни в одном советском учреждении? Разве не был вполне уважаемым членом комитета профсоюза, всю фальшь которого он понимал? Разве не ездил в предвоенные годы по частям Советской Армии с научно-популярными лекциями? Разве не был лектором и даже председателем отдела общества «Знание» — проводника и пропагандиста советской идеологии? Коротко говоря, разве не был он внешне «вполне советским человеком», в душе полностью отрицая и ненавидя этот строй?

Да и я была хороша. В те предвоенные годы я работала в редакциях разных театральных журналов и была редактором сценарного отдела Министерства по делам кинематографии. Работать на идеологическом фронте в Советском Союзе очень трудно, труднее, чем в технике или науке. А в те годы это было трудно вдвойне. Правда, я сама никогда не писала о так называемом «социалистическом реализме», который всегда считала зловредной чушью, выдумкой Горького, ведущей искусство лишь к гибели и разложению. Я избрала себе нейтральную тему — вопросы театральной школы и системы Станиславского, которую я считаю единственной эффективной системой воспитания и

подготовки актера. В этом я была искренна. Но разве я не заказывала для журнала и не редактировала статьи и рецензии тех критиков и литературоведов, которые за деньги готовы были писать все, что было угодно партийному начальству? Издевалась над ними в кругу друзей, а все же редактировала и посылала в печать. Разве я позволила себе где-нибудь и когда-нибудь высказать публично свое настоящее мнение о социалистическом реализме?

Вот эпизод, характеризующий обстановку в редакции в те годы. Был в Москве «ведущий» драматург Киршон (без «ведущего», как известно, в Союзе ни одна область жизни не обходится). Пьесы он писал весьма посредственные, но считался как бы «представителем» ЦК в драматургии. Последняя его пьеса «Большой день» была поставлена театром Советской Армии, и я была на премьере. На другой день редактор журнала «Театр», где я тогда работала, Виктор Залесский предложил мне написать рецензию об этом спектакле. Я ответила ему, что пьеса, по моему мнению, плохая, а спектакль очень слабый, и что я могу написать только так. Залесский покраснел от гнева: «Да знаете ли вы, кто такой Киршон? — кричал он. — Да читали ли вы сегодня рецензию об этом спектакле в «Правде»? Какое же право имеете вы говорить, что пьеса и спектакль плохие?» После этого Залесский вообще перестал со мной разговаривать и даже здороваться. Меня вызвал к себе и сделал внушение «сам» директор издательства «Искусство». Стороной я узнала, что меня собираются «проработывать» на общем собрании сотрудников издательства. Можно было ожидать больших неприятностей, вплоть до увольнения с работы.

И вдруг все переменялось. Через несколько дней (довольно неприятных для меня, говоря по совести) Залесский при встрече со мной мило улыбнулся, заговорил со мной и был необычайно приветлив. Ничего

не понимая, я прошла в соседнюю редакцию киногазеты и спросила там своих друзей, чем объяснить такую необычайную перемену в отношении Залесского ко мне. Ответ был очень прост: «Сегодня ночью Киршон арестован как враг народа».

Вот так мы жили и работали. И при всем том нам, интеллигентам, был необходим какой-то самообман, нужны были какие-то оправдания нашего малодушия и трусости. Мы уверяли самих себя и друг друга в том, что работаем мы, дескать, не на большевиков, а через их головы на благо народа, на искусство, на науку, на культуру. А посему необходимо прибегать к мимикрии, сохранять покорность и стараться делать свое дело как можно лучше, невзирая на большевиков, благо они дают деньги на науку и искусство.

Трудно сейчас разобраться в том, сколько здесь было искреннего самообмана и сколько приспособленчества, душевной трусости, боязни заглянуть в собственную душу. Как горько, как стыдно вспоминать теперь об этом. И как страшно думать, что так и по сей день живут многие миллионы хороших людей по ту сторону железного занавеса!

---

Жалею ли я об участи старых большевиков, столь безжалостно истребленных Сталиным? Сочувствую ли я им? Многих из тех, кого я лично знала и кто в частной своей жизни был неплохим человеком, мне просто по-человечески жаль. Но, когда я думаю о старых большевиках как о социальной группе, я не нахожу в своей душе ни жалости, ни сочувствия им.

Конечно, никаких преступлений против партии и государства, в которых их обвиняли, они никогда не совершали и даже в помыслах не имели. Но была за ними другая, более страшная вина — они не только создали это государство, но и безоговорочно поддер-

живали его чудовищный аппарат бессудных расправ, угнетения, террора, пока этот аппарат не был направлен против них.

Я не религиозна в обычном смысле этого слова, но есть в моей душе неистребимая вера в какую-то Высшую Справедливость, в то, что «воздастся кое-муждо по заслугам его». Когда Сталин уничтожил одно поколение чекистов вслед за другим, когда погибли жалкой смертью Берия и кое-кто из его сотрудников, не было в наших душах жалости и сочувствия к ним. Я видела в этом проявление Высшей Справедливости.

И если можно вообще применять слово «справедливость» к делам советских органов госбезопасности, то, быть может, истребление старых большевиков было в каком-то смысле самой справедливой из всех совершенных ими несправедливостей. Старые большевики это чудовище создали, они от него и погибли. Tu l'as voulu, George Dandin!

Начатая по инициативе председателя Социал-демократической партии Германии, лауреата Нобелевской премии мира Вилли Брандта кампания по выдвижению Леха Валэнсы на Нобелевскую премию мира ярко демонстрирует мировое признание борьбы польских трудящихся за права и достоинство человека в тоталитарном мире. Мы горячо поддерживаем эту инициативу.

«Континент»

# РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

## «КОНТИНЕНТ»

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуется каталоги

Subscription inquiries  
should be addressed to



**A. Neimanis • Buchvertrieb**

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

# Литература и время

*К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА БЛОКА*

Дмитрий Б о б ы ш е в

## ПОКОЙ И ВОЛЯ

«На свете счастья нет, а есть покой и воля» — написал Пушкин в 1834 году и обозначил, таким образом, одну из столбовых тем русской культуры — тему о ценностях, о положительном наполнении человеческого существования. Заметим, что тема эта взята чисто экзистенциально, намеренно на уровне человеческого, только человеческого, душевного, но не духовного. Ведь Пушкин, называя триаду счастья, покоя и воли, упускает другую триаду ценностей, даваемых Христианством: Веру, Надежду и Любовь, как бы относя ее к иному, надчеловеческому, божественному бытию. Именно в таком виде, именно исходя из пушкинских обозначений, эта тема стала жить в русской литературе, развиваясь и видоизменяясь в творчестве лучших русских поэтов в течение полутора столетий после Пушкина.

Но еще в пушкинском триединстве «счастья — покоя — воли» заведомо отсутствует первый же член — счастье. «На свете счастья нет» — и потому особенно существенны оставшиеся ценности: покой и воля. Гармония утрачена вместе с Золотым веком человечества, но ее можно заменить или заново составить из основных элементов. Однако и они даются предположительно, мечтательно. «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег». Ка-

кой же «покой», если — «усталый»? Какая же «воля», если — «раб»?

После Пушкина вышедший «один на дорогу» Лермонтов пишет, по существу, о том же, но иначе. Он уже и не упоминает о счастье.

«Что же мне так больно и так трудно?» — это уже не просто отсутствие счастья, это — мучительное томление, антиценность, противоположная счастью.

«Я ищу свободы и покоя», — пишет далее Лермонтов почти буквально пушкинскими словами, но поясняет их совершенно по-своему: «Я хочу забыться и заснуть».

Если у Пушкина — покой деятельный, связанный со свободой от суеты и шелухи мирской, а следовательно, творческий покой, то у Лермонтова это скорее упокоение, сон, сквозь который лишь едва доносятся свежие и вечные звуки листвы и музыки. Это — свобода и покой человека смертельно уставшего, измученного, отчаявшегося даже в творчестве...

На фоне столь авторитетных разработок этой темы особенно смело, поразительно смело прозвучало в 1908 году восклицание Блока:

И вечный бой! Покой нам только снится...

И снова, через несколько строк того же стихотворного цикла «На поле Куликовом», мы читаем:

Покоя нет!

— уже убеждаясь, что мы верно угадали здесь пушкинскую тему.

Но как видоизменилась эта тема!

Прежде всего, она оказалась включенной в совершенно иной контекст — в контекст Куликовской битвы, принадлежащей, по убеждению Блока, «к символическим событиям русской истории». Он писал: «Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди».

Весь этот цикл стихотворений построен на прямых антитезах, столь характерных для последних при-

готовлений к битве. Там — «татарва», «поганая орда», развязанные «дикие страсти»... Здесь — «Святая Русь», светлое воинство. Между ними — лишь узкая полоска туманной речки Непрядвы. Там — нарастающий гул во тьме, «орлий клёкот», «трубные крики», «рокоты», здесь — «широкий и тихий пожар», «тоска безбрежная», «светлые мысли», светлый нерукотворный лик «Ее» на щите... Между мраком и светом, между шумом и тишиною — только Непрядва.

Это — ночь перед решающим сражением, которое положило конец трехвековому татарскому игу. Но почему же тогда этот бой «вечен»? Почему этому событию суждено возвращение? Почему нет во всем блоковском цикле предчувствия победы? Да и канун ли исторически конкретной Куликовской битвы описывает Блок? Ведь его описание соответствует не столько летописным фактам, сколько тезисам Пушкина и Владимира Соловьева на более общую тему. России суждено в веках противостоять Востоку, заслоня собой Запад от predetermined восточной экспансии (пушкинская часть тезиса). Этот путь России для Блока «до боли ясен». Можно выиграть Куликовскую битву в истории, но выстоять ее в вечности Россия не сможет... Не сумеет победить потому, что в ней самой засела накрепко ненавистная «китайщина» (по Владимиру Соловьеву). Или — «татарщина» по Блоку. Он поясняет эту мысль в следующих строках:

Наш путь — стрелой татарской древней воли  
Пронзил нам грудь.

Здесь мы наталкиваемся на последнюю часть пушкинской триады — на понятие «воли», которому Блок дает совершенно необычайную трактовку. Это — не та творческая индивидуальная свобода, о которой мечтал Пушкин, это — коллективная воля, причем не «наша», а «татарская, древняя»! Тайнственно выглядит и направление этого «нашего пути» — его вектор метит не вперед на «татарву», а назад, от нее, по-

скольку он — стрелой, пущенной по воле «татарвы», «пронзил нам грудь» и, следовательно, направлен не на Восток, а на Запад! Это придает всему блоковскому циклу совершенно особый смысл, и в нем даже проступает какая-то возможность сотрудничества между сражающимися — между светлым покоем одного стана и разнузданной волей другого.

В статье «Народ и интеллигенция», написанной в том же году, что и цикл «На поле Куликовом», Блок так и утверждает: «Есть между двумя станами... некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие». Правда, он тут же уточняет: «Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между станами, явно враждебными; но как тонка эта нынешняя черта — между станами враждебными тайно!» В этой же статье Блок совершенно определенно ассоциирует народные волнения 1905-08 гг. с расстановкой сил на Куликовом поле. Он пишет: «Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение... Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание».

Таким образом, на антитезы стихотворного цикла «Русь — татары» Блок резко накладывает антитезы статьи, как бы вынуждая нас самих определить, в каком же стане — народ, и в каком — интеллигенция, он же дает туманно-двойственный ответ.

Прежде всего, потому, что у него нет монолитно-единых понятий: «народ» или «интеллигенция» — каждое из них по крайней мере двоятся. «Интеллигенция» в той же статье у него делится на ту кружково-упадническую, либо нигилистически-беспочвенную часть, которая высмеивала и травила Ломоносова-Гоголя-Достоевского-Менделеева, — и, соответственно, на положительно-деятельную ее часть, этими именами определяемую. Добавим к ним и самого Блока. Он так

и называет себя: «Я — интеллигент, литератор, и оружие мое — слово». Интеллигент, но и рыцарь, вооруженный словом. И не только сам он «величал... себя паладином», молва ведь также величала его «рыцарем Прекрасной Дамы». Образ Вечной женственности появляется и на щите русского воина в 3-м стихотворении цикла.

Это — отчасти и Богородица, конечно, — что более чем уместно на щите православного воина, — но она не названа Богородицей, а лишь с большой буквы «Ты» и «Твой лик нерукотворный», что создает очень характерное для Блока соскальзывание одного понятия в другое: Богородица — София — Образ Вечной женственности — образ конкретно женственный... (В том же цикле и «...Русь моя! Жена моя!») Итак, в этом русском воине хотя и аллегорически, но угадывается рыцарствующий интеллигент Блок.

Так кто же враг интеллигента-воина Блока, а также «русского воинства» и «Святой Руси»? Кто эта «татарва», противоборствующая им? По логике стихов выходит, что это все же «народ», а по логике статьи — напротив, скорей «интеллигенция», во всяком случае какая-то ее часть. Причем возможность толковать этого воина как перебежчика из враждебного станна начисто отсутствует: образ на щите слишком неподходящий для «предателя», да и нет темы «предательства» в этом цикле, а есть лишь безбрежная тоска и предчувствие поражения.

Нет, само слово «орда» никак не подходит для обозначения людей просвещения и культуры!

Статья «Народ и интеллигенция» и ранее прочитанный Блоком доклад на ту же тему вызвали в свое время такую уйму возражений, что он вынужден был выступить с новым докладом и, соответственно, с новой статьей, где отчасти уточнил свои прежние определения.



В тех «других» поразительно отчетливо узнаются будущие «Двенадцать», «палящие пулей» и в Святую Русь, и в интеллигенцию, и в духовенство, да и в самого «Христа», идущего перед ними. Но это — в будущем. А пока — не пулей они разят, а «стрелой татарской древней воли»!

Здесь можно было бы сказать, что Блок помещает в один из враждебных лагерей культурно-созидательные силы нации, а в другой — ее стихийно-разрушительные силы... Но это не совсем точно. Конфронтация, несомненно, существует, но распределение сил, по Блоку, сложнее и, одновременно, проще, а потому и трагичней: «Ясно до ужаса, что те, кто поет про «литые ножики», и те, кто поет про «святую любовь», — не предадут друг друга, потому что — стихия с ними, они — дети одной грозы». Его душа занимается страхом и об интеллигенции, которая, несмотря на свой внутренний антагонизм, заключена в круговую поруку «людей культуры». Иначе говоря, счастье невозможно не только потому, что нет покоя и нет воли (по крайней мере, своей), а потому, что потенциалы Покоя и Воли взаимно ополчились друг на друга.

В этой борьбе есть четыре враждующие силы. А стана все-таки два. И линия раздела проходит как по вертикали, так и по горизонтали: Народ и Интеллигенция, Стихия и Культура. Если прочертить эти линии, получится крест. Видел ли этот крест Блок — мы не знаем (Свобода, свобода, эх, эх, без креста), но он, несомненно, видел приближающуюся национальную (а может быть, и мировую?) катастрофу и писал о ней как о трагедии внутреннего разлада между Покоем и Волей, единственными началами, которые могли бы сотрудничеством своим заменить утерянную гармоническую полноту жизни, то есть Счастье.

Итак, вражеская орда, «татарва» — это, несомненно, народные разрушительно-вулканические силы нации, исполняющие чуждую им «татарскую» Волю

и шумно готовящиеся к решительной схватке со своим извечным врагом. А враг этот — интеллигентные, культурно-строительные силы, силы созидания и творческого Покоя, ибо у них — «святое знамя» высших, духовных ценностей, «светлый стяг». В отличие от исторической Куликовской битвы, в блоковской Куликовской битве эти ценности должны погибнуть:

Светлый стяг над нашими полками  
Не взиграет больше никогда.

Погибнут и носители этих ценностей:

Я не первый воин, не последний,  
Долго будет родина больна.

Но путь русской интеллигенции, как его видел Блок, хотя и убийствен, лежит заодно с путем народной орды; в соответствии с «татарской древней волей» он направлен на Запад и, возможно, против Запада. Г. Федотов (под псевдонимом Е. Богданов) в статье об этом цикле Блока, опубликованной в «Современных Записках» (Париж, 1927), заметил, что «На поле Куликовом» — это ключ к «Скифам». И в самом деле, не ту ли «татарскую древнюю волю» выражает уже побежденный ордою Блок, обращаясь к Западу:

Мильоны вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,

С раскосыми и жадными очами!

Для вас — века, для нас — единый час.

Мы, как послушные холопы,

Держали щит меж двух враждебных рас

Монголов и Европы!

... ..

Вот — срок настал. Крылами бьет беда.

И каждый день обиды множит,

И день придет — не будет и следа  
От ваших Пестумов, быть может!

... ..

Но сами мы — отныне вам не щит,  
Отныне в бой не вступим сами,  
Мы поглядим, как смертный бой кипит,  
Своими узкими глазами.  
Не сдвинемся, когда свирепый гунн  
В карманах трупов будет шарить,  
Жечь города, и в церкви гнать табун,  
И мясо белых братьев жарить!

А от пушкинской триады здесь не осталось, конечно, и следа... И все же Блок не может полностью расстаться с последней ценностью — свободой. Да, коллективная воля у «нас» чужая, но есть еще индивидуальная, вынужденно тайная и таинственная свобода. Блок вновь обращается к Пушкину. В речи «О назначении поэта» (февр. 1921) он произносит ту же пушкинскую строку:

«На свете счастья нет, а есть покой и воля»

— и подчеркивает далее: «Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, — тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл. ... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу и препятствуя ей выполнять таинственное назначение».

И в последнем, предсмертном своем стихотворении Блок обращается:

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!

Эта немая борьба продолжается в России и по сей час. Сменились поколения поэтов, но коренные, вечные темы живут в поэзии, они разрабатываются нашими современниками. Ценностные ориентиры остаются прежними, хотя сами ценности, возможно, и изменились: они стали одновременно и скупей, и еще насущней. Вот пример из Натальи Горбаневской:

Есть музыка, а больше ни черта.  
Ни счастья, ни покоя и ни воли.  
В сплошном окаменелом море боли  
Лишь музыка — спасенье, чур-чура.  
Да, чур-чура на час, на полтора...

Это — та же пушкинская тема, из которой жизнь по-вымела все пушкинские ценности, кроме ориентира на них. И все же кое-что осталось. Блоковская музыка! Так помогают сейчас в «немой борьбе» и Александр Пушкин, и Александр Блок.

*Нью-Йорк, июнь 1980*

Владимир Максимов

## ДУХОВНОЙ ЖАЖДОЮ ТОМИМ...

В истории мировой литературы крайне редки примеры, когда влияние умершего писателя с годами не только не идет на убыль, а наоборот — с течением времени все более возрастает. К числу таких феноменов, на мой взгляд, прежде всего принадлежит Федор Достоевский. При жизни русская «прогрессивная критика» зачастую относила его чуть ли не к бульварным авторам, честила его «ретроградом» и «реакционером», зачисляя в свои «черные списки». После смерти писателя не раз пытались (и до сих пор пытаются) похоронить и духовно. Но поистине радиоактивная мощь его гения год от года становится еще более всепроникающей и беспредельной. Стерлись в нашей памяти и выветрились из литературы многие (если не сказать больше) имена хулителей и ниспровергателей Достоевского, забыты или постепенно забываются книги, которые при жизни писателя противопоставлялись его шедеврам, а творчество этого великого художника, словно сказочная птица, снова и снова возрождается из собственного пепла, чтобы воскрешать в каждом последующем поколении спасительные идеалы Правды, Любви и Справедливости.

Влияние Достоевского на духовную жизнь современного мира неоспоримо: литература, театр, кинематограф, музыка развиваются в наши дни, во всяком случае в самых значительных своих проявлениях, под знаком его психологических открытий. Даже новейшая наука не избежала этого воздействия. И не только в таких специальных областях, как психология и психиатрия. Недаром великий Эйнштейн позволил се-

бе в свое время крылатый парадокс, сказав, что две страницы Достоевского дают ему больше, чем весь Гаусс.

Но главная его заслуга перед нами состоит в том, что он, за сто с лишним лет до нас, в первых и довольно робких ростках отечественного радикализма прозрел будущую модель грядущего ГУЛага, предрек кровавые мистерии нынешнего террора, обозначил источники и происхождение социальной демагогии, на которых сегодня держится и функционирует всепожирающая машина тоталитаризма.

Когда в наши дни полуграмотные фанатики с комплексами Герострата (к их числу я отношу и тех из них, кто занимает порою профессорские кафедры) в поисках вульгарного самоутверждения убивают от имени мифического «народа» первых попавшихся им под руку людей, пытаюсь оправдать свое готтентотство заботой об «униженных и оскорбленных», они даже не предполагают (для этого нужно хотя бы книги читать, а на это у них нет, видимо, времени), что повторяют лишь зады одного из героев «Бесов» — полубезумного Шигалева, который предлагает своим единомышленникам начать «с безграничной свободы», чтобы закончить столь же безграничным рабством. Что и случается, если им где-либо удастся прийти к власти.

Практически интерес к Достоевскому в России или, говоря точнее, в Советском Союзе, не угасал никогда. Такой интерес лишь искусственно подавлялся, но примерно с конца пятидесятых годов, совпавших, кстати, с переоценкой идеологических ценностей вообще, связанной у нас в первую очередь с развенчанием сталинщины, творчество этого писателя получает неведомое дотоле распространение среди интеллигенции и учащейся молодежи. Можно без преувеличения сказать, что Достоевский сформировал психологию и мировоззрение, в частности, моего поколения.

Через него и с его помощью каждый из нас, его поклонников и последователей, вдруг открыл для себя в плоскостном, трехмерном, сугубо социальном и пропагандно упрощенном мире совсем иное — четвертое измерение, в котором наше «я» обрело новые ценности и другие точки нравственного отсчета. Мы как бы приподнялись над собственным бытием, с предельной ясностью убеждаясь, что вопреки, казалось бы, «железной» логике литературы критического реализма, мало изменить социальные обстоятельства в обществе, чтобы изменить человека к лучшему. Опыт советской истории показывал нам, что после изменения этих обстоятельств человек почему-то сделался еще хуже, а число тюремных надзирателей лишь удесятирилось.

Мы поняли, что человек должен прежде всего менять себя и окружающий его нравственный климат в обществе и любые социальные реформы могут быть только следствием такого внутреннего преобразования.

Вышедший вскоре и, может быть, величайший до сих пор роман о нашей революции «Доктор Живаго» Бориса Пастернака только утвердил нас в этом духовном открытии.

Наверное, поэтому всё последовавшее затем — явление Сахарова и Солженицына, Самиздат, демократическое и христианское движение — развивалось в свете этих выводов, то есть полного отрицания всякого насилия, какими бы высокими помыслами оно ни мотивировалось, априорного предубеждения к любым организационным формам политической или общественной борьбы, всеобъемлющего примата Прав отдельной личности перед всеми другими правами. Время покажет, насколько исторически перспективной окажется такая позиция в будущем. Но можно с уверенностью сказать, что только она — эта позиция — позволила нам добиться того, чего нам удалось до-

биться. Мировое признание нашей борьбы — лучшее тому свидетельство.

Говоря о Достоевском, всегда невольно снова и снова возвращаешься к основной, я бы даже сказал, генеральной теме его творчества — теме соблазна покушения одной человеческой жизни на другую. Ей — этой теме — посвящены величайшие романы писателя: «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». В последнем Достоевский определяет свое кредо к дилемме «убить — не убить» устами героини романа Сони Мармеладовой. В ответ на признание Родиона Раскольникова в убийстве старухи-процентщицы она произвольно, как бы всем своим существом и духом неожиданно восклицает:

— Что же вы над собой-то сделали!

Вот это самое «над собой» и может стать определяющим для каждого из наших современников при личностном решении им фундаментальнейших вопросов бытия, ибо пытаясь решать эти вопросы через насилие, то есть за счет чужой жизни, он убивает прежде всего себя, свою душу, свое невосполняемое «я».

В речи на открытии намятника Александру Пушкину в 1880 году Достоевский в заключении воскликнул: «Смирись, гордый человек!»

С тех пор великому множеству, как отечественных, так и иноземных «прогрессистов» эта фраза давала повод для школярских упражнений по поводу «ретроградства» и «реакционности» гениального русского писателя. Но на основании всего написанного им я позволю себе утверждать, что в этом контексте писатель подчеркивал не слово «человек», а слово «гордый». Поэтому для меня и моих единомышленников это звучит сегодня в совершенно новом ключе:

— Воспрянь, духовный человек, и преобрази самого себя. Только так ты преобразишь мир!

# ИСКУССТВО

Семен Черток

## ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДР ОКУНЬ

Картины Александра Окуня я впервые увидел на выставке художников-репатриантов в фойе иерусалимского театра. Вернее, за несколько дней до выставки, когда эти картины еще стояли в его квартире в Центре абсорбции «Гило» в Иерусалиме. Написанные уже в Израиле, они стали центром экспозиции, хотя были на ней полотна и колоритнее, и казавшиеся актуальнее. Причина заключалась в том, что их автор не стремился продемонстрировать зрителям только профессиональное мастерство, а пытался говорить с ними высокими категориями смысла человеческого бытия.

Есть живопись легкая, изящная и беспроблемная, она радует глаз и греет сердце. Есть другая живопись, заставляющая думать. Так в любом искусстве. Написанные методом лессировки — многослойной техники, картины А. Окуня прежде всего заставляют думать. Они не поддаются словесному изложению — картины эти в лучшем смысле слова алитературны, и их темы и содержание так же мало годятся для пересказа, как произведения музыки. Поэтому зрителям, привыкшим к элементарному реализму, А. Окунь может показаться непонятым.

В простейших сюжетах показанных в «Театрон-Иерушалаим» картин «Утешение», «Плачущий мужчина», «Размышление», «Женский портрет», «Выпечка мацы в ленинградской синагоге» нет динамического развития событий. Время или течет замедленно, или вовсе остановлено. Люди, за редким исключе-

нием, не заняты каким-либо активным действием и кажутся застывшими. Но, если внимательно присмотреться к ним, ощутишь их внутреннюю жизнь, ее напряженность. Эти люди отрешены от мелкого, суетного. То, о чем они думают, непреходяще. За внешней необычностью этих людей ощущается их нравственная красота и серьезность. К тому же художник зовет и зрителей — не к переживанию сиюминутных забот, а к размышлению о жизни и судьбе.

Уже после выставки в иерусалимском театре А. Окунь получил из Ленинграда полотна, написанные им в России. Они отличаются от тех, что сделаны в Израиле, темами, деталями быта, но в них та же беспокойная мысль и то же балансирование на грани повседневности и философии: каждый из изображенных предметов достоверен, а общая картина фантазмагорична. Может быть, это «балансирование на грани» отражает внутреннее состояние каждого мыслящего существа в коммунистической России: необходимость реального существования в абсурдной ситуации.

В картине «Утешение» сюжет неприглядный: пьяного слесаря убажает такая же пьяная баба. Но за фарсовой внешностью — человеческая трагедия. Слово фарс происходит от латинского *farcio* — начинаю: средневековые мистерии начинались комедийными вставками. А. Окунь внешне комичную ситуацию начинает трагедией. Как это делал Шолом-Алейхем в новеллах о жизни евреев дореволюционной России. Как это делает Александр Зиновьев в книгах о жизни России сегодняшней. Если правомерно сравнение живописца, творчество которого я назвал алитературным, с произведениями писателей — разумеется, в том смысле, в каком фарс и трагедия относятся к любым видам искусства, — то возможно, что искусство Александра Окуня как раз и окажется на стыке Шолом-Алейхема и Александра Зиновьева.

Окунь родился в Ленинграде в 1949 году, едва успев застать уходящий мир персонажей Шолом-Алейхема и с первых жизненных шагов встретившись с абсурдным советским миром, в котором существовали, любили, умирали, творили, страдали и мечтали дети, внуки и правнуки погибших в концлагерях и гетто шолом-алеихемовских «людей воздуха». А. Окунь закончил Высшее художественно-промышленное училище имени В. Мухомовой в Ленинграде в 1972 году, и формирование его мировоззрения, становление его как человека и художника происходило в переломный для евреев России период. Почти полная оторванность от еврейской традиции и растущее еврейское самосознание. Удушливая атмосфера официальной России и внутренней свобода тех, чей дух оказался сильнее идеологических оков, — к ним относится и А. Окунь, и его друзья. Трагизм времени и его надежды. Первая выставка, в которой участвовал А. Окунь, была первой в Ленинграде (1974) свободной выставкой нонконформистов. В следующем году он участвовал в выставке в ленинградском Доме культуры «Невский» — разрешенных к показу работ, созданных вопреки официально разрешенным канонам. И в том же году в первой в СССР выставке еврейских художников «Алеф».

Её устроители — ассимилированная еврейская молодежь — гордо утверждала свою принадлежность к еврейской культуре, о которой имела смутное представление. Художники утверждали себя в еврейской тематике, рисуя типажи и предметы культа. А. Окунь не рисовал евреев, но именно его произведения оказались самыми еврейскими. Ведь в изобразительном искусстве нет национальной формы, а есть национальное мироощущение, национальный дух. В русских пейзажах Левитана, в портретах Модильяни бьется еврейское сердце их авторов. Так же, как бьется оно в полотнах и скульптурах Шагала, Хаима Сутина, Липшица, Цадкина, Лисицкого, Штернберга, Фалька,

Тышлера, Каплана — таких разных, таких непохожих друг на друга художников.

Все они родились в еврейском захолустье Западного края Российской империи и пришли в мир искусства из Касриловки — обобщенного названия еврейского местечка. Одни запечатлели его в полотнах, другие храня в памяти сердца. Александр Окунь родился в семье интеллигентов в Ленинграде, хранящем традиции мировой культуры. Но корни его творчества уходят в ту же почву, что корни его собратьев и предшественников. Только они были ближе к Библии и фольклору, а он, скорее, к еврейскому циклу Шостаковича и последним словам подсудимых на самолетных процессах. Но и его произведения продолжают русско-еврейскую художественную традицию с ее упором на жанр, на быт: центром еврейской жизни всегда была семья с ее своеобразным бытовым укладом. Персонажи Шагала видят усыпанное алмазами небо сквозь окна убогих домишек. Талмудисты рассуждали о мирозданье в тесных комнатухах, где в одном углу варили суп, а в другом стирали пеленки.

Александр Окунь поэтизирует быт, одухотворяет его так же, как это делали еврейские художники предшествующих поколений. Может быть, самая характерная его работа — большое полотно под названием «Шкаф». На нем крупным планом, как сказали бы кинематографисты, нарисован выдавший виды комод, который, кажется, умеет разговаривать человеческим языком. То, что сюжеты картин А. Окуня не имеют четко выраженного национального характера, не меняет дела — он есть у художника.

Впрочем, на этом заканчивается сходство А. Окуня с другими художниками, хотя в искусстве при желании всегда несложно найти параллели: у любого художника всегда найдутся формальные предшественники. Несложно доказать, что и еврейская традиция в

живописи началась не с Окуня, и картины строго сюжетные, но алитературные писал еще Рембрандт. Но настоящих художников отличает друг от друга не манера — это только средство выражения, а мысль и чувство.

Посетители выставок, где экспонировались работы А. Окуня — и в Ленинграде, и в проходившей с 1976 по 1979 год выставке в Бёркли, Нью-Йорке, Чикаго и Цинцинатти, и в музее современного искусства в Ереване (1978), и, наконец, в иерусалимском театре (я не называю многочисленные квартирные выставки в Ленинграде и Москве, когда работы, не разрешенные к публичному показу, выставлялись в квартирах друзей, а вход в эти квартиры был свободным), — отмечали не особую новизну их формы и не необычность сюжетов, хотя меньше всего можно было бы упрекнуть их автора в старомодности. Работы А. Окуня отличает не неожиданность содержания, не художественное хамелеонство. Он не поражает, не открывает, не удивляет и не поднимает знамя новаторства. Но знамя собственных представлений о жизни и искусстве художник держит высоко и с достоинством. Он не создает мир и не фотографирует его, а по-своему констатирует живую жизнь (поскольку известно, что сказать правду в искусстве можно только хорошо совав), и его фантазия, чувство стиля, художественный вкус создают на полотне ту реальность, которой на самом деле нет, но благодаря которой зритель начинает ощущать аромат этой живой жизни, испытывать радость узнавания. Достоверность бытовых деталей заставляет зрителей верить увиденному, а налёт абсурда — почувствовать дух времени. Герой одной из картин А. Окуня, показанных в иерусалимском театре, стоит на улице на голове. В жизни этого не бывает, но мысль автора благодаря этому приему становится предельно ясной. Неожиданность пластического рисунка помогает раскрыть реальные грани жиз-

ни, в которой сочетается смешное и трагическое, действительное и фантастическое.

Искусство Александра Окуня волнует, будит воображение и мысль. Полетом фантазии и ума. Пластичностью, ритмом, музыкальностью. Чувством внутренней живописной гармонии. Иронией и нежностью. Прямотой и искренностью. Глубиной размышлений о счастье и трагизме человеческого существования. Его смысле и бессмыслице. Из элементов обычного, повседневного и знакомого А. Окунь складывает в своих полотнах нереальный образ реального мира.

Впервые я увидел А. Окуня за несколько дней до его отъезда из СССР. Он жил в Ленинграде, а я в Москве, и до этого мы разговаривали только по телефону. А теперь он позвонил уже из Москвы, сказал, что оформил документы и ночным поездом уезжает в Ленинград. Я пришел в пол-двенадцатого ночи к поезду «Красная стрела», но поговорить не удалось: вместе с Игорем Губерманом и другими друзьями Саша продолжал отмечать день своего рождения, и главным было сказать все тосты и успеть сесть в поезд. Небольшого роста, изящный. В светлом велюровом костюме. Черная борода, усы и шевелюра. Художник. Успел сказать, что поедет из Вены в Рим, и только после того, как обойдет картинные галереи, приедет в Израиль. Где и встретимся: я тоже со дня на день ожидал визу. Я огорчился: мне показалось, что это «ход» — просто едет мимо, как многие другие, а остальное — слова. К счастью, я ошибся.

Теперь мы живем в одном центре абсорбции «Гило». Теперь к сложившемуся у меня образу человека прибавился образ прекрасного художника. Такие совпадения бывают не всегда. Творец рождает художественные образы, а они, в свою очередь, создают образ автора. Неторопливого, несуетного, стремящегося не только увидеть, но и понять, не только понять, но и осмыслить увиденное и подмеченное в жиз-

ни. Постичь и передать не внешние ее формы — к ним Окунь относится не слишком бережно, а ее непреходящую внутреннюю суть. Это тот путь, на котором он ищет контакта с новым, неизвестным ему израильским зрителем, новым западным зрителем, чтобы вступить с ним в диалог. Ведь творчество художника это непрестанный диалог со зрителем. Александр Окунь уверен: путь к такому контакту, единственный в любой ситуации и в любой стране, — остаться самим собой.

С прискорбием извещаем о скоропостижной кончине автора нашего журнала, известного израильского писателя и публициста, доктора исторических наук, бывшего узника ГУЛага Иешуа Гильбоа, последовавшей 5 февраля сего года в Тель-Авиве в результате сердечного приступа, и выражаем соболезнование семье, близким и друзьям покойного.

*Редакция «Континента»*

## ВЫХОД — ВВЕРХ

*Заметки о живописи Юрия Жарких*

С первой же моей встречи с картинами Жарких я понял: передо мной — горестная, пронзительная иллюстрация к творчеству трех величайших русских писателей. Есенин, Бердяев, Достоевский. Есенин — потому что это сонмище могильных масок, теснящихся на полотнах этого художника, вызывают в памяти есенинские кровоточащие строки о «веслах из отрубленных рук», которыми гребет Революция в будущее; лица с мертвыми глазами, словно хор на просцениуме греческой трагедии — вопиющий о миллионах жертв, принесенных в России во имя марксистской утопии. Бердяев — написавший: «Для осуществления доброй цели совершали величайшие ужасы. Это имеет глубокие причины. Такие утилитарные деформации происходили и в христианстве. Для осуществления целей христианства считали возможным применять кровавое насилие, и христианство так же не осуществилось, как не осуществились и цели революций... Сила и польза ставится выше духа и истины». «Дурные средства привели к вырождению, а не укреплению христианства... никогда свобода не осуществляется через насилие, братство через ненависть, мир через кровавый раздор. Дурные средства отравляют. Осень революции никогда не походит на ее весну». (Н. Бердяев. «Царство духа и царство кесаря».)

Наконец, Достоевский — потому что его невидимый — но реальной самой реальности герой — Иисус — проступает и из полотен Жарких. Это Тот, Кто давал великому писателю временное успокоение, и тогда он чувствовал любовь к ближним и любовь

ближних к себе. Достоевский верил светло и свято в то, что нет ничего разумнее, проще, милее, храбрее и совершеннее Христа, и не только нет, но и быть не может. И в запальчивости любви Достоевский говорит: если бы кто-нибудь ему доказал, что Христос вне истины, или что истина — вне Христа — то он бы скорее остался с Христом, чем с истиной!

Именно на героя Достоевского — на князя Мышкина — похож художник внешне: на князя Мышкина в исполнении Жерара Филипа, «Идиота» из французского фильма по роману Достоевского. В нем самом, как и в его работах, есть та скорбная патетика глубокого и горестного знания, которое дается неустанным чтением Евангелия и внутренним общением с Христом. Когда Жарких принимается разъяснять свои полотна, он начинает и заканчивает разъяснения именем Христа. Художник тяготеет к идее обновления православия, всегда ставившего в центр живое имя Иисусово.

Православная теология всегда колебалась между двумя полюсами: христианский мистицизм — или христианская мысль. Отцы Восточной Церкви всегда отказывались втискивать концепцию Бога в точные рационалистические категории — что впоследствии будут усиленно стараться сделать последователи Фомы Аквинского. Наоборот, Восточная Церковь говорит: Царство Божие — не от мира сего, а от мира радикального Абсолюта, где любое человеческое радио теряет свою значимость.

Лик Иисуса, неотъемлемый от христианской веры, также воплощается в двоякой ипостаси. С одной стороны — Спаситель Пантократор, лучезарный Учитель мира, но и грозный судия его. Центр иконостаса византийской базилики — в царском обличье — таким он является с полотен Дюрера и Мемлинга. Но есть и другой Христос. Христос кротости и всепрощения, воплощенная Любовь, Тот, Кто вдохновлял россий-

ских подвижников. Тот, Чье сияние пронизывает самые сумеречные глубины творений Достоевского, — Христос трогательно-тихий. Таким мы видим его у Рембрандта, на знаменитой картине «Христос в Эммаусе».

И этот Христос Любви — в картинах Жарких. Но, глядя на лик Распятого, мы тут же вспоминаем — Бог был распят преступной властью. И отныне всякий человек, невинно истязуемый ближним своим, воплощает в своей истерзанной плоти страдания Христа.

В некоторых композициях Жарких Христос символизирует духовное обновление, религиозное православное возрождение. Но, в основном, Христос у Юрия Жарких — мертвый Христос. Этот Мученик преданный и осмеянный — одновременно и образ современного человека, которого приносят в жертву на всех алтарях в капищах материалистических лжерелигий, которые, словно раковая опухоль, изглаживают современный мир. Но тут критическое видение художника нацелено не только на одно лишь советское общество, но и на буржуазное, капиталистическое. Бердяев говорил о том, что капитализм есть практический атеизм. И далее утверждал, что если коммунизм — открытый бунт против христианства, то мир капиталистический есть тайное его предательство. На картине «Рынок», находящейся в частной коллекции в Бразилии, Жарких изобразил огромного мертвого Христа перед надменными фасадами банков — этих храмов Наживы. Смысл композиции — победа общества потребления над миром духовных ценностей, отказ от христианства. Вспомним Гарвардскую речь Александра Солженицына, произнесенную в 1978 году: «Нет, ваше общество я никак не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего... Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что

у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке ее вытаптывает партийный базар, на Западе коммерческий...»

Болезненная грусть временами исходит от полон Жарких. Та безысходная боль, которая слышна у Есенина и Блока, Пастернака и Мандельштама. «Серебряный век» русской поэзии зазвенел в начале века в Санкт-Петербурге, ставшем прибежищем для цвета интеллигенции и людей искусства, что дало огромный скачок творческой активности в литературе, поэзии, философии, живописи. Казалось, этот город станет одной из столиц европейской культуры — на манер Парижа, Берлина, Рима. Но пришла октябрьская революция. Одна эпоха сменилась другой — мрачной эрой диктатуры, террора, бескультурья. И, с разбитыми сердцами, потеряв иллюзии, увидели поэты и художники, как их Родина превращается в громадную каторгу, силами новых инквизиторов сталинской марксистско-ленинской эпохи.

Вот что написала Анна Ахматова вместо предисловия к своему «Реквиему»:

«В страшные годы ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то 'опознал' меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо (там все говорили шепотом):

— А это вы можете описать?

И я сказала:

— Могу.

Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом».

Вот этот-то ужас непрерывного насилия и есть тема Жарких.

Если говорить о живописной манере, то Жарких можно отнести к экспрессионистам. Но и другие плас-

тические формы выражения питают его искусство: византийская живопись, православная иконопись — с одной стороны; современные тенденции и искания живописи Запада — с другой. Результат — естественный и непринужденный синтез того и другого.

В творчестве Юрия Жарких немалую роль играют символы. И главный тут, разумеется, — символ Креста. Он — на большинстве полотен. Почти что навязание.

Палитра художника — классическая, без соревнования многоцветных сочетаний — как это часто можно наблюдать у многих современных художников. Жарких любит использовать золотую и серебряную краски, чтобы заставить заблестеть некоторые свои картины, в соответствии с религиозным трансцендентным характером изображаемого. Живописная поверхность, как правило, большого формата. Художник в особенности любит диптихи и триптихи монументальных размеров. Здесь он использует композиции, свойственные фресковой религиозной живописи, с фигурами в натуральную величину — также в соответствии с традициями такой живописи.

Несмотря на редкую пластическую гармонию, спокойную цветовую гамму, живопись Ю. Жарких из-за своего наполнения — политико-метафизического — вызывает тревогу. Но в этом-то и заключается ее сила и неповторимость.

Искусство Жарких, его трагичное восприятие мира — лишь один из аспектов его искусства. Другая составляющая его творчества — тема Женщины, тема Беременности, тема Деторождения. Во многих полотнах появление Новой жизни противопоставлено омертвлению и муке современного человека. Женщина, охранительница Жизни, предстает, словно воплощение триумфа Жизни над Смертью. «Триумф» — так называется одна из капитальных композиций Жарких (Па-

риж, частная коллекция, 1975). Здесь роды — священный акт творения нового человека.

И такое совмещение духовного и телесного, забота в равной мере о духе и о плоти, поворачивает живопись Жарких к неведомому, к новой цивилизации новой эры, о которой сказал А. Солженицын: «Если не к гибели, то мир сейчас подошел к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению — и потребует от нас новой духовной вспышки, подъема на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная».

Этот подъем подобен восхождению на следующую антропологическую ступень. И ни у кого на Земле не осталось другого выхода, как — вверх».

Сто лет тому назад, 1 марта 1881 года, бомбой народовольцев-террористов был убит император Александр Второй.

Это событие, значение которого историками до сих пор недооценивается, стало поворотным пунктом не только в русской, но и в мировой истории. Эхо взрыва на Екатерининском канале не только не утихло — гул его все растет и ширится.

По своему значению прежде всего для России реформаторская деятельность Александра Второго — явление, превзошедшее петровские реформы, хотя внешняя эффектность крутых поворотов Петра кажется на первый взгляд более впечатляющей.

Отмена крепостного права положила начало не только бурному развитию русской промышленности, но и созданию крепкого и независимого крестьянского сословия, кормившего и Россию, и в значительной мере Европу.

Земская реформа вела к децентрализации, какая, к примеру, и поныне не достигнута во Франции; вела к сознанию каждым гражданином своей ответственности перед обществом, ответственности в самом ее конкретном выражении — как долга перед ближними.

Судебная реформа дала России самый демократический суд в Европе. И, наконец, конституция (так наз. конституция Лорис-Меликова) должна была превратить страну в конституционную монархию, в которой роль императора приближалась к той, какую играет в США президент. (В этом смысле проект конституции во многом, как это ни парадоксально, исходил из проекта Никиты Муравьева.)

Деятельность Александра Второго невероятно осложнялась реакцией сразу с двух сторон. «Левые» круги торопились действовать, дабы опередить реформы, после проведения которых народ, естественно, за ними никак не мог пойти; а крайние консерваторы, ссылаясь на опасность разрушительной деятельности всего спектра от Чернышевского до Нечаева, торопились «подморозить Россию».

И после гибели императора этот роковой маятник, все увеличивая амплитуду, привел к катастрофе, которую уже не могли остановить запоздалые, хотя и весьма значительные по усилению, реформы Витте и Столыпина.

Вся последующая трагедия России, а через нее и всего мира, в большой степени является следствием того, что реформы 60-70 годов прошлого века не были доведены до конца. Трудно представить себе, как выглядел бы современный мир, если бы естественное развитие русской демократии не было прервано тем бесчеловечным и безответственным «гуманизмом», которому Достоевский дал имя шигалевщины. Но и он не мог представить себе, во что выльется эта шигалевщина, приобретающая те масштабы, свидетелями которым стало наше поколение.

То, что создается титаническими усилиями и неопишущим трудом, можно разрушить мгновенно, и во многом поэтому весь хаос современного мира — эхо того взрыва — 1 марта 1881 года.

«КОНТИНЕНТ»

## *Колонка редактора*

*К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ А. Д. САХАРОВА*

### ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВСЕХ

О великом гуманисте наших дней Андрее Сахарове написано так много, что я едва ли смогу добавить к сказанному о нем что-либо новое. Поэтому я позволю себе привести здесь лишь несколько цитат из него самого и из его современников — цитат, красноречиво отражающих эволюцию этого ученого, как Человека и Гражданина.

Прежде всего он сам:

— Я вспоминаю лето 1961 года, встречу ученых-атомщиков с председателем Совета Министров Хрущевым. Выясняется, что нужно готовиться к серии испытаний, которая должна поддержать новую политику СССР в германском вопросе (Берлинскую стену). Я пишу записку Н. С. Хрущеву: «Возобновление испытаний после трехлетнего моратория подорвет переговоры о прекращении испытаний и о разоружении, приведет к новому туру гонки вооружений, в особенности в области межконтинентальных ракет и противоракетной обороны» — и передаю ее по рядам. Хрущев кладет записку в нагрудный карман и приглашает присутствующих отобедать. За накрытым столом он произносит импровизированную речь, памятную мне по своей откровенности, отражающей не только его личную позицию. Он говорит приблизительно следующее. Сахаров хороший ученый, но предоставьте нам — специалистам этого хитрого дела, делать внешнюю политику. Только сила, только дезориентация врага. Мы не можем сказать вслух, что мы ведем политику

с позиции силы, но это должно быть так. Я был бы слюнтяй, а не председатель Совета Министров, если бы слушался таких, как Сахаров...

А вот как вспоминает об этом тот же Хрущев в своих поздних воспоминаниях:

— Это был ученый, который был предан науке и добрым идеям мира и процветанию мира между людьми, сохранению всех возможных условий для лучшей жизни людей с тем, чтобы не только не уничтожить, но и не заражать атмосферу, не отравлять людей и не убивать их постепенно. Я говорю: «Товарищ Сахаров, ну что я вам могу сказать, я по своему политическому и государственному положению не имею права отказаться сейчас от испытаний». Он продолжал настаивать, чтобы не проводить испытание. Я хотел быть честным перед Сахаровым, и я сказал ему: «Товарищ Сахаров, при всем моем сочувствии к вашему пониманию и к вашей просьбе, я человек, который отвечает за состояние обороны нашей страны, и я не имею права отказаться от испытаний, это было бы преступлением перед нашим государством, перед нашим народом. Прошу вас, поймите меня правильно, но с вашей просьбой я не могу согласиться, потому что согласиться с нею означает обречь нашу страну на то, что она будет слабее вооружена, чем США и другие союзники США, которые проводят политику, направленную против нашего государства, против нашего советского народа, поэтому мы будем продолжать взрывы». Ну, его, конечно, своими аргументами не убедил я, и он меня своими аргументами, конечно, не убедил. Таков уж закон; мы обсудили просьбу Сахарова в правительстве и решили, что мы не можем согласиться с его просьбой и должны провести испытания, и мы произвели испытания, взорвали водородную бомбу. Она выводила нас на совершенно новую ступень по вооружению...

И снова Сахаров:

— На другой день я имел объяснение с одним из приближенных Хрущева, но в это время срок испытания был перенесен на более ранний час, и самолет-носитель уже нес свою ношу к намеченной точке взрыва. Чувство бессилия и ужаса, охватившее меня в этот день, запомнилось на всю жизнь и многое во мне изменило на пути к моему сегодняшнему мировосприятию.

С этого начался перелом, после которого потянулись долгие и в то же время стремительные годы борьбы, преследований, героической славы, Нобелевской премии Мира и, наконец, бессудной и вероломной ссылки в Горький.

Годы эти емко подытожил выдающийся польский философ Лешек Колаковский в своей статье в «Континенте»:

«Само существование Сахарова вдохновляет мир. Одновременно слово его, как неожиданно обнаруженный шип, разрывает завесу штампованных фраз и умолчаний, которой прикрываются на Западе многочисленные фокусники публичных выступлений, не желающие видеть то, от чего прежде всего зависит судьба мира».

Так жизнь Андрея Сахарова на пороге его шестидесятилетия превращается в *Житие*, ставшее духовным примером для современников и вещим поучением для потомков.

## **Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»**

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

**A. Neimanis · Buchvertrieb**

**8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany**

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**С Ш А: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),  
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov),  
871 Alice St. Apt. 6, Monterey, CA 93940,  
U.S.A.**

**Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner  
Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, U.S.A.**

**Генеральное представительство  
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB  
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

# Наша почта

15. 1. 81

Уважаемый господин Максимов!

В своей «Колонке редактора» в № 25 Вашего журнала Вы затронули вопрос для эмиграции очень больной. Многие из нас имеют двойное гражданство и посещают Советский Союз. У многих там родственники, а другие из интереса, а по Вашему получается, что это прямо смертный грех. Не сообразовали ли разъяснить мне, в чем тут грех?

С почтением,

*А. Глебков*

КОММЕНТАРИЙ В. МАКСИМОВА: Для рядовых граждан, по тем или иным причинам выезжающих за рубеж, факт сохранения за собою советского паспорта или поездки к родственникам в СССР, на мой взгляд, ни в коей мере не является предосудительным. Другое дело, когда речь идет о политических эмигрантах. Выезжая из страны в отдельных случаях с советским паспортом, они вынуждены какое-то время пользоваться этим документом как удостоверением личности, но по истечении срока его действия (если обладателя сей книжицы еще до того не лишают гражданства, что и было сделано с большинством из них, включая такого далекого от политики человека, как Мстислав Ростропович) самым естественным актом со стороны такого эмигранта была бы просьба о политическом убежище. Дальнейшее сохранение этого документа, а тем более продление его со стороны, подчеркиваю, политического эмигранта я считаю фак-

том глубоко аморальным. (Я не имею в виду людей, которые намерены вернуться.) Еще более аморальным (если не сказать больше) со стороны такого эмигранта или членов его семьи я считаю факт посещения СССР (могли бы вы, например, представить себе жену Герцена, снующую между Лондоном и Петербургом, а времена-то, согласитесь, стояли тогда, прямо скажем, помягче?). Это моя личная, но, надеюсь, не только моя, точка зрения, а она — эта точка — в условиях демократии тоже, как и всякая другая, имеет право на существование.

Желаю здравствовать, уважаемые!

---

Мюнхен, 21 января 1980 г.

Многоуважаемый Владимир Емельянович!

Как представитель молчаливого большинства, как и на родине, так и в эмиграции, категорически протестую против русско-украинского заявления «Континента»! Надеюсь, что Вы будете иметь гражданское мужество истинного демократа, — поместить и эту мою маленькую заметку в Вашем, действительно великолепном журнале!

Примите мои уверения в полном к Вам почтении — Ваш читатель

*Валентин Зарубин (Мюнхен).*

**ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО  
В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»**

Уважаемая редакция!

В номере 25-ом вашего журнала напечатана рецензия Н. Дюжевой на третий выпуск исторического сборника «Память». В рецензии между прочим говорится:

«...Большое впечатление производят воспоминания Шварца и Пантелеева о Чуковском. Чуковский — это еще один собирательный образ советского лубка, но ему еще и повезло — благодаря своей дочери, Лидии Корнеевне, он как бы приобрел новый кредит посмертного морального доверия, и личность, казалось бы, насовсем спряталась за двойным экраном. Но вот пишут о нем два разных человека — и проступает, становится выпуклым искореженный человек. Очень хотелось бы, чтобы такого рода рассказы о «замечательных людях» постоянно печатались 'Памятью'».

Мне, дочери Корнея Чуковского, поддерживающей, по словам рецензентки, «посмертное моральное доверие» к моему отцу, хотелось бы ответить на этот абзац. Слова «замечательный человек» взяты рецензенткой в двусмысленные кавычки. Пожалуйста. Вольно каждому относиться к каждому, как ему угодно, и, говоря по правде, меня мало заинтересовали бы мнения Н. Дюжевой, если бы в этом абзаце, в качестве светлой личности, не фигурировала я. Молчать в ответ на такое противопоставление я не вправе. Но тут возникает новая трудность. Ответить можно только на то, что выражено с ясностью, абзац же, умышленно или неумышленно, написан в затрудненных для понимания выражениях. Что значит, например, «собирательный образ советского лубка», да еще спрятавшийся за двойным экраном? Сам ли Корней Чуковский во всем своем внешнем и духовном обликии видится Н. Дюжевой как «образ лубка»? Произведения ли его лубочны — «Рассказы о Некрасове», «Книга об Алек-

сандре Блоке», книга «О Чехове», «Живой как жизнь», «Высокое искусство»? Дореволюционные ли критические статьи, собранные в книгах «От Чехова до наших дней» и «Лица и Маски»? Примечания ли к Некрасову? Переводы ли из Уитмена, О. Генри, Марка Твена, Киплинга, Оскара Уайльда? Само слово «лубок» ничуть не оскорбляет мой слух, но я хотела бы понять, что́ под ним в данном случае подразумевается. Отнесено ли оно к сказкам Корнея Чуковского, действительно выросшим из фольклора, — сказкам, по которым миллионы русских детей получают первое представление о доброте человеческой, о войне между добротой и злобой, учатся постигать дух родного языка, обучаются его складу и ладу?

Н. Дюжева сообщает читателям, будто благодаря мне Корней Чуковский «получил кредит посмертного морального доверия». При жизни одаривали его своим доверием Репин, Блок, Пастернак, Ахматова — почему после смерти понадобилась еще и я? По-видимому, Н. Дюжева желала фразой этой сделать мне комплимент. Между тем, слова эти оскорбительны и не соответствуют истине. Моральный авторитет писателя создается его книгами; интерес к произведениям Чуковского и к его личности не падает, а растет, и не ради меня приходят в его дом и на его могилу тысячи благодарных людей. Когда, в 74 году, меня исключали из Союза Писателей, мне объяснили — и продолжают весьма настойчиво объяснять по сию пору — что я, своими выступлениями, бросаю тень на светлую память Корнея Чуковского. Это ложь. Теперь журнал «Континент» устами Н. Дюжевой объяснил мне, что я, напротив, отбрасываю на Корнея Чуковского не тень, а луч света. Второе ничуть не ближе к истине, чем первое. Не мне, конечно, оценивать вклад, внесенный Корнеем Чуковским в русскую культуру. Совершить это нелегкое дело предстоит кому-нибудь более компетентному и менее пристрастному, чем я.

Но раз уж Н. Дюжева привлекает к делу меня, то я обретаю право сказать от себя о себе: отец мой не властен был передать мне в наследство свой талант и свое искусство, но если я люблю русскую литературу и почитаю создателей ее (а в этой любви вся моя жизнь), то свидетельствую: с детства внушал и внушил мне эту любовь он, мой отец. Не мне обязан Корней Чуковский, а я обязана Корнею Чуковскому.

Что же касается той высокой оценки, какую дает Н. Дюжева публикации «рассказов о Чуковском», — то и тут я не согласна с рецензенткой. Публикация эта — промах со стороны редакции замечательного (без кавычек!) сборника — промах редакции, объясняемый, по-видимому, теми мучительно трудными и опасными условиями, в которых она вынуждена вести свою работу.

И журнал «Континент» и сборник «Память» отстаивают, каждый по-своему, права человека. Мне представляется, что нету у литератора права более неотъемлемого, чем авторское: право автора распоряжаться своим именем и своею рукописью. Между тем, то, что Н. Дюжева называет «рассказами о Чуковском», напечатано «Памятью» без разрешения автора, Л. Пантелеева. Это во-первых. А во-вторых: я располагаю документальными подтверждениями того, известного мне, обстоятельства, что «Белый Волк» был, по прошествии лет, забракован самим автором, Евгением Шварцем. Храню в архиве и дружески-нежное, любящее письмо Евгения Львовича к Корнею Ивановичу, — письмо позднейшего времени. Опубликованием «Белого Волка» авторская воля оказывается не только нарушенной, но прямо попранной. Отношения между двумя писателями — Е. Шварцем и К. Чуковским — оказались представлены в искаженном или, если воспользоваться выражением Н. Дюжевой, «искореженном» виде.

Характеристика, которую дает Чуковскому в своем вступлении редакция сборника «Память» — «карнавальный облик», «оптимальный наряд» — ничуть не более внятна и ясна, чем «лубок» и «двойной экран» в устах рецензентки. Умысел есть, мысли — нету.

Н. Дюжева на страницах «Континента» выражает пожелание, чтобы «такого рода рассказы постоянно печатались 'Памятью'». Я же от всей души желаю историческому сборнику гоняться не за тем, что плохо лежит и случайно, из-за чужой недобросовестности, плывет в руки, а за трудно постигаемой, постоянно ускользящей, исторической точностью. Голос проснувшейся памяти должен, по моему глубокому убеждению, быть также и голосом чести.

25/1-81

*Лидия Чуковская*

Глубокоуважаемая Лидия Корнеевна!

Я хочу ответить Вам не только как ответственный секретарь редакции «Континента», но и как представитель редакции сборника «Память» за рубежом. «Континент» — я думаю, как всякий журнал, — дает рецензентам свободу высказывать *их* мнения о разбираемых ими книгах и не обязан ни соглашаться с рецензентами, ни отмежевываться от них. Мне лично, однако, и рецензия Н. Дюжевой на 3-й выпуск «Памяти» в целом, и инкриминируемое Вами место о воспоминаниях Шварца и Пантелеева кажутся глубоко верными. Так же точно я разделяю позицию сборника «Память» (возможно, они допустили небрежное обращение с авторскими правами Л. Пантелеева, но мне об этом ничего не известно, и Л. Пантелеев, насколько я знаю, не протестовал против этой публикации). В своем интервью «Русской мысли» в связи с выходом 3-го выпуска «Памяти» я также высоко оценила публи-

кацию воспоминаний о К. Чуковском. Я не буду приводить дополнительных аргументов в пользу оценки К. Чуковского рецензенткой и редакцией сборника «Память»: эти аргументы легко найти во втором томе Ваших «Записок об Анне Ахматовой», где, сквозь всю Вашу дочернюю любовь и все приводимые Вами оправдания, то и дело из подтекста в текст прорывается образ, невероятно похожий на Чуковского из «Белого волка», — хотя чаще мы видим столь же подлинного, непридуманного «пантелеевского» Чуковского. То есть эту двойственность, «искореженность» (другое дело — каковы причины этой искореженности) обнаруживаешь, пользуясь одним-единственным источником — Вашим дневником.

С моим неизменным к Вам глубочайшим почтением

*Н. Горбаневская*

## **Читайте в следующем номере «Континента»**

**Проза:**

**Юрий Милославский, Аркадий Львов,  
Вадим Рыбаков, Владимир Филандров**

**Поэзия:**

**Дмитрий Бобышев, Виктор Кривулин**

**Публицистика:**

**Валерий Чалидзе, Михайло Михайлов,  
Александр Некрич, Екатерина Брейтбарт,  
Милован Джилас**

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СССР

Для контактов  
Helena STEIN  
Khronika Press  
505 Eight Avenue  
New York, N.Y. 10018  
Tel. (212) 772-9120

ЗАЯВЛЕНИЕ  
для публикации

6 и 7 декабря 1980 г. состоялись первые заседания Консультативного Совета по защите прав человека в СССР, созданного по инициативе издательства «Хроника» для объединения и координации усилий по защите прав человека в СССР и пропаганде правозащитных идей. В состав Консультативного Совета вошли: Людмила Алексеева, Владимир Буковский, Александр Вольпин, Александр Гинзбург, Арина Гинзбург, Наталья Горбаневская, Юлия Закс, Эдвард Клайн, Павел Литвинов, Кронид Любарский, Питер Реддавей, Валентин Турчин, Валерий Чалидзе, Ефрем Янкелевич, Юрий Ярым-Агаев.

Консультативный Совет по защите прав человека в СССР обращается к представителям стран, подписавших Хельсинкское соглашение, которые собрались в настоящее время в Мадриде, с призывом серьезно обсудить и огласить систематические вопиющие нарушения Хельсинкского Соглашения Советским Союзом и сделать необходимые выводы. Консультативный Совет призывает все миролюбивые народы потребовать от Советского Союза немедленного вывода войск из Афганистана. Консультативный Совет выражает свою солидарность и полную поддержку борьбы польских трудящихся за свои права и призывает Организацию Объединенных Наций и правительства всех стран мира со всей серьезностью отнестись к стягиванию советских войск вокруг Польши и сделать все возможное, чтобы предотвратить вторжение иностранных войск в Польшу.

Консультативный Совет по защите прав человека в СССР образовал несколько комиссий для работы над конкретными вопросами, в том числе Комиссию по международным правозащитным связям, Комиссию по социально-экономическим правам, Комиссию по проблемам выезда из СССР.

\* \* \*

На заседании Консультативного Совета в состав Консультативного Совета были избраны Томас Венцлова, Эдуард Кузнецов, Айше Сейтмуратова, Надия Светличная.

# Критика и библиография

## ДЕЛО ОРЛОВА

(Рецензия составителя)

Если когда-нибудь будет написана история правозащитного движения, заметное место в этой книге должно занять описание судебных процессов над людьми, отстаивавшими свои — или не только свои — гражданские права. Каждый такой суд — горестное событие. Ведь за 15 лет, что существует движение, не было ни одного оправдательного приговора судимым по политическим мотивам. Но каждый, кто хоть раз постоял у «закрытых дверей открытого суда», знает, что суды эти — не только демонстрация силы неправой власти, торжество беззакония. Суды эти — свидетельство бессилия злобной силы перед человеком, ставшим гражданином в государстве, где велено быть лишь подданным. Как бы ни был беззаконен и жесток приговор, главное впечатление от суда — не он (может быть, именно из-за его предрешенности), а позиция осужденного. Снова и снова потрясает безграничность сил, придаваемых человеку верой в свою правоту. Именно поэтому расправы не гасят движения, а стимулируют его развитие, и оно вот уже 15 лет идет по принципу цепной реакции: суд — протесты против незаконного осуждения — суды над протестовавшими — снова суд — и так до сих пор...

Очень рано вошло в обычай делать записи судебных процессов. Насколько мне известно, первую такую запись сделала Фрида Вигдорова, присутствовавшая на суде над Иосифом Бродским, одним из самых выдающихся современных русских поэтов, осужденным на ссылку за «тунеядство» (Ленинград, 1964).

Суд над Андреем Синявским и Юлием Даниэлем (февраль 1966 г.), вызвавший первую в нашей стране правозащитную демонстрацию, от которой «есть пошло» наше движе-

---

Дело Орлова. Сост. Л. Алексеева. Хроника-Пресс, Нью-Йорк, 1980.

ние, вызвал к жизни первый сборник материалов о суде по политическим мотивам — знаменитую «Белую книгу». Ее составитель Александр Гинзбург расположил собранный им материал самым естественным для такого сборника образом: биографические данные о подсудимых, суть их «дела», предсудебные отклики, запись судебных заседаний, отклики на суд.

Сборник о следующем суде (как и следовало ожидать, это был суд над Гинзбургом и его товарищами) и более поздние составлялись по этому же плану. Так же составлен и рецензируемый сборник.

Суды над членами Хельсинкских групп вызвали беспрецедентно сильный отклик и внутри страны и за рубежом. В самиздате вышли четыре информационных бюллетеня с откликами на аресты членов Московской Хельсинкской группы Юрия Орлова, Александра Гинзбурга и Анатолия Шаранского. Я не раз слышала в разных странах Европы, что всеобщее возмущение по поводу этих судов сравнимо лишь с реакцией на советскую оккупацию Чехословакии в 1968 году. Однако «Дело Орлова» — единственный сборник по судебным процессам «хельсинцев», об остальных имеются лишь записи судебных процессов и о некоторых — короткие очерки об обстановке около суда.

«Дело Орлова» — первый из сборников о судах над правозащитниками, составленный не внутри страны, а на Западе — разумеется, с использованием материалов, полученных из Москвы: запись суда была сделана женой Юрия Орлова Ириной Валитовой, присутствовавшей на суде; очерк «Около суда» — Еленой Андроновой, проведенной там все четыре дня, пока длился суд; отклики на арест и на суд в СССР взяты в основном из упомянутых выше информационных бюллетеней, составленных в Москве. Но работа составителя не свелась к расположению этих материалов в хронологическом порядке — я работала над этим сборником несколько месяцев.

Хотя у меня не было возможности собрать все материалы, относящиеся к «делу Орлова», собранного оказалось больше, чем может вместить сборник. Я не могла включить в него все известные мне материалы, как это сделали Александр Гинзбург в «Белой книге» и Литвинов в сборнике

«Процесс четырех». Наиболее трудной проблемой оказался именно отбор материала.

Заведомо невозможно включить в сборник все, относящееся к «делу Орлова». Это дело, по словам президента Картера, «имеет прямое отношение к Заключительному Акту» Хельсинкских соглашений, ставшему лозунгом международного движения за права человека, — это движение и есть дело Орлова. Принципиально неотделим его личный вклад от сделанного Московской Хельсинкской группой. Во многих случаях весьма условно отделение усилий Московской Хельсинкской группы от хельсинкского движения и от движения за права человека в целом. Трудно провести грань между выступлениями в поддержку Хельсинкских групп от выступлений в защиту Юрия Орлова. Собственные же попытки выделить усилия, направленные на освобождение Орлова, из борьбы за всех арестованных членов Хельсинкских групп и других политзаключенных вызывали у меня чувство неловкости. Хотя составлявшийся сборник назывался «Дело Орлова», я не могла, выписывая, скажем, восторженные высказывания о нем или призывы помочь его освобождению, оборвать цитату перед перечнем других имен, — и объем будущего сборника разрастался безмерно.

Почти все тексты приведены с сокращениями, иногда до короткой цитаты. Из нескольких выступлений одного и того же лица выбиралось одно, обычно самое короткое. Многие материалы остались никак не использованными. Так, пришлось отказаться от включения в сборник газетных и журнальных статей в предсудебный период. Собрать полный свод советской и зарубежной прессы, чтобы дать хотя бы перечень, мне было не под силу, имевшиеся же в моем распоряжении материалы не были полными и в то же время оказались весьма внушительны по объему. Поэтому я приняла решение ограничиться обзором только английской и американской прессы в период наибольшего ее внимания к делу Орлова — во время суда и сразу после него. Обзор этот тоже не полон, многие статьи даны в переложении или в виде цитат, а то и только названий. Отбор я старалась производить так, чтобы читатель получил представление о проблематике и тоне газетных выступлений о суде.

Учитывая, что советский читатель, как правило, не имеет доступа к зарубежным материалам, я расширила, по

сравнению с прежними сборниками о политических процессах, «зарубежный» раздел. Это тем более было оправдано в данном случае, что отклики за рубежом на аресты и суды над членами Московской Хельсинкской группы были сильнее, чем когда бы то ни было прежде.

Из выступлений в защиту Орлова в сборник попали главным образом те, которые составляют особенность Хельсинкского движения: в СССР — коллективные письма с большим числом подписей и письма людей, не участвовавших непосредственно в правозащитном движении; за рубежом — выступления глав государств и крупных политических деятелей; резолюции парламентов хельсинкских стран; выступления на международном уровне — в ООН, на Белградской конференции, в Европейском парламенте и т. д.; необычные по активности выступления ученых; материалы об организации профессиональной юридической защиты на Западе — сбор свидетельских показаний и слушание дела Орлова, проведенное его английским адвокатом Джоном Макдональдом в Лондоне одновременно с судом в Москве.

В сборник не вошли материалы о деятельности эмигрировавших из СССР участников правозащитного движения, хотя размах такого рода усилий тоже был отличительной чертой кампании в защиту членов Хельсинкских групп и усилия эти сыграли существенную информационную роль в западном обществе, а также роль стимулятора некоторых выступлений западных общественных и политических деятелей. Так, Валентин Турчин многократно выступал в европейских и американских университетах и разных общественных организациях, главным образом среди ученых, рассказывая им о правозащитном движении в СССР и персонально об Орлове, организуя выступления в его защиту. Из всех выступлений Турчина в сборник вошло только его письмо к американским физикам и призыв в защиту Орлова, помещенный в журнале ученых-атомщиков.

После всех этих ограничений получился сборник в 326 страниц, набранный петитом.

Он открывается биографической справкой и очерком «Как возникло дело Орлова» — о создании и работе Московской Хельсинкской группы вплоть до ареста Ю. Ф. Орлова, о возникновении хельсинкского движения. Далее следуют разделы «Советские граждане об Орлове и его аресте» и

«Дневник следствия и защиты» — расположенные в хронологическом порядке сообщения о ходе следствия и акциях в защиту Орлова в СССР и за рубежом до начала суда.

«Дневник» занимает 22 страницы убористого текста. Пролистывая его, убеждаешься, что в предсудебный период, растянувшийся на год и три месяца, почти ежедневно происходили какие-то выступления в связи с предстоящим судом.

Самиздатская традиция возможно более полного освещения юридической стороны политических судебных процессов обусловила включение в сборник текстов, инкриминируемых Орлову, в том числе аннотаций документов Московской Хельсинкской группы. В сборнике приведены также показания и другие материалы, заведомо имевшиеся в распоряжении суда, но не использованные им: показания и документы, собранные Московской Хельсинкской группой и Джоном Макдональдом, отправленные в адрес суда, а также показания политзаключенных пермских лагерей, отправленные в адрес кассационного суда.

Последний раздел сборника — после суда — охватывает годичный период, до 18 мая 1979 года, хотя борьба за освобождение участников хельсинкского движения продолжается.

К сожалению, большой объем сборника и его ориентированность на советского читателя мешают его опубликованию на других языках. По-английски о деле Орлова есть брошюра, выпущенная Международной Амнистией вскоре после его ареста. Известная мне литература на английском о «хельсинцах» — брошюра, составленная Хельсинкской комиссией США, а об арестованных хельсинцах — брошюра Американской Хельсинкской группой. Оба сборника составлены по одному и тому же принципу: краткие биографические данные, для арестованных — краткие сведения об обстоятельствах ареста и суда, приговор, почти всегда — фотография.

*Л. Алексеева*

## СТАЛИН БЕЗ ЗАГАДОК

Среди немалого количества домыслов и предположений, написанных в последние годы о сталинщине и о личности Сталина, эта книга — единственная, написанная очевидцем и участником событий, человеком, который «варился в этом котле», в самом его центре, человеком, который своей рукой писал все — самые секретные из секретных — протоколы заседаний истинного правительства СССР: политбюро. (Ведь даже и сейчас на Западе склонны принимать марионеточный Верховный Совет за настоящий парламент, а министров считать и вправду ответственными лицами.) Бажанов, в юности бывший убежденным коммунистом, довольно скоро понимает, что и в этом — истинном правительстве — никто о государстве не думает. Все сводится к борьбе за власть, которая проводится тем или иным человеком согласно его собственному характеру: Троцкий ораторствует, пытаясь убедить верхушку партии своей четкой логикой и заразить своим темпераментом, Сталин тихо расставляет своих людей на все, даже второстепенные места в партийном аппарате — и выигрывает. «Пришлось сделать вывод, что социальная революция была произведена не для народа. В лучшем случае (Ленин и Троцкий) — по теоретической догме, в среднем случае (Зиновьев и Каменев) — для пользования благами власти ограниченной группой, в худшем случае (Сталин) — для едва ли не преступного и голого пользования властью аморальными захватчиками».

Но основная сила книги Бажанова отнюдь не в теоретических формулировках, а в том, что перед нами — *свидетельство* человека, не только узнавшего на собственной шкуре жизнь и повседневную «работу» советской верхушки, но и человека, одаренного точной наблюдательностью, четко анализирующего психологию «руководителей партии и правительства». Блестящая галерея монстров, от Ленина до Кагановича, от Калинина до Маяковского... Великолепно даны

---

Б. Бажанов. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. «Третья волна», Париж, 1980.

портреты центральных фигур этого времени — Троцкого и Зиновьева, и, конечно, Сталина.

О самой личности Сталина писалось много. Но в основном — по косвенным данным. Наблюдать его повседневно в течение многих лет и написать об этом с богатством деталей, множеством тех мелких фактов, которые и характеризуют человека, довелось одному Бажанову (я никак не хочу этим умалить значение книги С. Аллилуевой, но она и сама пишет, что знала Сталина лишь с одной стороны, и — добавим — уж никак не с той, с которой Бажанов. А для разгадки того, почему и как все случилось и кем на самом деле был всевластный «отец народов и лучший друг...» всех профессий, книга Бажанова — самый достоверный материал).

Каким же увидел Сталина его секретарь? Этот вопрос я не побоюсь сформулировать иначе как: кто такой Сталин на самом деле? Самое существенное в ответе на этот вопрос то, что никаким гением (даже злым гением или дьяволом во плоти, как считают романтически настроенные авторы) он не был.

Не стану пересказывать множества фактов или бытовых подробностей, из которых складывается вся мозаика портрета в книге, но вывод из них всех — один: ничего, кроме абсолютной беспринципности, бессовестности и жажды власти, в нем выдающегося не было. Даже выдающимся злодеем он не был. «Постепенно о нем создались мифы и легенды. Например, о его необыкновенной воле, твердости и решительности, — пишет Бажанов. — Это — миф. Сталин — человек чрезвычайно осторожный и нерешительный». Хитер он той хитростью, которая заменяет ум всякому посредственному человеку, доросшему ровно до того, чтобы понять, что он посредственность. «Никогда ничего не читал». Чувство юмора — почти нулевое. Скрытен. «Никакой системы мыслей у него нет». Из всего искусства — одна опера «Аида», из всей литературы — ничего. В меру труслив... Все это подтверждено десятками фактов, бытовых зарисовок, говорящих всегда больше, чем голословные общения.

И если после прочтения книги встает вопрос, почему же самый посредственный человек из всего ленинского окружения сумел обойти и потом уничтожить своих конкурентов,

каждый из которых был как личность значительнее его, то ответ может быть только один: вся «философия» марксизма, вся система, из нее родившаяся, вся практика рычагов и винтиков, работающих в этой системе, говорит о том, что она подчинена статистическим законам. Усреднение — ее дух, суть, ее цель, наконец. Не формулируемая, но из всех результатов выглядывающая цель. Посредственность — идеал Шигалева, который тот формулировал с резкостью и пафосом. Терминологическое расширение юридического понятия «равенство», расширение до тех пределов, когда это понятие становится тождественным понятию «посредственность» и неминуемо в силу простейших статистических законов создает худшее из неравенств: власть серости над миллионами личностей.

Следовательно, после того, как муть, поднятая бурей, улеглась, именно Сталин оказался наиболее соответствующим человеком для того, чтобы сменить Ленина, столь же, по мнению автора, посредственного, хотя и не столь невежественного.

Еще одна сторона дела, которую Бажанов отмечает, — так сказать, «степень уголовности» личности как условие продвижения к власти в тот период: «правильно ли делает коммунистическая власть, называя урок 'социально близким элементом'? Вернее было бы сказать: 'морально близкий элемент'».

С этой точки зрения особенно важным становится раскрытие истинного лица тех близких к власти деятелей искусства, которые, как Эренбург к примеру, ухитрились «и невинность соблюсти, и капитал приобрести».

Среди фактов, изложенных в книге, один из интереснейших — попытка автора организовать русскую национальную армию в Финляндии, сражавшейся за свою независимость. «Начать с тысячей человек, брать все силы с той стороны и идти до Москвы с пятьюдесятью дивизиями» — было вполне возможно, ибо сотрудничество с *демократической Финляндией* избавляло и пленных красноармейцев, и их командиров от тех нравственных мук, какие испытывали спустя три года руководители власовского движения.

Да и маршал Маннергейм был отнюдь не похож на Гитлера: «Я ожидал встретить военного, не столь уж сильного в политике. Я встретил крупнейшего человека, чистой-

шего, честнейшего и способного взять на себя решение любых политических проблем».

Трудно гадать по принципу, «что было бы, если бы», но, возможно, не капитулирую Финляндия еще месяц — и вся история повернулась бы иначе: Бажанов имел куда больше шансов на удачу, чем Власов, хотя бы потому, что создания национальной армии из пленных Гитлер так и не допустил, а Маннергейм сделал все для создания такой армии. И едва вступил в бой первый русский отряд (и триста красноармейцев сразу перешли на его сторону), как окончилась война... К чести Финляндии, ни один солдат не был выдан финнами — более того, они срочно получили все права финских граждан.

Книга заканчивается описанием событий в начале Второй мировой войны. Но весь период с 1 января 1928 года, когда Бажанов бежал из СССР, до 1941 уместился в двух главах. Ибо главное в книге — люди и события середины двадцатых годов, которые были решающими в истории СССР.

*Василий Бетаки*

### «ПЕРЕМЕНА ВЕТРА...»

«Старый мир обычно представляют люди на лошадях». Эта социологическая выкладка Бродского относится, к сожалению, не только к «древу жизни» — всевозможным монументам и статуям, но и к литературоведению. И если русские писатели, выйдя из «Шинели», безукоризненно определили отправную точку своего «исхода», то мы до самого последнего времени всё никак не могли вырваться из тисков стойловой, «одвуконной» концепции литературного процесса; не восстали мы против скотоводческого полива, выразившегося в том, что изящную словесность нарекли лошадиной фамилией — «Подручная, запасная лошадь» (игриво-наивные

---

«Часть речи» № 1, 1980. Нью-Йорк. Издательство «Серебряный век», стр. 306. Тир.: 1000 экз. 50 из них нумерованы.

кавычки не меняют сути определения). А ведь были известны броские, но справедливые слова Томаса Манна — «Немецкая словесность там, где я нахожусь», да и наполняло наши сердца радостью солженицынское — «... что существует небывалый писатель Набоков-Сирин, что еще жив Бунин и что-то же пишет эти двадцать лет...» А мы все были в плену псевдонаучной концепции о каком-то дележе неделимого, стараясь подтасовать аксиому теоремной схоластикой.

Но вот пришел долгожданный альманах «Часть речи», явился и сразу же очертил уровень, уровень не только утонченного эстетизма, но и шкалу критериев, доказав, что дважды два все же четыре (а ведь до «Части речи» сама попытка подобного доказательства приравнивалась к ереси), что процесс литературно-художественного созидания един и его компоненты ни в коем случае не определяются географическими рубежами.

Благодаря «Части речи», смятенные безвкусицей вкусы читателя начали понемногу выпрямляться, и эту преграду по пути к интеллектуальному оздоровлению альманах, если воспользоваться спортивной классификацией, взял с первой попытки. Коль скоро речь зашла о попытках, уместно напомнить, что у «Части речи» был предтеча — альманах «Воздушные пути». Р. Гринберг, редактор этого издания, в пяти книгах своего альманаха, в начале 60-х годов интуитивно почувствовал то, что стройно, спустя пятнадцать лет, выразил альманах «Часть речи» — единую и неделимую суть нашей литературы. «Часть речи» свою первую книгу посвятил Бродскому, Западу же впервые открыли поэта «Воздушные пути». Потребовалось целых пятнадцать лет и рождение нового альманаха, чтобы после последней публикации в «Воздушных путях» Набоков снова попал на страницы русского толстого журнала, закончив затянувшуюся «остановку в пустыне». «Часть речи» знакомит с творчеством греческого «левшинского» поэта Кавафи и с почти неизвестным цветаевским «Диктором», а «Воздушные пути» были местом первой публикации ахматовской «Поэмы без героя». Параллели можно проводить довольно долго...

Но если Р. Гринберг был практически в одиночестве и изданию его альманаха не могла способствовать даже «пастышская» эпистолярная связь с Корнеем Чуковским, то за редакционной коллегией молодого издания чувствуется при-

существование сформировавшейся литературной среды, полностью отрешенной от конформистских требований времени и во главу угла поставившей прекрасное, пожертвовав секундным — полезным.

Иосифу Бродскому и нам с ним повезло: он дожил «до счастливого случая тявкнуть сорок раз в день рожденья...» Первый номер «Части речи» как раз и посвящен этому редкому юбилею (а обычно ли русскому поэту «разменивать» сороковку?). Книга — начало серьезного «бродсковедения» в нашей литературе. Я не оговорился — «серьезного», поскольку, к стыду, существовало и «глупейшее»: несколько лет тому назад газетные колонки зарубежной прессы были предоставлены для обсуждения вопроса — знает ли Бродский... русский язык. Итак, Бродский открывает «Часть речи», он и на обложке книги, он и ее сердцевина.

Бродскому нет надобности декларировать избитое «но гражданином быть обязан», потому что в «эгофоне поэта» (по выражению Ю. Алешковского) отражен не только наш земной мир, но и вся галактика, с ее реальностью и метафизическим магнетизмом. Короче: декларативности нет места там, где «это от Бога».

Бродский-эссеист почти неизвестен, и если в поэзии «бисер слов» нужен ему, чтобы помочь нам, хотя бы в мечтах, приблизиться к истокам вечного, то в прозе языковая палитра поэта несет другую функцию, роскошествующую в определении взаимосвязанного ряда явлений и событий. Его «Ленинград» — это не только почти социологическое исследование различий в методах угнетения времен Петра и нынешних гулаговских, но и анализ человеческого мироощущения через призму литературоведческих категорий и даже открытий. И если Белинков указал нам, что в тройке-Руси ведь сидит Чичиков и несется в наше будущее со своими мертвыми душами, то Бродский приглашает нас в гардеробную эпохального события — «шинель... была содрана с чиновничьих плеч нигде иначе, как в Петербурге». А мы-то и не дотумкали..., как и не сообразили, что «если Суперман из комиксов начнет писать стихи, то, возможно, ему удастся описать Нью-Йорк», что Чека — это КГБ в «девичестве». «Ленинград» Бродского займет одно из видных мест в литературе о городе Петра, несмотря даже на то, что автор написал эссе по-английски. Перевод А. Лосева очень хорош.

Кстати, все переводные материалы, опубликованные в «Части речи», на самом высоком уровне — еще одно доказательство высокого профессионализма, артистизма русских переводчиков.

Читая интервью Волкова с Бродским, еще раз постигаешь сермяжную правду «речения» — «Нет пророка в своем отечестве». Вспоминается, как Адамович систематически поносил поэтические поиски Сирина. Последний же умело воспользовался мистификацией и опубликовал ряд стихотворений под псевдонимом Вас. Шишков. Маститый критик не учуял подвоха и в печати приветствовал появление нового поэта. Оценка Бродского лаконична и прямолинейна: «Он (Набоков. — Э. Ш.) вообще, по-моему, несостоявшийся поэт». Создатель «Приглашения на казнь», в свою очередь, считал самым значительным русским поэтом XX века Ходасевича, к которому другой эмигрантский автор подошел с чисто арифметической меркой: «Владислав Ходасевич — поэт небольшого диапазона и небольшого резонанса... За двадцать без малого лет — пять тонких книжек-тетрадок». Недавно даже Нобелевский лауреат высказался почти в том же духе, что Бродский-де крупный поэт, но вот не использует он какой-то слой народной речи. Неужели «слой» определяет «но», когда речь идет о музыке божественного? Как бы подытоживает экстравагантшину вопрошение с подначкой, этакий «айсберг для Вайсбергов» — «И знаменем его будет порошнеослепительный Набоков?» («Часть речи», стр. 233).

Интервью Волкова с Бродским, хотя и представляет большую познавательную ценность, помогая лучше разобраться в эстетических воззрениях поэта, все же, как мне представляется, в таком «сыром» виде не должно было получить «добро» редакции. Можно предполагать, что во время интервью был включен магнитофон и в непринужденной обстановке собеседники, зная, что их никто в данный момент не подслушивает, довольно игриво обменивались мнениями. По каким-то соображениям высшего порядка, первоизданная форма интервью и была сохранена. Как же иначе объяснить, что Президента Британской Академии, крупнейшего философа современности, Бродский представляет так: «Есть у меня один знакомый в Лондоне. Ну, знакомый — это не то сло-

во... Сэр Исайя Берлин» или пассаж подобного плана — «А Николай Васильевич, простите, Гоголь!»

Оригинальна и крайне своевременна глубиной проблематики «Заметка о России и Иосифе Бродском» известного эстонского поэта Алексиса Раннита. Остальные материалы о Бродском, опубликованные в альманахе, создают определенный диссонанс с общей концепцией издания. Они по-своему хороши, но им место скорее в сугубо научном журнале.

Желание издателя альманаха сказать о Бродском как можно больше понятно, но чувство меры все же обязывает: Бродский не нуждается в том, чтобы его демонстрировали в различных ипостасях, например, можно бы обойтись и без эпистолярных потуг того, чьи «усилие ноги и судорога торса... рождают тот полет», причем даже лапидарный синтаксис Барышникова на уровне не более тройки... А вот замечательное ахматовское стихотворение «Последняя роза», в котором цветок-метафора использовался как символ назначения наследника — Иосифа Бродского, почему-то не попало в альманах.

По той же школьной балльной системе проза альманаха заслуживает полновесной пятерки. Тут и монтекрстовское мщение героя Алешковского, пропущенное через метафизическую суть советской деспотии, и трагико-комическая кладбищенская «элегия» Довлатова, замечательный рассказ Набокова, «зарезанный» в свое время одним эмигрантским редактором, и уникальный по оригинальности и мастерству пастиш Ходасевича. Чуть выпадает из этого утонченного «квартета» Людмила Штерн — ничего не поделаешь: хоть манящий, но все же слабый пол.

Вторая стержневая основа издания — «Литературные мечтания. Очерк русской прозы с картинками» Вайля и Гениса. В своем литературоведческом исследовании критики путем сопоставления определенных, не только логических, посылок сформулировали свою концепцию литературного процесса, его закономерный переход из одного качества в другое. С их концепцией можно спорить, но отказать ей в свежести и оригинальности доводов — нельзя. Трудно, например, согласиться с тем, что «непохожее искусство» «Аполлона» и «Эхо» привело к «сумеркам Богов», хотя и стучится в дверь «гротеск взамен бытописания». Поясним: стук этот настолько слаб, что скорее походит на скрип и

слыхать его не на парадном крыльце, а где-то там, у черного входа... И тут же правы критики, когда утверждают, что гражданская литература кончилась «Архипелагом ГУЛаг», «поэтому, сколько бы ни было написано «Парикмахеров в ГУЛаге», они будут представлять интерес историко-политический, а не историко-литературный». Представляется спорным утверждение, что «только журнальные страницы решали успех и неуспех автора». Вспомним опять Набокова: «Новый Журнал» закрыл свои страницы для писателя, зато американская литература приобрела нового классика. Можно ломать копья с авторами эссе по поводу того, оформился ли в русском языке верлибр или нет, но нельзя не восхититься их анализом поэтики. Несмотря на свежее, концептуальное мышление молодых критиков, все же приходится удивляться некоторой поверхностности их оценок (о «порожнеослепительном Набокове» писалось выше). «Битов, — пишут авторы, — дотошен... он пишет глаголицей, кружком — куда Симеону Полоцкому..!» Позволим себе перифраз: «Симеон Полоцкий дотошен... он писал глаголицей, кружком и создал пентакrostихи — куда Битову!» Слепительный Довлатов не «как червонец» и, хотя он очень похож на... Омара Шарифа, но нравится, к сожалению, далеко не всем. Проскакивающая иногда у наблюдательных критиков лубочная аляповатость пера объясняется опять-таки спортом. В игре в дротик и Вайль и Генис хотят попасть только в «яблочко», не смущаясь «молоком». Данные для таких попаданий у них, конечно, есть, но нужна еще тренировка, нужна определенная эмоциональная сдержанность, нужна, наконец, твердая рука. Всего остального им не занимать!

Раздел альманаха «Искусство» хорош, но с оговоркой — можно бы обойтись и без публикации Т. Яковлевой-Либерман, которая ничего нового не дает и не вносит. Подборка материалов в разделе «Воспоминания» несомненно интересна, а поэтические страницы «Части речи» настолько глубины, что нуждаются в отдельной статье.

Редактор-издатель Г. Поляк проделал титаническую работу (без преувеличения) по подготовке к выходу первого тома «Части речи», и не для того, чтобы как-то испортить аромат его книги, а ради библиографической точности, укажем: книга Н. Берберовой «Курсив мой» (стр. 300) вышла не только по-английски, но в 1972 г., в Мюнхене, и по-русски.

Б. Божнев — автор не только сборника «Борьба за несуществование», но и еще 14-ти книжек стихов. По стандартам зарубежных издательств печаток в книге мало.

Увесистый и количеством страниц, и их качеством первый том «Части речи» красноречиво подчеркивает прозорливость поэта, писавшего:

«От всего человека вам остается часть  
речи. Часть речи вообще. Часть речи».

*Эммануил Штейн*

### **ВРЕМЯ СТРАНСТВОВАТЬ И ВРЕМЯ ВСПОМИНАТЬ...**

Вышедшая в этом году книга Андрея Седых «Пути, дороги» объединяет четыре путевых очерка: «Там, где была Россия» (1929 г.), «Дорога через океан» (1942 г.), «Лето в Италии» (1954 г.) и «Под небом Испании» (1964 г.). Объединены они не только по жанровому принципу, но и по принципу географическому: три из них посвящены отдельной стране, и названия стран вынесены в заглавие. Единственный, словно выпадающий из этого порядка очерк — «Дорога через океан» — на самом деле находится в общем русле, ибо место действия, в нем фигурирующее, — пароход, идущий из Европы в Америку во время Второй мировой войны — тоже своеобразная страна: страна беженцев, страна изгнанников.

По времени написания каждый из очерков отличается от другого приблизительно равным промежутком: между первым и вторым — тринадцать лет, между вторым и третьим — двенадцать, между третьим и четвертым — десять лет; а между первым и последним — тридцать пять: жизнь. Сборник этим очень любопытен — читателю всегда интересно подглядеть, как меняют человека годы, как возникает у него иной взгляд на вещи или просто иная манера смотреть, иной ритм, иной темп, иное любопытство. И когда столь

---

А. Седых. Пути, дороги. Нью-Йорк, 1980 г.

соблазнительная «детективная» возможность дается под одной обложкой, в одном сборнике, то это само по себе делает книгу привлекательной. Поэтому, мне кажется, нельзя не отметить, что сборник хорошо составлен, — это одно из его достоинств. Составление — задача далеко не всегда легкая, как бы она ни казалась формальной и неглавной. Очень часто неудачный состав портит книгу; если каждой из ее составных не удастся стать частью целого, то и индивидуальные их достоинства могут в сборнике погаснуть, лишиться настоящего своего масштаба.

«Пути, дороги» Андрея Седых нельзя рассматривать иначе как единство, и единство это достигается не путем простого арифметического действия, сложения; единение очерков добавляет ко всем ним еще нечто, «что между»; таким образом, один плюс один плюс один плюс один получается не четыре, а пять.

Вот, скажем, два первых очерка — «Там, где была Россия» и «Дорога через океан» — между собой объединяются тем, что каждый из них написан в тревожные времена. «Там, где была Россия» — это 1929 год, то есть вскоре после того, как между Россией и всем остальным миром опустился железный занавес. Журналист Андрей Седых совершает поездку к самой границе Советского Союза — в Прибалтику. Он честно и добросовестно выполняет свой долг журналиста: старается передать все им увиденное наиболее полно, подробно и объективно. Без излишних эмоций. Правда, только правда, ничего, кроме правды. Но волею истории Прибалтика — в 1929 году состоявшая из независимых государств — раньше была часть Российской империи, и в ней еще множество русского и русских — не только беженцев из Советской России, но укоренившегося уже на этих землях населения: крестьян, рабочего люда, купцов, интеллигенции. На улицах слышится русская речь, вывески на двух языках — в том числе и по-русски, все официальные лица, администрация, полиция с легкостью переходят при надобности на русский язык — так, как переходят на второй родной, — естественно и просто. Безусловно, русское население составляет здесь национальное меньшинство, у него множество проблем и сложностей административного, социально-политического характера, но все-таки Прибалтика еще ощущается частью России — и именно это и ищет в ней Андрей

Седых. Ищет, быть может, бессознательно, а быть может и считая, что ни к чему тут сохранять бесстрастность физиономии, да и сил нет ее сохранять, и он ищет Россию там, где ее уже нет. Казалось бы, он просто пересказывает встречи с людьми, описывает этих людей, или дома, или улицы, или деревни. Но в том, как он смакует услышанные им диалоги, разговоры, просто возгласы торговцев на базаре — русскую речь за пределами русских границ, — такое напряжение, такая аккумуляция жалости, боли и тоски, что в какой-то момент перестаешь воспринимать прямое значение фраз, ощущаешь только то, что за ними скрыто. Фразы же — спокойнее нельзя, четкие, легкие, незатуманенные.

Вот он рассказывает, как шел вдоль узенькой канавки, отделяющей Латвию от России. На той, российской, стороне бабы в поле. Крикнул, позвал, они отвернулись — боятся, напуганы, им разговаривать с людьми «с той стороны» запрещено. Перешагнул-таки канавку, постоял на родной земле — и обратно. (Тогда можно было, занавес еще не заматерел.) Не это ли было настоящей целью его поездки, тайной надеждой? И в русской Прибалтике ищет он, в конечном счете, Россию — не ту, которая там когда-то была, а ту, которая есть, которая запретна, и к сердцу ее не добраться. Он просто подставляет — «как если бы»... Ищет ее — вынесенной за границы, как за скобки. Знает, что нет, что так не бывает, но ищет — прикоснуться, потереться щекой, пальцем потрогать. Потому и русскую речь, каждое услышанное слово так затянато и подробно повторяет, так в ладонях качает, будто впервые после долгого перерыва услышал, хотя приехал из Парижа, набитого русскими, — но не рядом ведь, не через канавку, не через речку с символическим и тошным именем Лжа.

«Дорога через океан» — 1942 год. Пароход с экзотическим названием «Серпа-Пинто» везет беженцев из Португалии в Нью-Йорк. Беженцы — это нация. Общность изгнанничества съедает все различия. Седых и пишет о них, никого особенно не выделяя. Отдельно только разве о ста пятидесяти польских евреях, которые много месяцев ждали в Лисабоне, пока их отправят на Ямайку. И никто не знает, где она — Ямайка. И на каком языке там говорят. Кто-то лихорадочно ищет в магазинах самоучитель ямайского языка —

и не находит. На каком же языке там говорят? Наконец, все разрешается ко всеобщей радости: при подходе к острову огромная черная надпись на пакгаузе: «Ямайский ром Мейера». Ну, если есть Мейер, значит, скоро выяснится, на каком языке можно говорить на Ямайке. И — объявление в местной английской газете: «Каждый вечер в ресторане 'Палм Бич' поет цыганские романсы Соня Молдавская. Изысканная русско-польская кухня». Тут уж все и вовсе успокоились.

Седых пересказывает жизнь этой плавучей «страны Изгнания» со свойственной ему наблюдательностью, журналистской добросовестностью и вниманием к деталям. Но и здесь, как в первом очерке, писатель в нем теснит журналиста, и он снова изменяет бесстрастию, только в направлении, противоположном первому. Если в первом очерке он не может скрыть тоски и боли, то во втором не может скрыть вздоха облегчения и радости. Каким бы тяжким ни было долгое путешествие, как ни мучились люди в переполненном трюме, как ни тревожило их ближайшее будущее, каким бы ни было оно неопределенным, но главная, основная нота повествования — «все-таки спасение! Это уже спасение». Осталась позади голодная воюющая Европа с угрозой фашистских лагерей, застенков, смерти. Так, казалось бы, вопреки логике, а на самом деле — абсолютно логично и созвучно человеческой природе, психологии, мышлению — очерк, написанный в мирное время, оказывается много более драматически напряженным, чем очерк, написанный в страшный военный 1942. И все это — не в слове, а в воздухе, в атмосфере повествования.

Два последних, «Лето в Италии» и «Под небом Испании», написанные соответственно в 1954 и в 1964 годах, — это уже типичные «записки путешественника». Десять разделяющих их лет несомненно отразились на характере записок. Вообще Андрей Седых — путешественник благодарный, из той, ныне очень редкой породы путешественников, которые изучают страну не по путеводителям, а по истории культуры, — не лихорадочно листая книжку, дабы выяснить, на историческом ли месте стоишь и стоит ли разглядывать или прилично проскочить, раз не классика, а зная ее глубоко и обращаясь с ней естественно. Поэтому в его итальянских записках, к примеру, нет той восторженной и захлебывающейся интонации первооткрывателя, который зачастую

даже и не подозревает, что он рассказывает в деталях о том, что всему свету известно, — чем часто грешат такого рода сочинения. Седых говорит о том, какая Италия открылась ему, его глазам, и экскурсии в историю искусств и просто историю как таковую выглядят у него ненавязчиво и тактично, легко переплетаясь с впечатлениями от толпы, от рестораника, от уличного бродяги, от торговца рыбой. И выглядят экскурсии эти не столько историей, сколько историями, почти байками — без менторства, без поучительности, с одной только радостью видеть и рассказывать об увиденном. Очень энергично, весело, упруго написан очерк.

В записках об Испании автор зримо старше. Раздумчивее, чуть медлительнее. Где-то признается, что музеи и памятники ему поднадоели. Не то что бы он не писал здесь о значительных произведениях искусства, культуры или местах, связанных с историческими событиями, — как и всегда, в этих записках Седых отводит им много места. Но очень явственно то, что теперь его гораздо больше, чем раньше, привлекают люди, живая жизнь, ее экзотические краски и сумятица, приятная возможностью смотреть на нее и снаружи, со стороны, и изнутри; ею можно и жить, и наблюдать одновременно, участвовать — не участвуя, не участвовать — участвуя. Радость *разглядывания*, удовольствие для глаз, бывшие лейтмотивом итальянских записок, в испанских сменяются удовольствием *жить* в виденном, ощущать его не только вне себя, но и в себе, — что глубже и вернее, что приходит только с годами.

Проза Андрея Седых — южная, черноморская проза, в которой навсегда остались краски его детства, в которой раз и навсегда поселились ослепляющий свет солнца, блики на воде, похожие на зажигательные стеклышки, южный избыток тепла, лета, смеха, южное качание толпы, южное жадное любопытство, сливающиеся в единый поток слова, в котором свет всегда присутствует как некая взвешенная в нем субстанция, находящаяся где-то совсем рядом с нашим осязанием, с возможностью потрогать, но всегда ускользающая, и потому, вероятно, особенно притягательная.

*Виолетта Иверни*

## КРАСНЫЙ ТЕРРОР В РОССИИ

Эта книга жжет; после ее прочтения в душе остается воспоминание-шрам, как после ожога. Называется она «Красный террор в России». Написана она очевидцем гражданской войны, историком Мельгуновым в 1924 году и недавно переиздана на русском языке в Нью-Йорке. Она отвечает на многие вопросы, которые до сих пор волнуют наиболее пытливые умы: каким образом утвердился в стране сталинизм? Почему революция привела к таким ужасающим результатам страну? Почему она принесла неисчислимые страдания народу? После этой книги становятся смехотворными любые сравнения жизни в России до 17 года и после. Более того, совершенно иначе воспринимаются темы революции и гражданской войны. В либеральном общественном сознании уже стали трюизмами две версии: 1) Октябрьская революция — закономерный итог исторического развития и 2) ответственность за ужасы гражданской войны равно ложится как на красных, так и на белых. Был, мол, красный террор, но был и белый террор. Хрен редьки не слаще. Факты, собранные автором, разрушают эти версии абсолютно, и ощущение, которое ты испытываешь, проходя вместе с автором с октября 1917 вплоть до 24 года, — это непрерывно возрастающий ужас. «Пытаются доказать, что красный террор вызван эксцессами белых, — пишет автор в предисловии. — Тот, кто признает хронологию канвой истории и прочтет эту книгу, увидит, как мало правдоподобия и достоверности в этом утверждении». Убедительно опровергает Мельгунов объяснение Максима Горького, заявившего в брошюре «О русском крестьянстве»: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа», стараясь перенести ответственность за зверства с руководителей партии на темный народ. Мельгунов четко отвечает «буревестнику революции»: «Едва ли есть надобность защищать русского крестьянина, да и русского рабочего от клеветы Горького: темен русский народ, жестока, может быть, русская толпа, но не народная психология, не народная мысль творила теории, взлелеянные больше-

---

С. П. Мельгунов. Красный террор в России. Изд. «Brandy», Нью-Йорк, 1979.

вистской идеологией». Как современно звучат слова, написанные в 1924 году Мельгуновым: «Нельзя пролить более человеческой крови, чем это сделали большевики; нельзя себе представить более циничной формы, чем та, в которую облечен большевистский террор. Это система, нашедшая своих идеологов; это система планомерного проведения в жизнь насилия, это такой открытый апофеоз убийства, как орудия власти, до которого не доходила еще никогда ни одна власть в мире».

В книге восемь глав. Первая глава, «Институт заложников», служит своего рода введением к последующей кровавой летописи красного террора. Одновременно она объясняет, каким образом террор распространился по всей стране, не встречая столь же массового отпора. Институт заложников, официально объявленный лишь 30 ноября 1920 года, фактически начал действовать с первого дня террора. Заложников брали повсеместно и во всех слоях общества: брали жен и детей белых офицеров и расстреливали их; брали крестьянских жен с детьми во время крестьянских восстаний и держали их в тюрьмах, где свирепствовал сыпной тиф. По приказу оперштаба тамбовской ЧК от 1 сентября 1920 г. к семьям восставших был применен беспощадный красный террор. Что это значит? Приказ далее расшифровывал: «...арестовать в таких семьях всех с 18-летнего возраста, не считаясь с полом и если бандиты выступления будут продолжать, расстрелять их. Села обложить чрезвычайными контрибуциями, за неисполнение которых будут конфисковываться все земли и все имущество». Вот вам и Декрет о земле, любая провинциальная чрезвычайка могла его отменить на подвластной ей территории.

В главе «Террор навязан» автор убедительно доказывает, что террор был не навязан большевикам, а развязан ими с момента прихода к власти. Составленный Дзержинским проект об организации Всероссийской чрезвычайной комиссии 7 декабря 1917 г. находился в полном согласовании с теориями, которые развивали большевистские идеологи. Но еще раньше был создан Военно-революционный комитет, который в чрезвычайном порядке стал уничтожать противников большевистской власти. В разных местах книги разбросаны высказывания большевистских вождей, которые обосновывают и призывают к беспощадному террору. Я собрал их воедино.

«Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов... является методом выработки коммунистического человека из человеческого материала капиталистической эпохи». (Бухарин)

«Враг должен быть обезврежен; во время войн это значит — уничтожен». (Троцкий)

«Чрезвычайная комиссия была не что иное, как разумное направление карающей руки революционного пролетариата». (Дзержинский)

«Нас упрекают в готтентотской морали. Мы принимаем этот упрек». (Луначарский)

«Мы не ведем войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материала или доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора». (Лацис)

«Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции». (Ленин)

«Гимн рабочего класса отныне будет гимн ненависти и мести», — писала газета «Правда» после убийства Урицкого. В те же дни, а именно 5 сентября 1918 года, красный террор был официально объявлен постановлением СНК, и вся страна покрылась густой сетью чрезвычайек. ВЧК становилась основным орудием государственного управления и поглотила последние остатки права. Недаром «Правда» заявила в горячке, что лозунг «вся власть советам» сменяется новым «вся власть чрезвычайкам».

И все эти людоедские лозунги буквально воплощались в действие, неся неисчислимые страдания народу, превращаясь в реки крови. Мельгунов приводит в книге множество рассказов очевидцев красного террора: невозможно хладнокровно читать их. Вот одно из них. В марте 1919 г. в Астрахани произошла рабочая забастовка. Очевидец свидетельствует: «Десятитысячный митинг мирно обсуждавших свое тяжелое материальное положение рабочих был оцеплен пулеметчиками, матросами и гранатчиками. После отказа рабочих разойтись был дан залп из винтовок. Затем затрещали пулеметы, направленные в плотную массу участников

митинга, и с оглушительным треском начали рваться ручные гранаты. Митинг дрогнул, прилег и жутко затих. За пулеметной трескотней не было слышно ни стога раненых, ни предсмертных криков убитых и раненых». «Победителями» было взято в плен 2 тысячи рабочих. В центр полетели телеграммы о том, что в Астрахани якобы произошло восстание. Троцкий дал в ответ лаконичный приказ: «расправиться беспощадно». И началось кровавое безумие на суше и на воде. Вслед за рабочими астраханские власти решили подвергнуть красному террору буржуазию. Расправа шла по простой схеме: забирали всех бывших домовладельцев, рыбопромышленников, владельцев мелких заведений и расстреливали их. К началу апреля насчитывалось четыре тысячи жертв, но репрессии продолжались.

Подобная картина царила всюду, куда приходила новая власть: на севере, и на юге, и в Сибири. Из Архангельска ушли английские войска, и тотчас началась расправа. Целое лето город стонал под гнетом террора, пишет очевидец. Все 800 оставшихся офицеров были убиты в первую очередь. Затем принялись за казаков и крестьян с юга, то есть заключенных в концентрационные лагеря. Расправу творила выездная комиссия ВЧК во главе с параноиком Кедровым. Он превратил Архангельск в город мертвых.

Особенно мучительной для современного читателя должна представляться шестая глава книги, названная Мельгуновым «Произвол Чеки». В ней он описывает истязания и пытки, которым подвергались арестованные в застенках ЧК, издевательства над женщинами, полную безнаказанность и, следовательно, разнузданность палачей... «Сущность красного террора заключалась не только в том, что людей виновных и невиновных расстреливали, но и как их расстреливали, как их уничтожали». Впрочем, удивляться не приходится, если террор был направлен против всего народа, всех классов общества. Ежегодная цифра жертв красного террора по приблизительным подсчетам современников тех событий в период 1918 - 19 гг. достигла 1,5 миллионов человек.

13 июля 1921 года московская «Правда» откровенно написала об этом периоде: «... тем, кто нас заменит, придется строить на развалинах, среди мертвой тишины кладбища».

*Вадим Нечаев*

## ТЕПЛАЯ КНИГА

Мне подарили ее в книжном магазине. На парижской улице с неприглядным для меня названием.

— Возьмите, — сказали. — Почитайте. Только что из типографии. Совсем еще теплая...

Я взял ее без особой охоты.

Мало ли книг выпускают нынче издатели: все не перечтешь.

Да и нужно ли?..

На другое утро я улетал из Парижа...

*«Книги — что дети. Некоторых ждут не дождутся, потому как запланированы были и супруг «добро!» сказал...*

*А есть же — незнамо от кого пошедшие — может от климата, а может от соседа Федора, который на прошлой неделе в обеденный перерыв забегал...*

*И вот когда-нибудь торкнется где-то внутри это живое и еще свое, торкнется, да и не отпустит боле. Тут, вроде, жить надо и дел невпроворот, а у него сердечко простукивает, да и на тебя такая мечтательность нападает, что и не до спешных дел вовсе — всё о нем — о маленьком — думается, да и живет уже для него.*

*Это значит — нагулял...»*

На другое утро я улетал из Парижа...

В аэропорту Де Голль бастовали уборщики помещений, бастовали который уж день, и здание аэровокзала утопало в мусоре. Груды газет по углам. Пепел на креслах. Раздавленные окурки. Опрокинутые урны. Пустые бутылки, бумажные стаканчики, коробки от сигарет. И посреди всего этого хаоса, на фоне безукоризненного интерьера, скользили невесомо грациозные стюардессы, отшагивали бодро brave летчики, торопились нарядные пассажиры.

Мигали огоньки информационных табло.

Вкрадчивый голос вещал из динамиков.

Звякали ложечки в баре по соседству.

Грязная бумага шуршала под подошвами...

Я сидел у окна, спиной к помещению, а передо мной, за

---

Александр Антонович. Многосемейная хроника. ИМКА-Пресс, Париж, 1980.

стеклом, находился кольцевой внутренний двор, и его в разных направлениях, сверху вниз, пересекали прозрачные подвесные туннели с двигающимися полами.

Двадцать первый век.

Аэропорт будущего.

Телемеханика с кибернетикой.

Автоматика с электроникой.

Чёрт знает еще что с чёрт знает чем.

Ошеломленные пассажиры — Божьими избранныками — плыли невесомо по наклонным путям: одни — возносясь в небо, другие — опускаясь на землю...

Но я этого уже не видел. Я распахнул книгу. Я опустил в ее неторопливый поток. Я отдался течению. И меня понесло в другие времена, к другим людям, которых я знал и любил всегда. Окружающего больше не существовало, окружающее осталось там, на берегу, с которого я ступил в этот поток: у вас своя компания, у меня — своя...

Сидел рядом элегантный мужчина с трубкой в зубах, с роскошным кожаным саквояжем на загаженном полу, пускал изо рта клубы дыма.

— Греческий? — спросил он, углядев в моей книге непонятные письмена.

— Русский, — ответил я.

— О! — сказал он.

Ни удивления, ни неприязни — округлое, равнодушное «О!», будто клуб дыма вытолкнул.

И тут объявили посадку...

*«В то самое утро вновь вспомнила Мария Кузминична сон свой, еще в беззаботном девичестве виденный...»*

*Сон тот был темный, и показывалось в нем, как стоит она в очереди, а очередь та словно конца-краю не имеет, незнамо где начинается-кончается, и редкость какую дают или так все стоят тоже доподлинно неизвестно, хотя и не уходит никто...*

*И вот идет она вдоль очереди этой, а в ней всё женщины, женщины стоят, и чем дальше, всё больше седые, да старенькие совсем. Долго шла она, ноги в кровь сбила, а потом и ботинки стоптались, в прах обратились, но всё шла она и шла, ног уже под собою не ощущая, и уж совсем думала сил не хватит, да тут вроде и конец очереди раз-*

виднелся. А очередь та оказывается от здания маленького такого отходит. А здание то — странное — мавзолеей не мавзолеей, а что-то со смертью, да с горем народным связанное. И заходят в то здание женщины — кто сам идет, кого уже под руки ведут, а оттуда, из здания этого, не выходит никто, словно в бездонной бездне исчезают.

И подошла тогда дева Мария к старушке одной, и зачем хвост такой огромный образовался спросила.

— За дитями стоим, за дитями — отдать их обещали... А ты далеко ли стоишь-то?

— Далеко, бабушка, очень далеко...

— А и не стой тады, ноги не простаивай. Судьба, видно, твоя такая. Не стой — на всех всё одно не хватит — никогда так не было, чтобы на всех хватило...

И заплакала тогда дева Мария, и побежала в очередь свою, потому как мало ли что люди сказать могут, а неизвестно, как на деле всё встанет. И бежала она босыми своими ногами да по грязному и заплеванному камню городскому, и плакала, а только женщины той, что в синем платочке за ней стояла, всё не было, не было, не было нигде...»

Тут объявили посадку на самолет Париж-Нью-Йорк, и я тоже — Божьим избранником — стал возноситься в наклонном стеклянном коридоре с самодвижущимися полами, туда, наверх, к заветному трапу, уже свысока оглядывая этот мир, который покидал, и мусор его, и обитателей его, и неудачников, что опускались на землю соседними стеклянными коридорами...

Мы сели в кресла, пристегнулись ремнями, и запланированный сервис тут же обрушился на наши головы — на большой высоте, на огромной скорости — и не прекращался уже до самой посадки: хочешь — не хочешь, а деваться некуда, терпи до конца. Может, и ремнями они пристегивают, чтобы не убежал ты в последний момент, не выскочил из самолета на старте...

Ходили по проходам стюарды и стюардессы, разносили напитки, потом горячие салфетки, потом еду, и опять напитки, и опять еду, и какие-то особые шоколадки, и еще наушники для просмотра фильма, а я раздражался всякий раз, потому что отвлекали они меня от книги, от ее героев,

от тесной коммунальной квартиры, в которой они жили, в которой жил когда-то и я.

Потом потушили свет, читать стало невозможно, и мы стали смотреть фильм — историю жизни какой-то выдуманной певицы.

Сначала она была некрасивой замарашкой на прииске и безнадежно вздыхала по веселому парню в ковбойской шляпе.

Потом он ее тоже полюбил — неисповедимыми путями сценариста.

Потом они поженились, и она стала от радости петь под гитару.

Ее пение всем понравилось, она заняла первое место на конкурсе, ее начали приглашать нарасхват на разные концерты, а он ревновал в это время, пил виски, бил ее поклонников и на крупном плане играл желваками.

Тогда она поняла, что он мучается, ради любви бросила петь и тоже начала мучаться в глуши, на огромной собственной ферме, в окружении собак, коров и лошадей.

Вот тогда он, наконец, понял, что она тоже мучается, и сам повез ее в город, на концерт, где она снова стала петь с огромным успехом. И больше уже никто не мучался до конца фильма...

Зажгли свет в салоне, и я опять схватился за книгу. Но тут кто-то вежливо тронул меня за плечо: это предлагали напоследок еще одну шоколадку...

— Чтоб вы подавились вашей шоколадкой! — вежливо сказал я по-русски и улыбнулся стюардессе.

Самолет подлетал к Нью-Йорку...

*«Но недолог день на исходе октября...*

*Когда в поздних сумерках уже собралась Мария Кузминична чаю вскипятить, обожгла ее годами копившаяся по углам промозглая сырость, и эхо кроватного скрипа выявило пустоту еще не обжитой заново комнаты. И с новой болью затомилась она по мужу своему, всё никак не возвращавшемуся, и вдруг поняла, что без дитя никакой радости в ее жизни нет и быть не может, и что вся-то нелепая эта жизнь и дадена ей лишь для того, чтобы произвести на свет Божий что-то плоть от плоти своей — неважно что — хоть каку неведому зверюшку, и что чувства ее к*

*мужу питаемые, — это всё та же тоска по существу живому, без которого вся-то жизнь есть борьба — сплошное производство и стояние в очереди.*

*И тут вспомнила она о существовании Бога, которого, конечно, не существует, и чувства всю ее жизнь тяжким грузом на душе лежащие в слово тихое обратила, после чего забылась томительными сладкими слезами.*

*Из этого прекрасного отчаяния вывел ее костяшечный стук в дверь, после чего голос старушки Авдотьевны произнес:*

*— Жива еще?*

*— Жива... — хрипло ответила Мария Кузминична и присела на кровати.*

*И явилась к ней старушка Авдотьевна, и напоила ее чаем липовым духовитым, и делились они меж собою одиночеством своим, таким, оказывается, одинаковым, и сахаром колотым, еще в забытом навсегда Новотрубецке полученном, хруптели.*

*— Пей-пей! — говорила Авдотьевна. — Вода дырочку найдет! — и чаевничали они до полного изнеможения, до самой глубокой ночи, до полного просветления чувств.*

*И потянулись дни, как солдаты в строю — имена разные, а каждый солдат...»*

Самолет прилетел в Нью-Йорк...

Оставался час до рейса на Лос-Анджелес, всего один час, — времени в обрез, — а я заполнил в суматохе не тот бланк, встал не в то окошко, побежал не в тот зал, долго потом плясал у багажной карусели в ожидании чемодана, потом — таможенника, потом — какая-то очередь, без конца-края, в которой, как случайно выяснилось, мне не надо было стоять...

Оставалось пятнадцать минут до взлета, и я, весь взмыленный, с криком «Лос-Анджелес!.. Лос-Анджелес!..» побежал к высоченному служителю-негру, а он почему-то взял мой чемодан, кинул его, безымянный и неотмеченный, на движущуюся ленту в общий бесконечный поток, и мой любимый чемодан уполз, казалось, навсегда в черную дыру на стене, чтобы чудом потом выехать из другой дыры, в другой стене, на другом побережье Америки... Неисповедимы пути Твои, Господи!

Я рухнул в кресло, взбаламученный и растревоженный после той беготни, достал снова книгу, открыл, и через всю эту сумятицу чувств, через шелуху и завалы внешнего мусора, через взбудораженные нервы пробился родником тихий голос рассказчика: неторопливый, ласковый поток на равнине, игра полноводных струй, услада души в обжигающий пламенем день...

И не мешал мне больше злополучный сервис, что снова обрушился на голову, — пять часов непрерывных напитков, салфеток и шоколадок: книга была дочитана, книга была прочитана, книга была во мне, со мной, навсегда — не отнимешь и не повредишь. Я сидел в кресле, спокойный и расслабленный, милостиво принимая знаки внимания, оплаченные по летнему тарифу, и ничто меня уже не раздражало, ничто не отвлекало от коммунальной квартиры, от ее обитателей, даже очередной фильм со счастливым концом...

— Возьмите, — сказал я вечером, в Лос-Анджелесе, в квартире у приятелей. — Почитайте. Только что из типографии. Совсем еще теплая...

*«То ли от естественного следования всем десяти заповедям, то ли от упорного недоедания, но уже на исходе четвертой недели Поста начала Авдотьевна замечать, что духовное одерживает в ней над физическим окончательную и полную победу. Впервые подобное подозрение закралось в нее, когда, стоя как-то днем перед образами, увидела она, что тени не отбрасывает, и от удивления даже зачем-то пальцем пол потрогала, но истины всё же не осознала.*

*А еще через несколько дней вдруг обнаружила она, что сама свет испускает — не яркий, трехсвечевый не более, но вполне явственно различимый.*

*И день ото дня всё светлее становилась старушка, всё ярче, и уже не удивлялась этому, а только, подходя вечером к окну, шаль на себя накидывала, чтобы светомаскировку не нарушить.*

*К концу шестой недели Авдотьевна могла уже при своем свете читать Святое Писание, нисколько не смущаясь малостью букв, смысл жизни объясняющих.*

*Большое подспорье при ее нынешнем нематериальном положении...»*

Кто мы такие, люди вчерашнего, что пришли с одышкой в сегодняшней день?

Что мы несем с собой, люди вчерашнего, что донесли — не рассыпали до нынешнего порога?

Чем интересны мы, люди вчерашнего, что скребемся несмело в последнюю нашу дверь?

Одни говорят: главное в нас — наши заблуждения.

Другие говорят: главное в нас — наши просветления.

Третьи говорят: в перегнутой нам уходить, в удобрение — другой пользы нету.

Четвертые: мы сделали своё, с лихвой отработали урок, — нынешним и с половиной не управиться.

Пятые уверяют, восьмые возражают, десятые поддакивают...

Так кто же мы такие, люди вчерашнего?

Вот вам еще ответ, с которым соглашаться не обязательно.

Мы — поколение коммунальных квартир.

Притершиеся друг к другу, пригревшиеся, приладившиеся за долгий срок: выступом ко впадине и впадиной к непримиримому выступу.

Они нас породили, они нас обтесали, они не отпустят нас до конца дней, наши прежние коммунальные квартиры.

Что бы мы делали в отдельных квартирах во времена вселенских страхов нашего времени? К кому бы прижались, кто посочувствовал, как бы мы выжили поодиночке, как бы мы прожили, как бы мы пережили нескончаемый стук сапог по ночам? Может, это время само услужливо подсунуло нам на помощь коммунальные квартиры, чтобы не истребился насовсем род человеческий? Это сегодняшние, что в отдельных квартирах, смеются порой над нами, подшучивают и жалеют: нет у них опыта преодоления ужаса, нет у них статистики выживания — не им пока и вякать. Мы-то вот они, мы-то, коммунальные, живы: дай им Бог обойтись без нашего опыта...

Теперь-то, конечно, другой разговор!

Теперь мы благодушествуем в отдельных квартирах, в персональных туалетах-ваннах, за замками-засовами, но мы коммунальные — мы-то коммунальные! — нам теперь одиноко, нам неуютно, нам подавай тесные пространства, обогретые соседским дыханием. Может, потому и застав-

ляем мебелью наши квадратные метры, чтобы теснее было, чтобы теснее...

И вот мы приходим в сегодня, мы, люди вчерашнего, и приносим с собой память коммунальную, меты времени — на душе и на теле... Как же нам передать это последующим? Как не поведать о своем?

И сидит кто-то в глубине своей, наверно уже не коммунальной квартиры, и пишет, вспоминая, и вспоминает, записывая, о тех, с которыми судьба послала жить, ругаться, радоваться, дрожать от страха, рожать и хоронить...

Кто он, этот человек? Неизвестно...

Где живет? Вопрос...

Что написал до того? Загадка...

Есть одно только: псевдоним и название книги.

Александр Антонович.

«Многосемейная хроника»...

*«Как взял Фома Фомич в руки древесину эту невозможную, вроде золотыми блестками то тут, то там отсвечивающую, да желтым ногтем почтительно щелкнул по ее еще необработанной шероховатой поверхности, зазвенело дерево, да так чисто и густо, что даже руке ее держащей под мозолями щекотно стало. А через минуту и весь организм Фомы Фомича уже зачесался, а доска всё пела и громкости ни на грамм не сбавляла. Даже когда Фома Фомич на верстак ее положил, а сам принялся рубанок настраивать, продолжало дерево звенеть и блестками поигрывать.*

*Да, материал был, конечно, что ни на есть первоклассный, с каким Фоме Фомичу сталкиваться до сих пор не приходилось...*

.....

*И, забыв всё на свете, творил Фома Фомич шедевр, и невесомая красно-золотая стружка, словно перья Жар-птицы, летала вокруг него да к потному лбу приклеивалась — не отдерешь. И настолько тонка и невесома была стружка эта, что, когда на предмет воровства стали взвешивать сделанный Фомой Фомичем шедевр и отходы от него, недосчитались целых пяти грамм, которые, как потом оказалось, в воздухе парили и никак опуститься на землю грешную не могли. Но, однако, всё обошлось, отходы сачком отловили, и передал Фома Фомич сей предмет, который и*

*вешалкой-то назвать неудобно, на инкрустацию и окончательную отделку...»*

Мне подарили ее в книжном магазине. На парижской улице с непроизносимым для меня названием.

— Возьмите, — сказали. — Почитайте. Только что из типографии. Совсем еще теплая...

Сколько времени прошло с той поры?

Не один уже месяц.

А она всё еще теплая...

*Феликс Кандель*

## *НУЖНО ДОЛГО СОБИРАТЬ СВОЮ СМЕРТЬ*

Роман Сергея Юрьенена «Вольный стрелок» появился пока только во французском переводе, кстати, отличном — перевела книгу жена писателя Э. Юрьенен. Она сумела передать почти болезненную чувствительность созданного, его постоянно меняющуюся глубину: и раздавленный, оплеванный окурок, лежащий на поверхности бытия, может стать мистическим, родить неясное, но сильное ощущение злой неизбежности в нас.

Юрьенен был в СССР молодым (ему сейчас 32 года) «многообещающим» писателем, членом ССП. Многообещающим, очевидно, значит быть одновременно талантливым и покорным — или *и* хитрым, или *и* подслеповатым. Писатель предпочел быть только талантливым. На Западе Сергей Юрьенен уже неоднократно печатался в разных газетах и журналах, впервые — в «Континенте», поэтому его особая манера писать уже знакома читателю: он тклет паутину, тонкую и сильную, и не ловит ею, а набрасывает ее на мир, на себя же. Читая Юрьенена, незаметно оказываешься в этом мире, натягиваешь на себя паутину слов и до последней страницы не освобождаешься. Долгая, неослабевающая сила свойственна таланту Юрьенена.

---

Серге Юриенен. Le franc-tireur. Acropole, Paris, 1980.

Как становятся внутренними эмигрантами? Об этом как будто пишет, роаясь в жизни, потроша ее, Юрьенен. Писатель Иван женат на француженке. Чувствуя себя эмигрантом в своей стране, он решает поехать к жене и остаться во Франции. В КГБ хотят проверить, годится ли он «для работы Там». Это задание поручается гебешнику Кириллу, цинику, профессионалу.

И они вместе, Иван и Кирилл, идут на край советской ночи, они бродят в себе, не ища и находя нервные центры общества, к которому принадлежат. За бессмыслицей следует нелепость, грязь людская то визжит, то хлопает, и они вместе с ней. Часто искареженное желание верить Достоевскому, России гнетет душу. Маркс? К чёрту! Ницше? Туда же! Иван чувствует, что Россия жрет его, он хочет вобрать в себя Восток и Запад и бьется в им же созданных тисках. Калининград, вся Прибалтика превращается в поле битвы за себя самого, за Все и за Ничего. Они идут, Иван и Кирилл, встречая проститутку, сутенеров, стареющих аппаратчиков и железобетонных номенклатурщиков, студенток-нимфоманок. И весь этот клубок катится к predetermined, к ничто, к Апокалипсису.

Ткань повествования создана из нервов, глубинная истеричность пронизывает героев, действующих лиц, СССР. Гебешник Кирилл поддается, его действительность рушится, циничность не выдерживает напора богатой безысходности, живущей в Иване. Кирилл начинает чувствовать боль от Бога.

Боль вообще, как самодоказательство жизни, везде присутствует в романе, но, исходя из физического насилия, она приобретает на лицах, в движениях жалкий, сношенный вид. Само насилие не может уже ни по-настоящему убить, ни по-настоящему спасти.

Вездесущее пьянство привычно течет по событиям, немного более раскрывает характеры действующих лиц, втекает в читателя, особенно если он советский или бывший советский человек.

«Вольный стрелок» также набит любовью. Автор, вообще употребляя матерные выражения, на них не особенно скупится и в описании многочисленных в романе сексуальных приключений. Весьма возможно, что матерщина и оргазмы у героев вызовут у традиционного читателя возмущение и

мысль, что роман в конце концов не так уж удачен, как кажется сначала. Только, как мне кажется, нужно подумать о том, что частая матерщина в художественном произведении удавалась только Селину и еще двум-трем писателям, не больше. А русская литература вообще еще не привыкла к мату, хотя попытки его использовать предпринимались уже нашими классиками. Также немногим писателям удалось, особенно в христианских странах, не превращать любовный акт между мужчиной и женщиной в порнографию.

Сергей Юрьенен попытался; на мой взгляд, ему не удалось не задеть порнографию, но зато ему удалось совсем другое. А именно — показать, вытащить из потрохов советской жизни сидящую там в цепях и потому изувеченную свободную любовь, всю ее уродливость, истеричность, столь поражающую тех немногих иностранцев, которым удается ее увидеть.

Иван и Кирилл погружаются в нее, хлебают ее яд, чтобы спастись, чтобы в бешенстве, калеча себя и других, еще больше поверить, что можно еще, что не все пропало.

Иван уезжает. Кирилл остается. Но он не может ни уехать, ни остаться. По Москве в разных ее концах спрятаны и чего-то ждут части его пистолета. Нужно долго собирать свою смерть.

*Вадим Рыбаков*

# Коротко о книгах

А. ФЕДОСЕЕВ

О НОВОЙ РОССИИ. Альтернатива

*Overseas publications interchange LTD. London, 1980*

Автор ставит вопрос: если социализм плох, монополизм Запада много лучше, но тоже плох, — что же хорошо? Очень важно здесь то, что термин «капитализм» в этом тезисе не фигурирует: ибо монополизм — явление, куда более близкое к социализму с его централизацией, чем классический капитализм, двигателем которого был действительно свободный рынок и столь же свободная конкуренция.

Вытеснение же свободного рынка монополиями опасно прежде всего тем, что централизация, а следовательно, и сосредоточение в немногих руках власти над многими миллионами людей всегда ведет к обезличке членов общества, к лишению их голоса, и в конечном счете неважно, в каких именно руках сосредоточится все более монополизируемая власть — в руках ли политической партии, которая захотела и смогла стать единственной в стране, в руках ли мощного объединения профсоюзов, которое, опять же, став единым — и единственным, — стало полновластным хозяином страны и работодателем, или в руках сверхмонополии, проглотившей других промышленных гигантов. Если одна из этих трех сил подавила две другие, все равно это приведет к социализму, ибо его признак — единый хозяин всей жизни в стране, который может именно в силу того, что он — один, планировать все и вся, а население действительно будет утоплено в луже равенства — равенства в бесправии перед единым и почти всегда безликим Хозяином.

Неважно, диктатор ли это с кликой подчиненных ему аппаратчиков или «коллективное руководство», — важно, что власть становится всемогущей и анонимной. Это и есть полное осуществление социализма. Другого мировая практика до сих пор не породила, сколько бы разных социализмов ни выдумали теоретики.

Поэтому автор приходит к выводу, что главное — не допустить монополизации власти, а значит — централизации. Следовательно, выход один: усилить местные власти, связанные с населением, как

мэр маленькой деревушки всеми корнями связан со своими соседями, избравшими его. И львиная доля власти — именно на местном уровне. Пример такого государства, где мэр, местный совет значат куда больше, чем центральное правительство, где все дела решаются действительно демократически, ибо каждый знает каждого, Федосеев находит в реальной жизни. Это — Швейцария. Книга и начинается с того, что большинство швейцарцев, как сообщает автор, даже не знают имени своего президента — да и зачем, если вся общественная жизнь сосредоточена в рамках общины, в крайнем случае — кантона.

В обществе, так построенном, невозможны многие пороки централизованных государств и прежде всего отпадает демагогия, прячущаяся за приманчивыми социальными теориями, обещающими рай на земле. Рая нет, но это еще не повод превращать государство в ад того или иного типа!

Автор анализирует причины инфляций, безработицы, причины застоя народного хозяйства, показывает, как удается централизованным странам создать видимость всеобщей занятости ценой всеобщей нищеты и постоянно снижающейся производительности труда... Буквально все вопросы, насущные для жизни любого, как свободного, так и социалистического государства, затрагивает А. Федосеев в своей книге.

И если проект конституции новой России несколько тонет в подробностях (сюда введены такие положения, которым место в детальных кодексах, а отнюдь не в конституциях), то в анализе существующих типов общества автор точен, логичен и ни одно из его положений возражения не вызывает. Кроме программной части, вся остальная книга построена как цепь взаимозависимых теорем, которые исходят из простейших и неоспоримых аксиоматических посылок.

## РАЗРУШЕННЫЕ И ОСКВЕРНЕННЫЕ ХРАМЫ Альбом

*Самиздат, 1978. Изд-во «Посев», 1980*

Созданный фотографами и авторами, имена которых пока неизвестны, этот уникальный альбом был переслан А. И. Солженицыну ко дню его шестидесятилетия. «Два пути, ведущие к Небу, ближе

всего русской душе — Святость и Красота». Церкви, сочетавшие в себе то и другое, всегда были центром не только духовной, но и во многом общественной жизни на Руси. Разрушение их — попытка лишить народ, нацию как соборную личность, ее своеобразия, всего того, что делает ее нацией. Но — «дух дышит, где хочет», и русская духовность выжила, несмотря на то, что множество святынь ее было разрушено, осквернено, изуродовано.

Альбом — обвинительный акт вандализму. Чаще всего рядом с фотографией разрушенного храма помещена здесь фотография того здания, которое построено на месте снесенной церкви. Это, как правило, безликие сооружения, по которым Россию не отличить от Австралии или Исландии... это по всему миру с нелегкой руки Корбюзье, желавшего средствами архитектуры создать равенство и обезличку, расплзшиеся «хрущобы», как называют у нас такие постройки.

Разглядывая фотографии альбома, мы видим, что каждая церковь, каждый собор несли на себе неизгладимую печать индивидуальности. И это понятно — личность всегда была в центре христианского мирознания, личность, неповторимость как залог свободы. А постройки, выросшие ядовитыми грибами на местах храмов, отравляют... нет — *вы*травляют души, унифицируя людей самой своей равнодушной одинаковостью и подавляющей безличностью. Архитектура ведь всегда имела мощнейшее воздействие на душу — это искусство, за которым не надо ходить ни в какие музеи — оно само идет навстречу каждому, имеющему глаза... И если церкви, Святостью и Красотой будившие в человеке персоналистические начала, были настоящими произведениями искусства, то эти бетонные монстры выдуманы не только по причине индустриализации строительного дела — нет, они выполняют свою дьявольскую роль — роль антиархитектуры, загоняющей души в пчелиные соты коллективистского сознания и уравнивания. Духовная энтропия — вот что устраивает тех, кто приказывал сносить храмы и воздвигать на их месте бетонные казематы для уловления душ человеческих.

Значительную часть альбома занимает статья «Пределы вандализма», скромно названная послесловием. Это даже не статья — это книга об истории российских храмов в XX веке. К сожалению, материал, как текстовой, так и фотографический, охватывает лишь Москву и Северо-западную часть Золотого кольца. Но материалы о храмах, уничтоженных или изуродованных по всей России, заняли бы несколько томов и потребовали бы работы целого института.

Будем надеяться, что такой институт возникнет, как только представится для этого реальная возможность.

## ЮРИЙ ГАЛАНСКОВ

*Изд-во «Посев», 1980*

В этой книге собрано почти всё, написанное Ю. Т. Галансковым: не вошли сюда только несколько стихотворений, опубликованных в свое время (частично при жизни автора) в журнале «Грани». Как поэт, Галансков по сути дела не успел развиваться — самостоятельность не у всех поэтов начинается в первых же стихах. Дело не в тех или иных влияниях, а в том, какая «равнодействующая» получится в результате сложения векторов разных влияний. У Галанскова в большей части его стихов заметно влияние раннего Маяковского: «Выйду на площадь и городу в ухо втисну отчаянный крик» («Человеческий манифест») или такие строки: «Люди, уйдите, не надо, / бросьте меня утешать, / все равно среди вашего ада / мне уже нечем дышать». Несравненно самостоятельнее выглядит отрывок неоконченной повести. Что же касается писем и публицистики, составляющих большую часть наследия Ю. Галанскова, то эти человеческие документы являются неоценимым свидетельством всей обстановки тех лет, когда открытое правозащитное движение только нащупывало пути и методы действия.

Выпуск «Феникса», который сам Галансков называл *открытым легальным* выступлением, на первый взгляд противоречит утверждению его о том, что именно «подпольный литератор — обязательно гражданин родины и человек чести». Но противоречие — только кажущееся. Ибо в этот период «подпольное» и «открытое» были сообщающимися сосудами.

Из публицистических статей самая острая — открытое письмо М. Шолохову, в котором Галансков проявил себя как памфлетист. Особый интерес представляют и отрывки, объединенные под заголовком «Мысли об НТС» и статья «О политическом положении», в которой задолго до создания первых независимых профсоюзных групп в СССР Галансков говорит о важности того, чтобы «рабочие добились реального обеспечения правовых гарантий на экономическую и политическую свободу».

Из материалов, рассказывающих о Галанскове, наиболее живым и содержательным представляется очерк А. Хальтер-Юговой «Эти десять морозных дней в Москве». Это — портрет Ю. Галанскова и краткое, но точное описание самого духа, настроения, самой обстановки тех лет, увиденных глазами человека, родившегося и выросшего на Западе.

*Виктория ФЕДОРОВА и Хэскел ФРЕНКЕЛ*

## АДМИРАЛЬСКАЯ ДОЧЬ

*Victoria Fyodorova and Haskel Frankel. The Admiral's Daughter  
A Dell Book, USA, 1980*

Для западного читателя автобиографическая книга Виктории Федоровой «Адмиральская дочь» представляется историей экстраординарной, лирической и трогательной. Русский читатель нашел бы в ней гораздо больше примет и правил жестокого времени и значительно меньше исключительности.

Виктория Федорова — дочь советской кинозвезды Зои Федоровой и американского морского офицера Джексона Тэйта. Ее имя Виктория — знак победы, знак конца войны. Но она — «дитя любви», любви, которая запрещена для советской гражданки и иностранца. Поэтому ее отца высылают в 24 часа из Советского Союза, а мать арестовывают, и она проводит 8 лет во Владимирской тюрьме. В 11 месяцев Виктория становится сиротой и, хуже того, дочерью «врага народа». По железной логике советской действительности тетку девочки с двумя собственными детьми и годовалой Викторией отправляют в ссылку, в глухую казахскую деревню. От детства Виктории запомнился не голод, а одиночество и недоброжелательство окружающих. Она рассказывает жуткую историю о том, как, спасаясь от преследования травивших ее местных детишек, она попала в грязевый провал, где и начала тонуть на глазах всей деревни. Спас ее почуявший беду Рекс, приبلудный пес. А через месяц его отравили. И это — один из многих эпизодов «счастливого детства».

В 1953 году колесо судьбы для этой маленькой судьбы поворачивается. Зою Федорову освобождают, объявляя, что ее арест и восемь лет тюрьмы были ошибкой. Она даже получает возмож-

ность продолжить артистическую карьеру, правда, уже не в ролях лирических героинь. Душевная энергия ее уходит на воспитание дочери. Тогда же Зоя Федорова впервые предпринимает попытку разыскать отца Виктории — «американского морского офицера Д. Тэйта, который в 1945 году работал в Москве и носил на обшлагах золотые нашивки», — вот все факты, которыми она располагает. Ей взялась помочь американка, сотрудница выставки «Пепси-кола», Ирина Кирк. Эта история, похожая и на детектив, и на сентиментальный роман ошибок и недоразумений, продолжалась 14 лет. За это время Виктория из красивой девушки, юной знаменитости (она блестяще начала свою кинематографическую карьеру фильмом «Двое»), превратилась в разочарованную женщину, с двумя разводами в прошлом, связанную с «московским гением», лауреатом премий и алкоголиком, который так же успешно делал алкоголь и из нее.

Известие о том, что отец жив и любит ее, стало для Виктории поворотным пунктом. У Виктории появилась всепоглощающая цель — увидеть отца. Начинается обмен письмами, и в 1974 г. она объявляет в американском консульстве, что она — дочь американского гражданина. Затем подает мосфильмовскому руководству просьбу выдать ей характеристику для поездки в Америку к отцу. Эпизоды с характеристикой принадлежат к одним из самых тяжелых в книге. Лицемерие и ханжество омерзительны, и Виктория восстает — так же, как некогда ее мать, не желает и не может подчиниться унижающему ее достоинство обсуждению, высказывается и хлопает дверью... Казалось бы, все погублено, но многие факторы вступают в игру, и один из них — сенсация, которую делает из истории «адмиральской дочки» американская пресса. Это приводит к необычному в русском климате «хэппи-энду» — Виктория получает выездную визу. Далее следуют 29 страниц настоящего детектива — ради сенсации же американский журналист должен тайно (!) доставить Викторию в США. Соблюдены все приметы жанра: парик, темные очки, пересадки ночью в аэропортах и автопробег по половине Америки. История трагикомичная и поучительная, как бы специально символизирующая суету и величие жизни, ее неожиданные повороты.

Заключительные полстранички о встрече Виктории с отцом заставляют читателя забыть и свое раздражение от бесцеремонности прессы, и усталость: состоялась встреча любящих людей — через океан и через железный занавес, и только это по-настоящему важно.

Неизвестно, продлилось ли это ощущение праздника дальше, в благополучной американской жизни. Сама Виктория пишет: «Я часто должна задумываться над такими понятиями, как «дом», «чувство безопасности», — они не существовали в моей жизни ранее... Картина моей жизни, разбитая на мелкие осколки, только сейчас составила, и я могу обозреть ее целиком».

*Михаил ВОСЛЕНСКИЙ*

## НОМЕНКЛАТУРА

*Michael Voslensky. La Nomenclatura  
Pierre Belfond, Paris, 1980*

Недавно вышедшая во Франции (первое издание было в Германии, по-немецки) книга Михаила Восленского «Номенклатура» вызвала большой интерес. Само словечко «номенклатура» стало модным. Успех книги закономерен: автор подобрал ключ к сложной структуре советского общества и свои изыскания изложил в доступной форме учебника.

Михаил Восленский родился в 1920 году в Бердянске, учился в Московском университете, в 1946 году был переводчиком на Нюрнбергском процессе. С 1950 года он работает в тесном контакте с аппаратом ЦК, получает ответственные и длительные командировки за границу. По возвращении он занимает различные посты при Академии наук. Он был профессором истории в Университете Лумумбы и одновременно членом Президиума Академии общественных наук. В 1972 году он остался на Западе, где преподает в университете. Жизнь номенклатуры Михаил Восленский знает не понаслышке.

Автор считает номенклатуру правящим классом в СССР, классом наиболее привилегированным и единственно могущественным. Вся внутренняя политика диктуется номенклатурой. Вся внешняя политика есть уникальное выражение ее воли к могуществу, ее агрессивности, ее страхов и желаний. Номенклатура контролирует все стороны жизни советского общества: политику, экономику, искусство, науку, право и охрану порядка. Она фактически обладает средствами производства, всеми привилегиями и принимает все решения.

В книге подробно рассказана история создания номенклатуры. Первый ее этап — создание организации профессиональных революционеров, эмбриона «нового класса». Второй этап начался с захвата власти этой организацией в ноябре 1917 г. Третий — состоял в уничтожении старой ленинской гвардии уже оформившейся номенклатурой. По словам Восленского, «революционер Ленин изобрел организацию профессиональных революционеров. Аппаратчик Сталин изобрел номенклатуру. Изобретение Ленина было рычагом, который позволил ему перевернуть Россию... Изобретение Сталина было механизмом, который позволил ему править Россией». Пожалуй, не стоило бы забывать, что основным рычагом и аппаратом был развязанный большевиками с первых дней захвата власти беспощадный террор.

Номенклатура, доказывает автор, это типичный класс эксплуататоров советского общества. Свой анализ он подкрепляет выкладками в главе, названной им «Номенклатура, класс привилегированных». Эта же фраза вынесена им в подзаголовок книги — следовательно, сам автор придает этой главе исключительное значение. Есть резон перечислить несколько подзаголовков этой части: «Кому в СССР жить хорошо? Сколько зарабатывает заведующий сектором в ЦК КПСС? Невидимая часть заработка номенклатурщика. Номенклатура и взятки. Квартира. Дача. Телефонная баллада. Дома на Олимпе. За семью заборами. Класс отшельников».

Восленский настойчиво подчеркивает, что номенклатура — самая настоящая страна внутри СССР, живущая по своим законам и правилам. У них свои поселки, свои санатории с кинозалами, где они смотрят американские фильмы, свои рестораны и буфеты, где нет только птичьего молока. Номенклатурному работнику достаточно снять трубку и позвонить куда надо, чтобы получить все, что ему требуется, и зачастую даже без оплаты. Номенклатурщик рождается, учится, работает, развлекается и умирает в специально созданных для него местах и учреждениях. Кадры номенклатуры формируются в нескольких учебных заведениях: в ВПШ, в Академии МИДа, в военных академиях. Простому смертному доступ туда закрыт.

Ну а как живут те товарищи, которые занимают самые высокие посты в номенклатуре? Те, кого хоронят в Кремле? Автор получил лаконичный ответ от одного собрата по номенклатуре: «Живут, как американские миллиардеры». Никто не проникает в их дворцы, их частная жизнь окружена тайной. Частично ее приоткрыла в своих книгах Светлана Аллилуева. Ссылаясь на нее, автор описывает

дачу Микояна с мраморными статуями из Италии и особняка Хрущева, Кагановича, Берия. Но есть и более свежие примеры, ставшие известными западной прессе. Жаль, что Восленский не обратил на них внимания. Например, дача, а по сути целый музей, которую в свое время выстроила и «благоустроила» Фурцева. Или своеобразный обычай ленинградской номенклатуры: отмечать революционные праздники в юбилейном зале Эрмитажа, сервируя столы царской посудой.

Безусловный интерес представляет авторский анализ механизмов власти, которую осуществляет номенклатура в стране, прямых и обратных связей между Политбюро, Центральным Комитетом, генералитетом армии и КГБ. Первые секретари республиканских комитетов и обкомов партии живут, как удельные князья, так велика власть каждого из них в своей вотчине.

Невольно складывается вывод, что номенклатура — это огромная мафия, которая постепенно превратилась в паразитарный класс. Аппетиты номенклатуры неуклонно растут, и она настойчиво стремится к мировому господству. В самом ее существовании таится угроза возникновения новой мировой войны.

## КОНТИНЕНТ. Избранные статьи

*KONTYNENT. Wybór artykułów*  
*Przekład z rosyjskiego i opracowanie: Adam Mazur*  
*Polonia Book Fund, London, 1979*  
*NOWA, Warszawa, 1980*

Не в наших привычках рецензировать иноязычные издания «Континента», но это — особое. Впервые материалы «Континента», собранные под одной обложкой, вышли на одном из восточно-европейских языков. И не случайно этот язык — польский. Книга эта как нельзя лучше символизирует тесные связи редакции «Континента» как с польской эмиграцией (в первую очередь, с журналом «Культура», что подчеркнуто во вступительной статье), так и с оппозиционными кругами в самой Польше. Об этом говорит не только перечень имен публиковавшихся в «Континенте» польских авторов, но и тот факт, что после лондонского издания «Континент» был переиздан в Польше независимым издательством НОВА. Это вторая причина, по которой следует придать особое значение

польскому изданию «Континента». Из статьи Яна Вальца, публикуемой в настоящем номере, читатель может представить себе силы (материальные, физические и нервные), затрачиваемые на каждую независимую публикацию. В этих условиях выбор книги для «издательского плана» свидетельствует о придаваемом ей значении. Насколько нам известно, составление и перевод текстов — также дело людей, живущих в Польше.

В польский «Континент» включены тексты из 14-ти первых номеров русского. Вслед за специально написанным для этого издания предисловием Владимира Максимова, посвященным сложной проблеме польско-русских отношений, польский читатель получает представление об общем облике «Континента» из вступительной статьи Адама Мазура (псевдоним). Автор статьи, в частности, пишет: «Континент «Континента» уже обладает подлинными очертаниями Европы и России, с мостами, перебрасываемыми к другим частям света». Автор предупреждает, что польский читатель получит лишь фрагментарное представление о широте «Континента», и рассказывает о многих авторах и произведениях, не вошедших в данный сборник.

В сборнике опубликованы: «Мера ответственности» (открытое письмо русских писателей и деятелей культуры о польско-русских отношениях), Абрам Терц (Андрей Синявский) «Литературный процесс в России», Наум Коржавин «Опыт поэтической биографии», Григорий Померанц «'Эвклидовский' и 'неэвклидовский' разум в творчестве Достоевского», Игорь Голомшток «Язык искусства при тоталитаризме», Михаил Агурский «Национальный вопрос в СССР», Игорь Качуровский «К сотой годовщине Эмского указа», Вячеслав Чорновил и Борис Пэнсон «Диалог за колючей проволокой», Гюзель Амальрик «Свидание в лагере», Владимир Войнович «Случай в 'Метрополе'», Виктор Некрасов «Записки зеваки» (фрагменты), Алексей Лосев «Жратва», Абдурахман Авторханов «Подлинная история пакта Риббентроп — Молотов», Т. Женклис «Что мы ждем от эмиграции?». Сборник заканчивается биографическими заметками об авторах, которые взяты из «Континента» и в случае необходимости дополнены более новыми сведениями.

# По страницам журналов

## «НАДЕЖДА» — ХРИСТИАНСКОЕ ЧТЕНИЕ (Выпуск 4)

«Надежда» — альманах, издающийся в Советском Союзе\* силами небольшой группы людей, считающих необходимым приобщить своих сограждан к христианству. Выходит альманах под редакцией З. Крахмальниковой. Она же и составитель, а частично и автор там же.

«Христианское чтение» — такое заглавие часто можно было встретить до революции — было полезным чтением-работой, а не средством занять досуг. Вот так и этот сборник — отнюдь не развлекательный, но и не сложный, понятный простым людям. Ведь ученый-богослов будет листать сложные философские труды, а здесь есть раздел даже для детей — какие-то трогательные сказочки-притчи.

Начинается «Надежда» рассказом о подлинном облике Девы Марии. О Той, Которая тихо и почти безмолвно скользит по страницам Св. Писания — о Ее лице, о сострадании, о всем том простом и громадном, что поставило Ее выше всех живущих на земле существ, — об Ее Служении.

«Молитесь! Молитесь! Молитесь!» — звучит со страниц книги. Это святые отцы — с неустанной добротой говорят: предпочитайте молитву всему. Трудно нам следовать этому не совету — приказу людей, которые больше знают о нас, чем самые близкие нам люди.

«Молиться надо при всяком случае», — поет книга устами св. Василия. И там есть замечательные слова о том, что, когда просишь Бога: *приклони ухо* — это есть мольба о снисхождении, а не вопль — услышь! Ведь Господь и так слышит.

«Как преклонить на милость Господа?» — вопрошает св. Иоанн Златоуст. И опять один ответ: Молитесь! Молитесь! Молитесь!

Со страниц книги в простом мягком переплете постепенно вздымается мощный басовый хор: «Усердная молитва есть свет ума и сердца, свет неугасимый, непрестанный»... «И ты, возлюбленный,

---

\* Переиздается на Западе издательством «Посев».

всегда и везде прибегай к Богу! Бог — не человек, чтобы идти к нему в определенное место. Он всегда и везде близ есть».

И это особенно нужно читать в стране, где молитва сердца приравнена к тайным помыслам против государства, где вот такие простые в своей мощи слова Отцов Церкви похоронены под горами лозунгов, заменяющих там философию. Там, где ненависть вызывают ясность и мудрая светлота слов: «Хвала Тому, Кто слышит все! Его правда — горнило для всех прошений» (св. Ефрем Сирианин).

И тут же слово, непривычное для современного уха, — «омилия». Слово из тянущегося золота. Омилия 33 отца Григория Паламы — о том, как из любви каждого к своей душе рождается любовь к Богу. Трудное это дело — любить собственную душу паче тела. Мы как бы чувствуем, что душа наша — часть единого огня, а тело — наш маленький удел. И нам жалко его, и это понятно. И трудно понять, что именно этот общий свет доверен нам, что тело — на самом деле — не сосуд страстей, а светильник, в который налито Божественное сияние, и надо содержать светильник в чистоте.

А дальше идет рассказ о тех, чей светильник сияет и чей свет неугасим и нужен людям: рассказ о пастырстве. Епископ Игнатий Брянчанинов, оставивший после себя ценнейшие духовные сочинения по аскетике, молитве, трезвению, предстает тут как собеседник мирян.

Вот его письма к поэту, которого он не называет. Он пишет этому неназванному поэту: «Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам». И правда — если свет в светильнике ярк — как об этом узнать людям? И вот Господь, по величайшей милости, дает таким людям «искру Божью». И ближний узнает то, что могло оказаться ведомым лишь Богу. Но горе тому, кто заставит свой дар служить пагубе! И опять, рефреном к омилии — молитесь! молитесь! молитесь! Молитесь даром своим.

Читатель «Надежды» может узнать о жизни великих Оптиных старцев. Он увидит их детские глаза, узнает об истинной святости, которая исходила от них. О Духе, Который в них превратил разум в мудрость, доброту в милосердие, а правду — в истину.

Это сделало старца Нектария — последнего из старцев Оптиной пустыни — нетленным в могиле. А ведь он ни чудес не творил, ни знамений не видел — просто видел людей, лечил их душу словом, делом и молитвой.

Другой блаженный старец, чья жизнь дана в сборнике, — Захария. Тот был весь как бы оваян нездешним светом, он видел не-

видимое людьми. И как же обижаем был он и гоним своими же братьями! Сколько мук принял! Но оттого он и утешал людей, оттого и стал из сирого послушника схиархимандритом.

Чтение «Надежда» — не только сборник душеспасительных текстов и трогательных жизнеописаний, извлеченных из старых книг. Современным людям помогает верить и рассказ о современных страдальцах, мучениках XX века, сложивших голову за священнический сан. Рассказ о расстрелянном в «незабываемом» 1937 году епископе Серафиме Звездинском — свидетельство о светлом человеке, который в письмах к родным, к пастве писал: не поддавайтесь унынию! Уныние — смертный грех.

Очень значим в смысле преемственности отношения к молитве и к своему человеческому предназначению — жить «по-Божески» — дневник человека, никому не известного, извлеченный из чьих-то архивов. Собственно, это длительная медитация как бы над огнем — светильником, зажженным в душе. Это воспитание ума, который должен войти в сердце, чтобы человек нашел мудрость. И все это дает молитва. И опять — молитесь! молитесь! молитесь! Это напоминание — и есть то главное, из-за чего и начали выпускать сборник. Эти книжки — попытка сохранить и показать людям утраченные от них жизни и слова, нужные им.

Со статьей З. Крахмальниковой «Возвращение блудного сына» одновременно хочется и соглашаться, и спорить. С одной стороны, точный и тонкий анализ псевдохристианства Глазунова, а вместе с тем — соблазна разрешенной полуправды. С другой — упреки в адрес Зиновьева: он-де несет не христианскую идею, а наоборот — советскую психологию в страны Запада. Упрекать Зиновьева в безбожии — столь же ни к чему, как, скажем, Свифта. А то, что Зиновьев получил образование в Советском Союзе, — так ведь и автор статьи тоже учился в университете той же страны, а это ей не мешает стать во главе группы интеллектуалов-христиан. Далее — да, Толстой, безусловно, «зеркало русской революции», но судить о том, кто нужнее России — он или Достоевский, — вряд ли стоит. Нужны оба — один, Достоевский, сострадает, другой — Толстой, даже впад в соблазн учительства (ибо наше время — время лжеучителей) — остается нужным человеческому разуму и моральному чувству.

Решать такие вопросы за Бога нам не дано, а за народ и так давно все решает Министерство культуры, и в этом, именно в этом отсутствии свободы выбора — и состоит трагедия русской культуры в Советском Союзе...

Сборник этот — тихая, но чистая нота. Здесь нет глубоких исследований, сложных религиозно-философских концепций; здесь нет литературы, поэзии. Здесь самое главное — напоминание: Бог есть. Думайте о нем, потому что не Бог для нас, а мы для Бога!

Молитесь! молитесь! молитесь!

*Кира Сагир*

## НОВАЯ ГАЗЕТА

В Америке, где количество новых эмигрантов из СССР выросло за последние шесть-восемь лет весьма ощутимо, возникли почти сразу два новых еженедельника. Сначала «Новый американец», и затем, как бы отпочковавшаяся от него «Новая газета». И хотя внешне — по формату, стилю монтажа, расположению материалов — обе газеты очень похожи, но уже вышло достаточно номеров, чтобы можно было сказать, что есть между этими новыми газетами и различие. Видится оно прежде всего в том, что если «Новый американец», сообразно своему названию, видит основную цель издания в том, чтобы помочь адаптироваться новым эмигрантам в условиях США, то «Новая газета», хотя, естественно, и ей эта цель не чужда, в большей степени уделяет внимание делам советским, больше открыта в сторону России: шире освещает она и международные события.

Вероятно, в силу того, что газета не ежедневная, а еженедельник, информационная, сугубо хроникальная сторона в ней предельно сведена к минимуму. Те «мелочи», которые составляют лицо и душу газеты ежедневной, тут практически отсутствуют. Основу газеты составляют крупные по объему статьи характера в какой-то степени «просветительского», комментирующие те или иные события широко и подробно, предполагая, что основная информация читателю уже известна из других источников. Иногда это бывают и просто перепечатки из американских газет (берутся, разумеется, материалы, которые наиболее могут быть интересны новым эмигрантам, еще не читающим по-английски), порой это отрывки из книг, выходящих или уже изданных, цель коих — привлечь внимание, дать как бы образец, прочтя который, читатели обратятся и к самой книге. Как бы ни считать такой тип материала вторичным и в прин-

ципе не газетным, он представляется необходимым, если учитывать адаптационную задачу газеты. Важно то, что этой адаптационной целью она отнюдь не ограничивается.

Очерки типа «портретов» (как, например, о пути некоего Абби Хофмана от вождя хиппи до защитника «традиционных американских духовных и социальных ценностей») знакомят читателей с явлениями типично американскими, помогая вникнуть в сегодняшнюю Америку, с ее неожиданными контрастами и пестротой психологий. Удачным представляется и то, что на литературных страницах газеты сочетаются как материалы, переведенные с английского, так и материалы оригинальные, написанные авторами новой эмиграции, среди которых необходимо отметить, прошедший с продолжением по четырем номерам содержательный и обстоятельно написанный очерк о «клане Кеннеди» А. Ильина и сжатый точный анализ Ю. Штейна «От Джимми Картера до Рональда Ригана».

Такие материалы, знакомящие обитателей Бронкса или Брайтон-бич с Америкой, представляются очень нужными именно в силу специфики газеты. Вероятно, той же спецификой, обращенностью к читателю, совершенно определенно представляемому, объясняется и раздел спорта, занимающий на первый взгляд непропорционально большое место — четыре, а то и шесть страниц из тридцати двух общего объема, тогда как постоянный раздел «От великого до смешного», который должен, видимо, иметь у читателя «Новой газеты» особенный успех, занимает лишь одну страницу. Может быть, интересно было бы расширить и такие рубрики как «1/6 часть суши», где печатаются материалы о сегодняшнем положении в СССР, или «События недели». Было бы неплохо увеличить объем и литературных страниц, чтобы публиковать больше оригинальных материалов, недостатка в которых новая эмиграция в Америке, видимо, никак не испытывает — людей пишущих, как во всякой эмигрантской среде во все времена, — сегодня в США довольно много.

Оформление газеты, богато и со вкусом иллюстрированной, дополняет то, что именуется «лица необщим выраженьем» — во всяком случае монтаж и расположение материалов для еженедельника такого типа представляется найденным оптимально. Раздел «Вернисаж» хотелось бы видеть в каждом номере, хотя бы потому, что как и для литературных страниц, так и для этого раздела материалов сегодня в Америке несравнимо больше, чем могли бы освоить несколько газет.

Поэтому кажется уместным, взяв наугад один из номеров, просмотреть, к примеру, раздел «литературные страницы». Очерк или отрывок из книги Льва Халифа, готовящейся к печати, занимает основное место в № 10.

Это живо написанные, зорким глазом увиденные бытовые подробности, тем более уместные в газете, что говорят о вещах, читателю весьма знакомых, — вот, сами все это видели; вот, можем с полным правом судить о достоверности описанного — и тон иронический, даже сатиричность не должна обижать то большинство читателей, которые являются заодно и героями этих очерков — как говорится, «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь».

Не вызывает возражений и то, что стихи умершего в Израиле интереснейшего поэта Ильи Рубина перепечатаны из книги, вышедшей чуть ли не три года тому назад: тут отобраны действительно лучшие его стихи, и если книга Рубина до сих пор не попала в руки кому-либо из читателей «Новой газеты», то многие, видимо, заинтересуются творчеством этого своеобразного и так несвоевременно замолкшего русского поэта.

К «литературным страницам» во многом относятся и некоторые материалы, напечатанные в других разделах газеты — в частности письмо В. Войновича, поздравление В. Максимова с его пятидесятилетием и другие статьи и заметки, относящиеся к русской литературе, — независимо от того, где живет автор, на родине или в эмиграции, ибо литература едина и разделять ее на две ветви, в зависимости от почтового адреса автора, как это делается упорно некоторыми эмигрантскими изданиями (и большей частью советских, если они вообще не замалчивают существование тех или иных авторов, опять же не по признаку адреса отнюдь), было бы приемом схоластическим и мало общего имеющим с литературой.

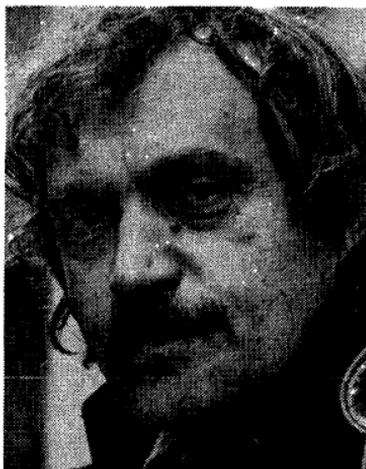
Во всяком случае главное, что хочется сказать в заключение — газета имеет свое лицо. И если «Новую газету» (как, впрочем, и любой печатный орган) можно упрекнуть в том, что в ней чего-то не хватает (а в ней, к примеру, почти нет литературной критики), то все же судят о газете не по тому, чего в ней недостает, а по тому, что в ней имеется.

# Наша анкета

## БЕСЕДА С ПИСАТЕЛЕМ ВАСИЛИЕМ АКСЕНОВЫМ

*Вопрос:* Василий Павлович, ведь вы были врачом, да?

*Ответ:* Случайным был как раз медицинский путь. До 8-го класса я учился в Казани, потом — 9-10 классы — доучивался в Магадане. Мама вышла из лагеря в 1947 году и оставалась ссыльной в этом городе. Как раз в Магадане я и начал стихами писать. Воображал себя поэтом. Но поступил на медицинский факультет. Мама и отчим уговорили: «В лагерях врачам легче». Очевидно, вам ясно, какое у мальчика подразумевалось будущее. В 1953-м меня выгнали из Казанского университета как сына «врагов народа». Телега по инерции катилась, даже после смерти «Старика Онуфрия», как мы тогда называли Сталина. Позднее меня восстановили, и я уехал в Ленинград и в этом городе, представляющем собой «колыбель революции», доучился до диплома. Первая публикация моя состоялась в 52-м году в газете «Комсомолец Татари»: выиграл конкурс студентов на лучшее стихотворение. Прозу начал писать в конце института. Первая серьезная публикация была под эгидой Катаева — в «Юности», в 1959: «Асфальтовая дорога» и «Полторы врачебных единицы», мои первые опубликованные рассказы...



*Вопрос:* И как же пошло дальше?

*Ответ:* По распределению я начал работать в порту Ленинграда карантинным врачом. Принимал и отправлял торговые судна. Знаете песенку «Большие корабли из океана...»? Там было интересно, совершенно новый опыт, люди из разных стран. Потом меня, однако, заслали в глушь, в больницу водников на Онежское озеро. Поселок назывался Вознесение, там я и начал писать первый роман. Как всякий начинающий писатель, писал о собственном опыте, но, так как мои первые шаги происходили на фоне «оттепели», колоссальных перемен в жизни советского общества, XX съезда, событий в Венгрии и т. д., я старался это хоть как-то отразить в своем романе. Я был четко намерен опубликовать «Коллеги», поэтому с самого начала бронировал роман, твердо зная, что звание советского писателя предусматривает определенный «изгиб души». Так что компромиссы начались с первых шагов. Поэтому рядом с образом бунтаря Максимова, отвергающего сталинизм, оказался и образ этакого идеалистического дурачка Зеленина. На Онежском озере я закончил «Коллег». В 1959 году переехал в Москву, женился. Писатель Владимир Померанцев, которому я первому показал роман, отнес его в «Юность». Тогда там прозой заведовала чудеснейшая молодая женщина, ее звали Мэри. В июне 1960 года, когда появилась повесть, журнал праздновал свой 5-летний юбилей в ресторане «Будапешт», и туда принесли еще «горячую» статью Рассадина из «Литературной газеты». Статья была о «Коллегах» и называлась «Шестидесятники». Ну и пошло: Малый театр сделал пьесу, которую потом играли 60 театров по всей стране, издательство «Советский писатель» выпустило повесть отдельной книгой, был поставлен фильм, в котором играло замечательное трио: Ливанов, Лановой, Онуфриев. Такого поворота я, признаться, не ожидал.

*Вопрос:* Как изменилась ваша жизнь, когда вы стали известным?

*Ответ:* Жизнь стала суетной: выступления, встречи, звонки. Я не всегда понимал, что происходит. Времени ни на что не хватало.

*Вопрос:* И все-таки вы писали? Уже пошли повести, цикл о молодых: «Звездный билет», июнь-июль 61-го, «Апельсины из Марокко», январь 63-го.

*Ответ:* Да, я увлечен был тогда своим молодым героем, мне казалось, что он своим существованием меняет советскую жизнь.

*Вопрос:* Как они проходили, эти повести?

*Ответ:* «Звездный билет» и «Апельсины из Марокко» подверглись жестокой критике. Говорилось, что они написаны «об извращенном типе молодежи», что хотя «у нас есть и такая молодежь, но не она определяет подлинную жизнь советского общества». Не проходило дня, чтобы не появлялось какой-нибудь омерзительной статьи по поводу «Билета». Похоже, что *они* стали меня подозревать... Лично неоднократно бомбил секретарь ЦК КПСС Ильичев, комсомольский вождь (бывший, ныне — спортивный) Сережа Павлов уподобился римскому сенатору Катону, который, помните, все талдычил про Карфаген, — так и Павлов каждый день давил по «Звездному билету». Потом и самого Хрущева к этому делу пристегнули. Четвертая моя книга о молодежи, роман «Пора, мой друг, пора», завершил эту серию. Я почувствовал, что, как говорится, «тема исчерпана»...

*Вопрос:* И начался...

*Ответ:* Я тогда очень увлекся жанром рассказа. Собственно говоря, еще в 1962 году на фоне «молодежной темы» я написал несколько рассказов и с волнением почувствовал, что нащупывается новый путь. Дальше — больше.

*Вопрос:* По вашим рассказам поставлен один из наиболее популярных фильмов — «Путешествие»,

состоящий из 3-х новелл: «Папа, сложи», «Завтраки 43-го года», «На полпути к Луне».

*Ответ:* Этот фильм замечателен тем, что в нем дебютировали три молодых режиссера и все три — женщины: Инна Селезнева, Инна Туманян и Джемма Фирсова. Согласитесь, довольно редкий триумф феминизма.

*Вопрос:* Как вы считаете, какие рассказы вам наиболее удались?

*Ответ:* «На полпути к Луне», «Победа», «Дикой», «Маленький Кит, лакировщик действительности». Из последних «Гибель Помпеи».

*Вопрос:* А «Местный хулиган Абрамашвили»?

*Ответ:* Нормально.

*Вопрос:* Вскоре, видимо, появилась «новая тема»?

*Ответ:* Я бы назвал свою новую тему конца 60-х — темой «тотальной сатиры». Первой в этом ряду стоит «Стальная птица» (написана в 1965 году, напечатана в 1978 г. в США). Я тогда, в 60-е, увлекся театром. Сцена казалась мне подходящим местом для «тотальной сатиры». Первая пьеса, «Всегда в продаже», была поставлена в театре «Современник» Олегом Ефремовым с такими чудесными актерами, как Табаков, Лаврова, Гурченко, Казаков, Евстигнеев. Остальная моя драматургия была не так удачлива.

*Вопрос:* 60-е годы — зенит популярности: кино, пьесы, журналы, рассказы, книги. Что для вас стало пиком этого времени?

*Ответ:* «Затоваренная бочкотара». Люблю ее до сих пор нежною любовью.

*Вопрос:* Как ее опубликовали?

*Ответ:* Это загадка. Думаю, что в редакции ее не поняли. Толчком к повести явилось путешествие с отцом в его родное село на Рязанщине, в глубинку России. Там я нашел этот символ. Это не просто бочкотара, от нее пахнет метафизикой. Она что-то вроде неопознанных летающих объектов. Это как бы суб-

лимация народной любви. Народ, лишенный духовной жизни, тем не менее ее подспудно жаждет и ищет предмет своей любви. В абсурдных обстоятельствах предмет может оказаться тоже абсурдным, например, «затоваренной бочкотарой». Люди одушевляют ее.

*Вопрос:* Как встретила печать «Бочкотару»?

*Ответ:* Разгромными статьями в «Литературной газете», «Комсомольской правде». Помню даже, как во время чехословацких событий какой-то военкор в какой-то газете писал о солдатах: «Какая у нас замечательная молодежь, и это несмотря на зловредные сочинения разных писак с их 'затоваренными бочкотарами'». Позднее я отразил это в «Ожоге», где ребята на танках в Чехословакии сидят и читают «Бочкотару».

*Вопрос:* «Жаль, что вас не было с нами» — одна из наиболее читаемых книг в советской литературе, продающаяся у торговцев по 10-15 рублей за книгу (теперь — наверно, дороже).

*Ответ:* Это последний сборник, который мне удалось собрать и выпустить. Потом в течение долгих лет в издательствах был запрет на мои сборники, несмотря на то, что в периодике кое-что появлялось.

*Вопрос:* Серия «Пламенные революционеры», ваш роман «Любовь к электричеству». Говорят, писатели шли в эту серию, в основном, из-за денег?

*Ответ:* Да, там жадные до денег люди собрались: Войнович, Трифонов, Гладилин, Окуджава, Ефимов, Аксенов. Конечно, все, не исключая меня, хотели заработать. Хотя бы для того, чтобы следующий год не батрачить, а писать «для души». Впрочем, я был даже увлечен по мере проникновения в материал. Время 1-й русской революции и сам образ Красина показались мне противоречивыми и интересными. Если внимательно читать, можно увидеть образ одержимого, как бы больного лихорадкой человека. В принципе, это

кровавая история о том, как мужчины посылали умирать юношей.

*Вопрос:* В «Новом мире» были опубликованы ваши «Поиски жанра» и «Круглые сутки нон-стоп». О вашем сотрудничестве в последние годы с «Новым миром». Как он изменился, на ваш взгляд, после ухода Твардовского?

*Ответ:* Изменился кардинально, полностью утратил общественную позицию. Так же изменился и его оппонент — «Октябрь». Если первый выражал когда-то «либеральные» настроения, а второй — «консервативные», то сейчас оба приведены к общему знаменателю. Ни один советский журнал сейчас не отличается от другого. Но все-таки «Новый мир» иногда старается «держать марку», видимо, с молчаливого согласия аппарата. Публикация «Поисков жанра» имеет некоторую подоплеку. К концу 77-го года повесть после жестокой редакции наконец была набрана. Я был в Париже, когда вдруг мне сообщили, что ее выбросили из номера и вообще из плана журнала. Тогда я дал телеграмму в журнал и потребовал, чтобы восстановили, и в интервью для «Голоса Америки» сказал об этом случае и о том, что мне надоели постоянные запреты и торможения, которые сопровождают меня всю мою литературную жизнь. И после этого вещь пошла в номер. Так что Париж — очень удобное место для разговора с «Новым миром».

*Вопрос:* Люди иногда спрашивают, зачем Аксенов пишет пьесы?

*Ответ:* Я писал их с 64-го по 68-й, прошу прощения, не так уж много, всего четыре. Они как раз выражали идею «тотальной сатиры»: «Всегда в продаже», «Твой убийца» (должен был ставить А. Эфрос, но...), «Четыре темперамента» (должен был ставить О. Ефремов, но...) и «Аристофаниада с лягушками» (должен был ставить В. Плучек, но...). Чрезвычайно

горжусь своей несостоявшейся драматургией. Что касается новой пьесы «Цапля»...

*Вопрос:* Одну секунду, это уже следующий этап, так сказать, ваш западный литературный период: «Стальная птица» в «Глаголе», «Золотая наша железка» в «Ардисе», пьеса «Цапля» в «Континенте», то есть публикация произведений, которые так и не появились в Союзе. Почему вы решились?

*Ответ:* Почему я решил все это печатать на Западе? Накапливалось все больше и больше литературы под поверхностью. Меня, признаться, раздражали слухи, что я кончился как писатель. Был, дескать, писателем «молодежной темы» и выдохся — в то время как это были годы самой интенсивной работы. Я понял вдруг, что аппарат хочет из меня сделать литературного ремесленника. И в самом деле, поденной работы в кино и в издательствах было хоть отбавляй, свои же вещи я уже отчаялся напечатать. Тогда я принял решение — публиковаться на Западе. Пусть будут маленькие тиражи, в тысячу раз меньше читателей, но тем не менее, книги осуществляются, не сгниют. Рукописи, может, не горят, но гниют отлично. Так я пришел к этой идее — **ВЫХОДИТЬ НА ПОВЕРХНОСТЬ**, — и первым шагом была публикация в «Ардисе».

*Вопрос:* Как это отразилось на вашей жизни?

*Ответ:* Поначалу начальство сделало вид, что не заметило этих публикаций. К тому же, это были почти легальные книги, ведь я предлагал их повсюду. «Стальная птица» и «Золотая наша железка» кочевали по всем редакциям вплоть до «Байкала» и «Огней Сибири», часто были близки к публикации, но какая-то рука в последний момент их останавливала. Начальство — после их появления — дало понять, что согласно смотреть сквозь пальцы, если в дальнейшем я остановлюсь и не будет «Ожога». Однако, я уже принял решение, в общем-то довольно мучительное для русского

прозаика, — печататься за границей. Другого пути уже не было.

*Вопрос:* Следующей, кажется, была «Цапля»? Какое, скажите, у вас сложилось впечатление от «Континента»? Как у автора и как у читателя.

*Ответ:* В «Цапле» у меня много словесной игры, и я, честно говоря, сидя в Москве, боялся, что опечаток будет тьма. Связаться я не мог, прочитать гранки тоже, но вдруг был приятно поражен высокой культурой набора, думаю, заслуга в этом Наташи Горбаневской. В России каждый номер «Континента» — нарасхват, и для меня всегда это было захватывающее чтение. Журнал склоняется к политическому звучанию, общественному. Хотя и литературные публикации, многие из них, заслуживают внимания. Максимов сделал то, о чем трудно было и мечтать.

*Вопрос:* О нашумевшем, знаменитом, историческом «Метрополе»! «Метрополь» — что это значит?

*Ответ:* Название «Метрополь» имеет три смысла. Прежде всего — это столица, мать городов, стало быть, Москва как наш непреходящий духовный центр. Во-вторых, «Метрополь» — это гостиница, крыша над головой для бездомной литературы. И третье — иронический смысл, связанный с метрополитеном. В русской литературе уже много десятилетий идет своего рода колониальная война. Писатели пытаются отстоять автономию литературы, ну, скажем, хотя бы отделить литературу от государства, как церковь. «Метрополь» тоже был выражением этой борьбы. За 20 лет своей работы я наблюдал развитие второго пласта литературы, и в нем мне виделись гораздо большие достижения, чем на поверхности. Я был свидетелем многих драматических судеб весьма талантливых литераторов.

*Вопрос:* Например?

*Ответ:* Генрих Сапгир, который не напечатал ни одного своего серьезного стихотворения «на поверх-

ности». Евгений Рейн — очень большого дарования поэт, который к 45 годам сумел напечатать 2 стихотворения в альманахе «Молодой Ленинград». Фридрих Горенштейн за 20 лет опубликовал один рассказ в журнале, а у него на солидное собрание сочинений наберется произведений. И так далее. Передо мной вставала малообнадеживающая судьба следующего за нами молодого поколения. У них нет перспектив вынырнуть «на поверхность», потому что они не хотят следовать за толпой эпигонов «деревенской литературы», я бы ее назвал «квасной литературой». Так мы решили осуществить попытку прорыва. Это был не бунт, а прорыв с такой конструктивной целью: не разрушение здания, а попытка открыть окна, чтобы поменьше воняло сортиром.

*Вопрос:* Об авторах?

*Ответ:* Сначала мы думали, что не наберем авторов, а потом пришлось даже проводить селекцию. Появились новые имена: Тростников — философ, П. Кожевников — молодой прозаик, Ю. Кублановский — поэт, прежде в России не публиковавшийся. Первая большая публикация текстов покойного В. Высоцкого тоже имела место именно в «Метрополе».

*Вопрос:* Значит, сначала было «Что делать», а потом в традициях русской демократии «Кто виноват»?

*Ответ:* Метко замечено. Травля «Метрополя» носила странный характер, всё было шито белыми нитками. Трудно допустить, что *они* не знали о подготовке альманаха: вся Москва трепалась целый год, никто ничего не скрывал, а начальство молчало. Вой начался, когда мы назначили «вернисаж», завтрак с шампанским в кафе «Ритм», решили пригласить прессу: «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Ле Монд», «Литературную газету», «Советскую культуру»... Завтрак не состоялся, кафе закрыли на «санитарный день». Начались вызовы авторов вместе и по от-

дельности, потом состоялся первый секретариат, на который пригласили составителей, и второй, на который нас даже не пригласили, в своей собственной гоп-компании отвели душу. Однако наше дело было уже сделано: мы изготовили ровно 12 экземпляров нашего красивого альманаха, так как есть какая-то инструкция, что свыше 12 — это уже как бы нелегальное, противозаконное печатание и распространение литературы. Этот тираж 12 экземпляров мы и считали первым изданием. Один экземпляр, разумеется, — вы знаете, береженого Бог бережет — отправили на всякий случай на Запад. Еще один собирались представить в Госкомитет по издательским делам, добиваться официальной государственной публикации. Тут и началась свистопляска.

*Вопрос:* Какова судьба участников Альманаха?

*Ответ:* Судьба участников разная. Начальство старается проявлять в этом деле гибкость, непривычную для себя. Меня вот вытолкали на Запад. Уехал Горенштейн, не видя для себя никаких перспектив. Исключили из Союза Писателей молодых талантливых прозаиков — Попова и Ерофеева. В знак протеста против этого пошлого акта из членов этой мрачной организации вышли Липкин и Лиснянская. Белла Ахмадулина находится в изолированном положении, отрезанная от своих читателей. С другими стараются заигрывать, на что-то закрывают глаза, намекают на возможные подачки. Словом, типичная колониальная политика «разделяй и властвуй». Нелепая, конечно, политика в век такого широкого антиколониального движения.

*Вопрос:* О взорвавшемся «Ожоге»?

*Ответ:* Да никого я вовсе и не думал взрывать. Я не взрывник, наоборот, пытаюсь разминировать поле. «Ожог» я задумал давно, очень давно, может быть, в середине 60-х. Толчком послужил смешной эпизод: не то в ВТО, не то в Доме Кино я обратил внимание,

когда одевался, на гардеробщика, похожего на министра. И мне кто-то сказал, что он действительно был важная птица при Сталине. Тут, разумеется, и зощенковский банщик вспомнился, и Жданов, и вообще вся эта бражка, которая из нас всю нашу жизнь старалась высосать. Но это был только толчок. Книга, к счастью, получилась не о них, а о жизни, слава Богу.

*Вопрос:* В русской литературе было, кажется, три врача: Чехов, Вересаев и Булгаков. Врач Аксенов — четвертый. В «Ожоге», как ни в каком другом вашем произведении, много сравнений, символов, метафор, связанных с анатомией и физиологией человеческого тела — с медициной. Это дань профессии?

*Ответ:* Странно, я даже не заметил этого. Может быть, и в самом деле «дань профессии».

*Вопрос:* Сейчас широко дискутируется употребление крепких выражений в современной прозе. Как вы относитесь к мату на страницах художественного произведения?

*Ответ:* Я думаю, что он может обогатить произведение, может и разрушить. Это зависит от чувства меры и от разных других причин, еще не выясненных теорией прозы.

*Вопрос:* Как вы думаете, будет ли когда-нибудь «Ожог» напечатан в России?

*Ответ:* А почему бы и нет? Я — оптимист. В Америке когда-то был запрещен Генри Миллер (постановлением суда). Его книги, я слышал, из Канады контрабандой возили. Ханжей раньше и здесь было навалом...

*Вопрос:* Пожалуй, в «Ожоге» вы первый раз приходите к Богу, явно и откровенно. Вы верите в Бога?

*Ответ:* Я очень давно верю в Бога. Человек я, к сожалению, не очень церковный, но по мироощущению своему — полностью религиозен. Не могу себе представить мир в его материалистической модели — без Бога, в машинной модели.

*Вопрос:* Вижу у вас Библию на столе. Разрешили вывезти из Советского Союза?

*Ответ:* Если уж я ее ввез когда-то в СССР... С вывозом проблем было меньше. Впрочем, вспоминается смешной момент. Во время «шмона» в Шереметьево один таможенник подцепил нашу Библию. Он знал, что Библии запрещены к провозу, но как-то, видимо, перепутал направления. Майя (жена) ему объяснила, что мы не ввозим, а вывозим, что *им* это только на пользу.

*Вопрос:* Что стало с вашими книгами в Союзе?

*Ответ:* Мои книги были изъяты из всех библиотек еще за год до моего отъезда.

*Вопрос:* Что вы думаете по поводу «затворничества» Александра Исаевича Солженицына?

*Ответ:* Ничего по этому поводу не думаю. Затворничество — это дело личное. Его новых книг жду, как всегда с интересом. Очень высоко ценю Солженицына как писателя-историка.

*Вопрос:* Когда-то вас бичевали вместе с Андреем Вознесенским. Что он делает и делает ли что-нибудь?

*Ответ:* Вознесенский — человек очень талантливый, это, я думаю, ни у кого не вызывает сомнения. Он все время находится в творческом состоянии: либо продуцирует стихи, либо готовится к этому процессу. Ему нелегко, так как он старается выражать себя в условиях почти полной немоты. Но есть тут и нечто парадоксальное. Я иногда думаю, если бы немота кончилась и возникло бы много звуков, то Вознесенскому, может быть, стало бы труднее. Он по сути дела тренированный «астронавт» и настолько выработал искусство работать в безвоздушной среде, что если бы вакуум вдруг заполнился, то... Понимаете?

*Вопрос:* О вашем друге — Белле Ахмадулиной?

*Ответ:* Белла — это очень серьезное явление русской культуры. Белла — своего рода «Незнакомка» и была такой для целого поколения. Очень гармоничная

личность, сливающаяся со своими стихами. Она живет внутри них. Сейчас она находится, я считаю, в очень важном для себя промежутке жизни и творчества. Возможно, ей нужно преодолеть свой романтический «image», что она, кажется, и делает. Это тяжело, может быть, не только для нее, но для всех нас, ее друзей. В принципе, мы не хотим, чтобы она уходила из своего привычного и любимого нами образа к другому. Но это, очевидно, необходимо для нее как для поэта. И для нас всех — вокруг. А мы живем вокруг нее, какие бы расстояния нас не разделяли.

*Вопрос:* Каких писателей-современников вы больше всего любите читать?

*Ответ:* Битова, Владимова, Вахтина, Искандера, Трифонова... Из молодых мне интересно читать Попова, Виктора Ерофеева, Соколова... Поставьте, пожалуйста, и там и сям многоточия.

*Вопрос:* Пять ваших любимых романов?

*Ответ:* «Фиеста», «Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ловля форелей в Америке» Ричарда Бротигана (не переведен), «Бильярд в половине десятого».

*Вопрос:* И в заключение, по традиции: какие у вас...

*Ответ:* ...планы. После «Ожога» выходит мой следующий роман «Остров Крым». Начал писать новый большой роман, о фотографах. Затем будет роман о моем поколении, о нашей юности в 50-х годах. Есть много попутных идей, но времени не хватает. Пока вот буду романы писать. Пока есть замыслы, их осуществлять надо, иначе эти замыслы «затариваются, затюриваются, цветут желтым цветком и с места скатываются...», как в газетах пишут.

*Интервью взято Л. С.*

*Декабрь 1980*

*Перед Рождеством в Мичигане*

Указом от 12 января 1981 г. за подписью Л. Брежнева Президиум Верховного Совета СССР лишил писателя Василия Аксенова (вместе с Львом Копелевым и Раисой Орловой) советского гражданства, якобы за ущерб, нанесенный им престижу советского государства.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Лишение нас с Копелевым советского гражданства — это очередная акция в той войне, которую ведет идеологический аппарат против российской интеллигенции, в частности против писателей.

Решение это столь же несправедливо, сколь и бессмысленно. У писателя нельзя отобрать Родины.

Я навсегда сохраню верность своей стране и своей культуре. Однако, должен признаться, что произнося слово Россия, я не имею в виду наших бездарных гонителей. Именно они находятся за пределами всякого гражданства.

24 янв. 1981 г.  
Пацифик Палисэдс,  
Калифорния

*Василий Аксёнов*

# КОНТИНЕНТ

Годовая подписка (4 номера)  
40.— ДМ, или 25.— US\$, включая пересылку.

Вы экономите 8.— ДМ, или 5.— US\$  
от розничной цены!

---

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера)

Имя: .....

Адрес: .....

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком  почтовым переводом   
через банк

---

Платеж и заполненный талон просим направлять:

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB**  
Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630  
Postscheckkonto: München 147391-804



К

К ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
А. Д. САХАРОВА

\* \* \*

*А. Д. Сахарову*

И глянул окрест, и душа его...  
И грянул оркестр, глуша уязвленную грудь.  
И ленинский жест, как прожектор, нашаривал,  
кого заглушить, задушить и согнуть.

По всех нас проехала очередь  
с бетонного броневичка,  
и если мы живы не очень-то,  
то выжили все-таки пока.

И пока не истлела, не окостенела  
от животных нас отличившая речь,  
сквозь залпы оркестра, сквозь марши расстрела  
нам некогда связки беречь.

И глянул окрест, и душа его...  
И глянул другой, уязвлен.  
И третий наощупь нашаривал  
и связывал связь времен.

*Наталья Горбаневская  
Париж, декабрь 1980*



Работа Ю. Жарких  
*«Прибегающие женщины».*  
Галерея «d'Art de la Place Beauvau»